

Ежемесячный
литературно-художественный журнал



ПОДЪЁМ

Издается
с января 1931 года

Главный редактор
Иван ЩЁЛОКОВ

Редколлегия:

АВРУТИН А.Ю. (Минск, Беларусь)
АГЕЕВ Б.П. (Курск)
АКАТКИН В.М.
АРШАНСКИЙ В.С. (Мичуринск)
БОНДАРЕВ Ю.В. (Москва)
ЖИХАРЕВ В.И.
ИВАНОВ Г.В. (Москва)
КАН Д.Е. (Оренбург)
КОНДРАТЕНКО А.И. (Орел)
ЛАПИН А.А.
ЛЮТЫЙ В.Д. — заместитель главного редактора
МЕЩЕРЯКОВ Ю.А. (Тамбов)
МИЗГУЛИН Д.А. (Ханты-Мансийск)
МОЛЧАНОВ В.Е. (Белгород)
НЕСТРУГИН А.Г.
НИКИТИН В.Н.
НОВИЧИХИН Е.Г.
НОВОХАТСКИЙ В.Е. — ответственный секретарь
ПАВЛОВ Ю.М. (Армавир)
ПЕРМИНОВ Ю.П. (Омск)
ПОНОМАРЁВ А.А. (Липецк)
СКИФ В.П. (Иркутск)
СУХАЧЕВА Э.А.
СЫРНЕВА С.А. (Киров)
СЫЧЁВА Л.А. (Москва)
ШАЦКОВ А.В. (Москва)
ШЕМШУЧЕНКО В.И. (Санкт-Петербург)
ЯКУНИНА Г.П. (Владивосток)

Воронеж

8 ■ 2019

85 ЛЕТ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

| | |
|---------------|---|
| ТЕМА | Год рождения нашего союза: день за днем. Хроника общественно-литературной жизни Воронежского края. (Публикация Виталия ЖИХАРЕВА) 4 |
| ПРОЗА | Память и слава. (М. Подобедов, В. Ющенко, П. Прудковский, В. Петров). Рассказы 33 Леонид ЗАВАДОВСКИЙ. Песнь седого волка. Повесть 58 У себя дома. (Ю. Гончаров, В. Белокрылов, И. Евсеенко, В. Семенов). Рассказы 71 Гавриил ТРОПОЛЬСКИЙ. Прохор семнадцатый, король жестянщиков. Повесть 104 Родня. (С. Пылев, Н. Моловцева, П. Чалый, В. Никитин, Ю. Кургузов). Рассказы 133 Вольное переосмысление законов природы. (А. Ряскин, С. Чернов, М. Калашников). Рассказы .. 176 |
| ПОЭЗИЯ | Василий КУБАНЕВ. Вьюга воет и ставни рвет... Стихи 69 Алексей ПРАСОЛОВ. Мальчик с ясным отсветом на лбу. Стихи 96 Окопный сон. (Г. Лутков, В. Поляков, М. Тимошечкин). Стихи 99 Владимир ГОРДЕЙЧЕВ. Янтарный свет. Стихи 190 Ожиданье внезапного чуда. (П. Мелехин, А. Голубев, А. Ионкин, Г. Умывакина, О. Шевченко, Л. Бахарева). Стихи 193 Станислав НИКУЛИН. И дышит рекою свобода. Стихи 204 Легкое касание. (З. Колесникова, А. Ромахов, В. Шуваев, И. Лукьянов, И. Щёлоков, Н. Малашич). Стихи 208 Александр НЕСТРУГИН. Дальнее небо. Стихи 224 Над серебряным долом. (С. Луценко, Ф. Григорьев, Ю. Силантьев, Р. Одиноква, А. Шаповалов). Стихи 228 Светлана ЛЯШОВА. Светлоокая Русь. Стихи 249 Всё будет жить. (А. Веретина, Е. Макушина, В. Часовских, В. Нацентов, И. Глушкова). Стихи .. 258 |

| | |
|-------------------------|---|
| ИМЕНА | Андрей ПЛАТОНОВ. Древний мир, воспетый птицами. Стихи. (Предисловие Виктора БУДАКОВА) 28 Осип МАНДЕЛЬШТАМ. Равнины дышащее чудо. Стихи 53 Анатолий ЖИГУЛИН. Исцеление. Стихи 128 Егор ИСАЕВ. Прикосновение к вечности. Стихи. (Предисловие Ивана ЩЁЛКОВА) 168 |
| КРИТИКА | Вячеслав ЛЮТЫЙ. Современная литература: «отцы» и «дети» 200 |
| ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ | Ольга КОЖУХОВА. Рано утром и поздно вечером. Из дневника 215 Евгений ГРИГОРЬЕВ. Когда у слова не было границ 220 |
| ИСТОКИ | Василий ПЕСКОВ. Речка моего детства. Очерк. (Предисловие Виктора БУДАКОВА) 234 Владимир КОРАБЛИНОВ. Крепкая жизнь 244 |
| ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ | Николай ЗАДОНСКИЙ. Муравьев в Задонске. Очерк 252 |
| КРУГ ЖИЗНИ | Евгений НОВИЧИХИН. Вспоминки 265 |

На 1 странице обложки: Ирина Ворошилина. «Аллегория знаний»

В номере использованы фото из архивов фотохудожников Михаила Вязового, Николая Стребкова, Анатолия Костина, а также редакции журнала «Подъём» и Воронежской организации Союза писателей России

Подписные индексы:
каталог агентства «Роспечать» 73312; каталог «Почта России» ПЗ239
Сайт и мобильная версия журнала: <http://www.podiemvrn.ru>



ГОД РОЖДЕНИЯ НАШЕГО СОЮЗА: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Хроника общественно-литературной жизни Воронежского края

23

апреля 1932 года вышло постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций». Согласно этому документу, ликвидировалась действовавшая на тот момент ассоциация пролетарских писателей. Взамен надлежало «объединить всех писателей, поддерживающих платформу Советской власти и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве, в единый союз советских писателей с коммунистической фракцией в нем».

Сразу после опубликования постановления был создан оргкомитет Союза писателей под председательством Максима Горького. На него возлагалась подготовка Первого съезда союза советских писателей.

Под структурой, деятельность которой прекращалась, имелось в виду Всероссийское объединение ассоциаций пролетарских писателей (ВОАП). Костяк ее составляла возникшая еще в 1925 году Российская ассоциация (РАПП). В нее входили и воронежские рапповцы. С момента образования Центрально-Черноземной области (1928 год) работало правление регионального РАПП под руководством писателя Максима Подобедова. На страницах местных газет, альманахов, коллективных сборников, а потом — с 1931 года — и журнала «Подъем» мелькали имена рапповцев — самого Максима Подобедова, прозаиков Леонида Завадовского и Петра Прудковского, очеркистки Ольги Кретовой, литературного критика Леонида Плоткина, поэта Григория Рыжманова, целого ряда других литераторов. В городе и области работали десятки литературных кружков и сотни желающих стать писателями и поэтами атаковали редакции.

Первый секретарь Центрально-Черноземного обкома ВКП(б) Иосиф Варейкис проявлял интерес к литературной жизни на подведомственной территории (а это почти 192 тысячи квадратных километров с населением под 12 миллионов человек!), лично общался с местными писателями, помогал им в решении бытовых вопросов, приветствовал работу по поиску и воспитанию молодых дарований. Кстати, Варейкис в двадцатые годы работал заведующим отделом печати ЦК партии большевиков, редактировал журналы «Молодая гвардия» и «Красная печать». Поэтому, как говорится, тему знал.

Ответственным редактором газеты «Коммуна» при Варейкисе был Александр Швер. Их связывали давние дружеские отношения. Вклад Швера в организацию литературной жизни Воронежского края в конце двадцатых — начале тридцатых годов минувшего века был значительным. Будет правильным сказать, что эта

жизнь концентрировалась именно в стенах редакции и на страницах «Коммуны», выходявшей тогда с литературным приложением «Неделя». Для проведения литературных консультаций, общения писателей, их встреч с читателями было выделено одно из редакционных помещений газеты.

Неслучайно, что после ликвидации ассоциации пролетарских писателей именно Шверу было поручено возглавить Центрально-Черноземный организационный комитет Союза советских писателей.

Первый съезд ССП ожидался еще в 1933-м. Но по разным причинам дата его созыва несколько раз переносилась; менялись имена докладчиков и темы для выступлений. Таким образом, и 1934 год начался в ожидании события, которому предстояло на долгие годы определить устройство литературной жизни в стране, утвердить социалистический реализм основным методом советской литературы и советской критики, «требующим от художника правдивого, исторически-конкретного изображения действительности». Съезд проходил с 17 августа по 1 сентября. На нем были избраны руководящие органы, принят Устав ССП. С этого события и начинается история Воронежской писательской организации как стабильно (в принципе, если не считать временных проблем, вызванных войной и периодом разброда и шатаний 1990-х годов) работающая структура.

«Подъём» публикует помесечную хронику местных литературных событий 1934 года, предшествовавших Первому съезду ССП и последовавших вслед за ним.

1934 год ЯНВАРЬ

С самых первых дней года оргбюро союза советских писателей ЦЧО приступило к ускоренной подготовке большого альманаха литераторов Центрального Черноземья. Было объявлено, что в него войдут лучшие из ранее опубликованных и новых произведений. Выпуск альманаха приурочивался к открытию 26 января в Москве грандиозного события — XVII съезда ВКП(б). Издание курировал Александр Швер — ответственный редактор газеты «Коммуна» и одновременно председатель областного оргбюро ССП.

Параллельно с подготовкой к изданию этого альманаха развернулась работа по выпуску серии небольших дешевых брошюр с текстами одноактных пьес местных авторов. Эти брошюры предназначались в первую очередь для колхозных драмкружков. Уже в январе Николай Задонский сдал в набор пьесу «Ошибка полевода Рубцова» о борьбе за укрепление колхоза, а Михаил Сергеенко — пьесу «Налет» о гражданской войне. Оргбюро поставило задачу издать ко дню открытия партийного форума не менее пяти пьес.

* * *

18 января IV конференция Центрально-Черноземной областной партийной организации избрала ответственного редактора газеты «Коммуна» и председателя оргбюро Союза советских писателей ЦЧО Александра Швера делегатом XVII съезда ВКП(б) с правом решающего голоса. Такой же чести воронежские коммунисты удостоили московского писателя Федора Панферова — главного редактора всесоюзного журнала «Октябрь».

Панферов участвовал в работе конференции в Воронеже по приглашению первого секретаря ЦЧО обкома ВКП(б) Иосифа Варейкиса (они состояли в дружеских отношениях), выступал перед ее участниками от имени всесоюзного оргкомитета союза советских писателей и в своей речи обрисовал современный литературный процесс.

«Всего несколько лет тому назад мы только мечтали о советской пролетарской литературе и были уверены, что ее создадим, — сказал он. — Тогда нас били, издевались над нами, а такой мастер трескучей фразы, как Троцкий, подвел «теоретическую базу», заявляя, что «поэзия, как и сова — птица мудрости, поет только на закате дня». То есть, пролетарская, советская литература придет только после окончания эпохи пролетарской революции. Мы не пошли за Троцким. Мы пошли за Лениным, поставив перед собой одну, основную задачу: в меру наших сил художественным словом помогать рабочему классу отыскивать наилучшие методы борьбы за социализм».

Оратор назвал имена выдающихся современных советских мастеров слова. Это, по его мнению, Горький, Серафимович, Фурманов, Неверов, Шолохов, Безыменский, Ильенков, Фадеев, Либединский, Гладков, Ставский. Также Панферов много раз упоминал «мудрого товарища Сталина», который неустанно следит за положением дел на литературном фронте.

На областной партконференции выступал и Швер. Он сосредоточился на вопросах периодической печати. Что интересно: ни разу не упомянул фамилию Сталина.

* * *

Многолюдное литературное выступление провели воронежские писатели 21 января в клубе им. Ленина. Присутствовали рабочие близлежащих заводов и других предприятий. Они очень тепло встретили Максима Подобедова, Ольгу Кретову, Садофа Данилова, Евгения Ашуркова.

* * *

23 января в редакции журнала «Подъём» Николай Задонский зачитал свою новую пьесу «Инспектор Нестеров».

ФЕВРАЛЬ

3 февраля под эгидой областного оргбюро Союза советских писателей состоялось собрание литераторов города Воронежа. Собрание посвящалось проработке доклада И.В. Сталина на XVII съезде ВКП(б). Было сообщено, что при оргбюро созданы творческие секции: драматургии, детской литературы, оборонной литературы. При Доме Красной армии появилось объединение красноармейских писателей. К работе приступили несколько летучих поэтических бригад. Их миссия — «подпереть пятилетку стихом».

* * *

В областном книжном издательстве 10 февраля впервые прошло совместное совещание издателей и писателей. Договорились увеличить выход произведений местных авторов. На 1934 год запланировали выпуск художественной литературы общим объемом 250 печатных листов и общим тиражом 100 тысяч экземпляров.

После корректировки годового плана издательство приступило к работе над книгами Петра Прудковского, Ольги Кретовой, Михаила Булавина, Максима Подобедова, Бориса Пескова, Николая Романовского, Михаила Сергеенко, Леонида Завадовского, Бориса Дьякова, Михаила Киреева, Федора Певнева. Некоторая часть тиража будет выпущена в дешевом издании (10-15 копеек) для массового читателя.

«Это первое совещание писателей с книгоиздательством дает уверенность в том, что связь между пишущими и печатающими будет крепнуть», — написала местная пресса и анонсировала второе такое совещание, на сей раз по теме «Язык художественных произведений».

* * *

11 февраля воронежские писатели встретились с иностранными рабочими и специалистами, занятыми на промышленных производствах города. С литературным обзором выступил Лев Плоткин. Затем читали свои произведения Михаил Булавин, Садоф Данилов, Михаил Сергеев, Ольга Кретьева. Иностранцы приняли живое участие в разговоре. Они, как сообщается в «Хронике» журнала «Подъём», «отметили быстрый рост советской литературы, противопоставляя его упадку и загниванию буржуазной литературы».

* * *

В середине февраля из Москвы поступило неофициальное сообщение, что Первый съезд Союза советских писателей предполагается провести в июне. Местом проведения выбран Колонный зал Дома Союзов. Число делегатов — от 500 до 600. Основной доклад сделает Максим Горький.

* * *

Успевший выйти к самому началу IV областной партийной конференции сборник «Писатели ЦЧО» стал событием литературной жизни. Газета «Коммуна» приветствовала его появление рецензией заместителя ответственного редактора Владимира Егина, который назвал книгу «своеобразным рапортом советских писателей ЦЧО, показом образцов их литературной продукции».

В сборнике 17 авторов. «За исключением Леонида Завадовского (у него всесоюзное имя) большинство авторов — молодые, начинающие силы, — пишет Егин. — Основная тематика сборника — гражданская война, коллективизация, стройка».

С похвалой отзываясь о книге, Егин между тем делает весьма неприятный вывод. Оказывается, все герои произведений не являются людьми, делающими историю: нет героев умных, интересных, глубоких.

«Никто не ставит советскому писателю жестких рамок, не навязывает ему тем, никто не хочет игнорировать его внутренних интересов, — пишет далее рецензент. — Но сталинский завет «Пусть писатель учится у жизни» рекомендует художнику шире раздвигать круг своих впечатлений. Тогда незачем будет Романовскому и Покровскому искать книжных источников для своего творчества, Подобедову выдумывать стрелочника в шляпе с тросточкой, а Пескову выписывать целую галерею дореволюционных вымирающих рабочих. Тогда не инвалид-стрелочник, не бедняк на печке, не сторож в анатомичке, а настоящие ударники, подлинные ведущие профессии будут привлекать к себе интерес писателя».

Однако, при всех своих недостатках — тематических и художественных — сборник ценен тем, что он, подчеркивает Егин, «служит своеобразным рапортом, правдиво и точно отображающим положение на литературном фронте ЦЧО».

МАРТ

С 7 по 10 марта в Москве в расширенном составе заседал III пленум Всесоюзного оргкомитета Союза советских писателей. На нем с двухчасовым докладом, посвященным текущим вопросам литературного процесса в стране, задачам писа-

тельского сообщества на будущее и работе по подготовке к Первому съезду ССП, выступил секретарь оргкомитета Павел Юдин. Заслушивались также отчеты оргкомитетов союзных республик.

В прениях по докладу Юдина выступила представитель оргкомитета ССП ЦЧО Ольга Кретьова. Она пожаловалась на отсутствие достаточного методического руководства массовым литературным движением со стороны всесоюзного оргкомитета и привела в качестве примера несколько невразумительных, путаных цитат из спущенной на места программы оргкомитета для литкружков.

* * *

Книжное издательство «Коммуна» начало серии массовой библиотечки для колхозников обозначило выпуском рассказа Михаила Булавина «Девятый вал» отдельной книгой. Полиграфисты хорошо оформили издание, при тираже 20 тысяч оно поступило в продажу по цене 25 копеек за экземпляр.

Следом за булавинским «Девятым валом» в этой же серии вышла книжка Максима Подобедова «На последней меже». В ней несколько небольших рассказов, посвященных классовой борьбе в деревне.

* * *

С некоторым запозданием вышел в свет первый в 1934 году номер журнала «Подъём». Областная пресса обратила внимание на новое оформление его обложки и увеличившееся количество страниц. Даны репродукции лучших картин художников Центрального Черноземья.

Состав редколлегии обновленного номера: Борис Дьяков, Владимир Егин, Ольга Кретьова, Михаил Козловский, Леонид Завадовский, Михаил Сергеев, Максим Подобедов, Лев Плоткин, Вадим Покровский, Александр Швер. Ответственный редактор — Максим Подобедов, ответственный секретарь — Борис Песков.

* * *

Ранней весной на жительство в Воронеж переехал из Орла крепкий прозаик Михаил Киреев, где его уже знали как автора «Подъёма». Там он работал в прессе, был главой Орловского отделения Всесоюзной ассоциации пролетарских писателей. На новом месте активно включился в литпроцесс, сдал в книжное издательство сборник рассказов «На линии».

С появлением в столице ЦЧО Киреева укрепилось влияние приезжих: из наиболее заметных литераторов той поры большинство составляли уроженцы разных краев. К примеру, Завадовский с Песковым были тамбовчанами, Сергеев и Певнев — курянами, Прудковский — москвичом. Булавин происходил из Гродненской губернии, Подобедов — из Смоленской, Петров из Самарской. Еремин родом пензенский, Покровский — тверской, Плоткин — гомельский. Родившийся в Могилеве Калецкий был выслан в Воронеж из Москвы. Из ярких местных в воронежском литературном ядре были Кретьова, Романовский, Дьяков.

* * *

В марте получил развитие конфликт между Максимом Горьким и Федором Панферовым. Первый в «Правде» (14 числа) напечатал статью «О языке» в резких выражениях:

«Я снова вынужден сказать несколько слов о Ф. Панферове — человеке, кото-

рый стоит во главе журнала и учит молодых писателей, сам будучи, видимо, не способен или не желая учиться...»

Великий пролетарский писатель критиковал известного писателя-деревенщика за то, что тот роман «Твердой поступью» (третий том эпопеи «Бруски») украсил такими выражениями, «как «подъялдыкивать», «скукожился», «леригия», «могет», «тижело», «взбулгачить».

«Зачем понадобилось ему тащить в литературу исковерканные неграмотными людьми слова и десятки «областных» терминов, непонятных широкому читателю? — звучал со страниц главной газеты страны упрек Панферову. — Такая бесцеремонность в отношении литературной речи способствует только снижению качества художественного произведения, утверждает безграмотность и недопустима в советской литературе...»

24 марта раздосадованный Панферов написал Сталину письмо, в котором пожаловался на травлю со стороны поддержавших Горького: «Сейчас все сорвались и лягаются, кому не лень. Кроме тех статей, зачастую бездоказательных и хулиганских, в «Литературной газете» недавно появился шарж, следом за этим появился шарж в «Вечерней Москве», в «Комсомольской правде», потом появились в печати гнуснейшие стишки, и «Бруски», таким образом, превратили в пугало».

Сталин не принял ни одну из сторон в этом конфликте. А вот первый секретарь Центрально-Черноземного обкома ВКП(б) однозначно встал — это покажут дальнейшие события — на сторону своего друга. Заметим, что третий том «Брусков» Панферов писал на даче Иосифа Варейкиса в Репном под Воронежем в январемарте 1933-го и январе 1934 года. Ранее изданный второй том эпопеи автор посвятил именно Варейкису.

АПРЕЛЬ

В областном центре Черноземья прошел слет школьников, занимающихся в литературных кружках. Таких кружков насчитывалось в Воронеже 16, число участников доходило до четырех сотен. Слет проводил областной отдел народного образования при поддержке оргкомитета Союза советских писателей ЦЧО.

* * *

22 апреля Ольга Кретова выступила в «Коммуне» с большой статьей «Культура языка революции».

«В стране победившего пролетариата, где инженеры душ — писатели — призваны способствовать массовому порождению коммунистического сознания, особенно необходимо отточить орудие литературы — художественное слово», — пишет Кретова и касается далее полемики, которую развернул Максим Горький своими статьями «Открытое письмо Серафимовичу», «О бойкости», «О языке». Пролетарский писатель выступил в них в первую очередь против «почвенников», привнесших в свои произведения мужицкую грубую речь (например, Панферов). Этот «идиотический» язык, которым некоторые литераторы пытаются передать специфику деревни, «негоден для изображения нашей советской действительности», — соглашается с Горьким воронежская писательница.

Общесоюзную дискуссию о языке литературы поддержали и в Воронеже. На мартовском объединенном собрании писательского актива и работников книжного издательства «Коммуна» с обстоятельным докладом по теме выступил доцент пединститута Лев Плоткин. Он прямо сказал, что в литературной организации ЦЧО подлинной борьбы за высокую культуру языка еще нет.

И первой раскритиковал Кретову: в ее рассказах налет спешки, язык отделан

недостаточно («известие зажгло жутким любопытством», «грянул желтый оскаленный год войны»). Потом досталось Подобедову (нередко его язык перегружен шаблонами, много канцеляризмов), Сергеенко (деревянная конструкция фразы), Пескову (неровности, языковые ухабы), Булавину (громоздкое построение предложений, перегруженность метафорами и эпитетами)...

Критику Ольга Кротова вполне признает, но все же «верные в основном замечания Плоткина» считает недостаточными, чтобы огульно обвинять писателей ЦЧО в отсутствии борьбы за культуру языка. Борьба эта была, только велась она кустарно и неорганизованно. Она заступилась за своих коллег, отметила, что у многих есть заметные сдвиги к лучшему и в качестве примера привела несколько цитат из рассказа Николая Романовского «Энбургская осень».

По докладу Плоткина, пишет Кротова, выступили на том совещании 11 человек. Все они, кроме Калецкого и Покровского, были самокритичны. Калецкий же с Покровским «защищали свои литературные изыски».

Статью Кротова завершает сообщением о планах оргкомитета ССП ЦЧО провести вечера творческих отчетов отдельных писателей с конкретным разбором их продукции. «Широкая дискуссия о языке поможет поднять нашу литературу на высшую ступень», — такими словами завершается статья «Культура языка революции».

* * *

27 апреля в Воронеже прошло представительное собрание городского партийного актива и писательской общественности, посвященное вопросам советской литературы. Участие в мероприятии принял первый секретарь Центрально-Черноземного обкома партии Иосиф Варейкис, прервавший рабочую поездку в отдаленные юго-западные районы области.

С большим докладом на собрании выступил руководитель московской бригады литераторов Иоанн Нович. «Он, — как сообщала «Коммуна», — обрисовал путь развития и роста советской литературы на общем фоне разложения искусства в странах капитализма».

Содокладчиком был доцент пединститута, литературный критик и активист оргкомитета Союза советских писателей ЦЧО Лев Плоткин. Он посвятил свою речь истории литературного движения в области и охарактеризовал его современное состояние.

Выступивший в прениях по докладу воронежский литератор Николай Задонский подчеркнул огромное значение постановления ЦК ВКП(б) о перестройке литературных организаций. Оно, по мнению Задонского, «послужило почвой, на которой стал возможным рост литературы всего Союза ССР и ЦЧО» и привел в подтверждение сказанного целый ряд убедительных фактов.

Поэт Михаил Голодный свою речь произнес в развитие тезисов доклада Иоанна Новича, касающихся советской поэзии, и отвел ей место на первых позициях в мировой литературе. Собравшиеся аплодисментами встретили прочитанное Голодным стихотворение «Слово о товарищах Васенко, Федосеенко, Усыскине».

С чткой своих произведений выступили также Семен Левман и Василий Ильенков.

С большой речью на собрании партактива и писателей выступил первый секретарь ЦЧО обкома ВКП(б) Иосиф Варейкис.

Он, в частности, высказал мнение относительно так называемого «социального заказа»: можно или нельзя писателю заказывать произведения? Да, «необязательно, конечно, художнику, писателю, поэту заказывать произведение, как портному костюм. Мы бы тогда и не называли его «социальным заказом»... Разве Шек-

спир, этот величайший художник и поэт, до сих пор не превзойденный никем, разве он не дает примера исполнения заказа? Или возьмите Мольера. Разве он не писал свои пьесы по заказу? Но разве их пьесы хуже, чем пьесы Валентина Катаева или Алексея Толстого? Разумеется, мы не должны устанавливать какую-то диктатуру или принуждение над писателем. Но партия, страна должны требовать, имеют на это твердое право, чтобы писатели писали нам произведения на нужные и ценные для нас темы по вопросам наиболее актуальным, по вопросам, неразрывно связанным с задачами нашей партии, с задачами строительства социализма».

Далее Варейкис затронул проблемы освещения в литературе современных процессов в деревне, посетовал, что еще недостаточно ярко прорисовывается образ крестьянина-колхозника. Даже в произведениях таких писателей, как Панферов и Шолохов, не говоря уже о писателях Черноземья.

Варейкис говорил также о проблемах литературного процесса на вверенной ему территории, настойчиво требовал от местного оргбюро ССП чрезвычайно бережного отношения к литературному молодняку. Советовал превратить библиотеки в места, «где люди чаще собирались бы и читали свои произведения».

МАЙ

В начале мая 1934 года основные работы, связанные с подготовкой Первого Всесоюзного съезда советских писателей были возложены на секретаря ЦК ВКП(б) Андрея Жданова. По утверждению ряда источников в это же время секретно-политический отдел Главного управления управления госбезопасности Народного комиссариата внутренних дел СССР начал собирать информацию о настроениях в литературном сообществе и готовить характеристики будущих делегатов.

* * *

Поступивший в мае к подписчикам третий за 1934 год номер журнала «Подъём» открывался редакционной статьей «К съезду писателей».

«Историческое постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций» создало все необходимые условия для интенсивного развития художественного творчества, — отмечалось в статье. — Ликвидация групповой склоки, критического зашательства и догматизма, ясная и четкая сталинская формулировка стиля нашего искусства, предусматривающая подлинное творческое соревнование и не предписывающая литературе доктринерских схем, как это было в РАППе, — все это не могло не сказаться самым плодотворным образом на результатах последних лет». В подтверждение приводятся названия наиболее ярких и читаемых книг современных советских авторов.

Но впереди, говорилось далее, еще много работы. Совершенно справедливо писателей критикуют за отставание от жизни. «Подлинная суть отставания нашей литературы в том, что у нас еще нет произведений, которые бы отражали великое строительство социализма так ярко, полно и глубоко, как отражали свою эпоху корифеи классической литературы — Гете, Шекспир, Бальзак, Толстой, Пушкин».

Отмечаются некоторые творческие удачи мастеров пера Черноземья, названы, в частности, фамилии Подобедова, Булавина, Сергеенко, Прудковского, Кретовой, Киреева, Пескова, Романовского, книги которых «разошлись десятками тысяч экземпляров».

* * *

11 мая из Москвы пришла скорбная весть — от крупозного воспаления легких скончался сын А.М. Горького тридцатишестилетний Максим Пешков. Свои соболезнования отцу и супруге усопшего Н. Введенской-Пешковой направили власти ЦЧО и воронежские писатели.

По свидетельствам людей из близкого окружения Горького, он тяжело переживал утрату и на некоторое время прервал работу во всесоюзном оргкомитете ССП. Его уговорили, в частности, совершить, чтобы отвлечься, десятидневный круиз по Волге на теплоходе «Клара Цеткин».

Уже тогда высказывалось осторожное предположение, что угнетенное состояние А.М. Горького может стать причиной очередного переноса даты открытия Первого съезда советских писателей.

* * *

По случаю 15-летия создания Государственного книжного издательства СССР газета «Коммуна» напечатала большую статью «Юбилей советской книги», где приводятся интересные цифры.

Сообщается, например, что в 1928 году Советский Союз вышел на первое место в мире по количеству изданных книг, опередив бессменного лидера в этой сфере — Германию. Госиздат стал крупнейшей в мире фабрикой книги. Здесь за печатными станками и машинами, наборными кассами стоят 37 тысяч рабочих.

«Спрос масс на книги огромен, — говорится в статье. — Целыми поездами направляются каждый день по всем городам и селам Советского Союза миллионы книг и сейчас же с жадностью расхватываются трудящимися. Огромные тиражи расходятся буквально в течение нескольких дней».

По Центральному Черноземью на 1934 год такая статистика: в области работает 104 книжных магазина, 43 районных отделений Когиза, несколько межрайонных баз, распределяющих книги. Помимо этого, есть 189 книжных киосков на предприятиях, в МТС, в мелких населенных пунктах. Месячный оборот книготорговли в ЦЧО достиг 1 миллиона рублей, что является «колоссальным показателем для сельскохозяйственной области».

В статье говорится также о возрастающем спросе на книгу хорошо оформленную, отпечатанную на качественной бумаге и, в первую очередь, — на книгу художественную.

* * *

27 мая областные газеты поместили сообщение «Начат прием в Союз советских писателей».

В сообщении говорилось, что «оргкомитетом ССП ЦЧО начат разбор заявлений о приеме в союз. К заявлениям необходимо прилагать заполненную анкету по следующей форме: фамилия, имя и отчество, возраст и социальное положение, партийность, образование, литературный стаж; указывать, какие заявления имеет произведения и где напечатаны, критические отзывы и где эти отзывы напечатаны, общественная деятельность, место работы и личный адрес».

Разбор заявлений завершился 29 мая, после чего документы соискателей членства в ССП должны были направляться во всесоюзный оргкомитет на утверждение.

Несколькими днями ранее пришло известие о московских литераторах, уже принятых в Союз советских писателей. Ими стали Никифоров, Зелинский, Глебов, Ильф, Петров, Киршон, Герасимов и некоторые другие. А билет за № 1 был выписан Горькому.

ИЮНЬ

В Москве определились с новой датой проведения Первого съезда Союза советских писателей. Его намечено открыть теперь 25 июня.

Руководствуясь директивами всесоюзного оргкомитета, Центрально-Черноземный оргкомитет ССП назначил в срочном порядке областную писательскую конференцию на 15 июня. По информации в местных газетах, размещенной 6 июня, на конференции с докладом выступит председатель оргкомитета ответственный редактор «Коммуны» Александр Швер. В повестке — избрание правления областной организации и выборы делегатов на Первый Всесоюзный съезд.

На конференцию приглашены научные и технические работники, художники, представители детских и юношеских литературных кружков и объединений, районных, политотдельских и колхозных газет. Ожидается приезд делегаций писателей из Москвы, Украины, Азово-Черноморского края, Поволжья.

* * *

Всесоюзный оргкомитет Союза советских писателей утвердил первую группу литераторов из Центрально-Черноземной области членами ССП. В телеграмме из Москвы были названы их имена: Михаил Киреев, Леонид Завадовский, Ольга Кротова и Лев Плоткин. Еще девятеро воронежцев получили статус стажеров Союза советских писателей.

* * *

Лев Плоткин 12 июня выступил в «Коммуне» со статьей «Растет литература социализма. К конференции советских писателей ЦЧО». Он охарактеризовал положение на литературном фронте Черноземья:

«Со времени создания ЦЧО (1928 год) литорганизация проделала, безусловно, плодотворный путь: от замкнутого кружка, живущего узко цеховыми рапповскими интересами, к широко разветвленной организации, работа которой приобретает все больший и больший общественный резонанс. Прием в Союз советских писателей определил творческий актив организации ЦЧО. В члены союза и в стажеры принято 13 человек. Если учесть высокие требования к каждому члену ССП, то надо будет признать эту цифру весьма значительной». Плоткин привел для сравнения: по Горьковскому краю в члены союза и стажеры принято всего 9 человек.

Лев Плоткин выразил признательность за внимание к писательской организации со стороны обкома ВКП(б) и лично первого секретаря Варейкиса.

* * *

15 июня на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) принято решение об открытии Всесоюзного съезда писателей 15 августа 1934 года. Это решение следом продублировал президиум оргкомитета ССП СССР и объявил съездовскую повестку и основных докладчиков:

1. Советская литература — М. Горький; а) Содоклад о детской литературе — С. Маршак.

2. Доклады о литературе национальных республик: а) Украинской, б) Белорусской, в) Татарской, г) Грузинской, д) Армянской, е) Азербайджанской, ж) Узбекостанской, з) Туркменской, и) Таджикской.

3. О международной художественной литературе — К. Радек.

4. Советская драматургия — В. Кирпотин, А. Толстой, В. Киршон, Н. Погодин.
5. Советская поэзия — Н. Бухарин, Н. Тихонов.
6. О работе с молодыми писателями — В. Ставский, К. Горбунов.
7. Устав союза советских писателей — П. Юдин.
8. Выборы руководящих органов Союза советских писателей.

Это сообщение для прессы подписали: председатель оргкомитета ССП СССР М. Горький, секретариат оргкомитета: П. Юдин, В. Кирпотин, В. Ставский, Вс. Иванов, А. Фадеев, Н. Тихонов, И. Микитенко.

Очередной перенос открытия съезда внес сумятицу в работу по его подготовке. Дело в том, что с учетом ранее объявленной даты — 25 июня — оргкомитетом были заказаны гостиницы для участников и гостей, столовые, экскурсии по Москве. Уже начали прибывать зарубежные делегации.

* * *

17 июня газета «Коммуна» опубликовала сообщение областного оргкомитета ССП следующего содержания:

«В связи с тем, что Всесоюзный съезд советских писателей перенесен на 15 августа, областная конференция, назначенная на 19 июня, откладывается также на август».

* * *

В двадцатых числах июня в Воронеж приехал опальный поэт, критик и переводчик Осип Мандельштам. До этого с середины мая 1934 года он пребывал в городе Чердынь Пермского края как осужденный к ссылке за антисталинскую эпиграмму «Мы живем, под собою не чуя страны...»

В Чердыни в результате приступа душевной болезни Мандельштам совершил попытку самоубийства, выбросившись из окна. После обращения супруги Надежды Яковлевны в советские и партийные инстанции, при содействии Бухарина и вмешательстве в дело самого Сталина Мандельштаму разрешили самостоятельно выбрать место поселения. Вместе с женой они выбрали Воронеж.

Существовало мнение, что Мандельштам бывал здесь еще в 1919 году. Основание для этого — публикация статьи Мандельштама «Утро акмеизма» в 4-м и 5-м номерах журнала «Сирена», издававшемся в Воронеже поэтами-имажинистами под редакцией Владимира Нарбута. Интересно, что в числе полутора десятка людей, которых поэт познакомил со своей самоубийственной эпиграммой, был Нарбут.

Сразу же после прибытия в Воронеж Мандельштам с женой поселились в гостинице «Центральная» на проспекте Революции, 46. Через каждые две недели он должен был отмечаться в местном отделении НКВД.

* * *

В воронежском книжном издательстве вышла книга Бориса Дьякова «Герои Каракумов».

В 1933 году состоялся знаменитый всесоюзный автопробег Москва — Каракумы — Москва, целью которого было изучить выносливость автомобилей в тяжелых эксплуатационных условиях, испытать отечественные шины из натурального и синтетического каучука, в том числе воронежского производства. В пробеге участвовала большая группа корреспондентов центральных газет. Дьяков от газеты «Коммуна» в их среде был единственным журналистом областного уровня.

Книга Бориса Дьякова стала увлекательным репортажем об испытаниях техники и людских характеров в дальнем пути по горячим пескам, «где капля воды — крупица золота». Автор позиционировал свое произведение как повесть для детей среднего и старшего возрастов.

ИЮЛЬ

Разделение Центрально-Черноземной области на Воронежскую и Курскую поставило под вопрос издание «Энциклопедического словаря ЦЧО». Его первый том, охвативший понятия на буквы А — Е, вышел в марте 1934 года, а второй том (на буквах Ж — М) планировался на январь 1935-го.

В начале июля новым властям регионов удалось договориться издание продолжить под названием «Энциклопедический словарь Воронежской и Курской областей». Определен объем второго тома — 40 печатных листов (вдвое больше первого). В работе над вторым томом, как и над первым, активное участие принимает ответственный редактор газеты «Коммуна», председатель Воронежского оргкомитета союза советских писателей Александр Швер. Он редактирует раздел «Культура и искусство». В числе редакторов статей сельскохозяйственной тематики — 29-летний агроном Алешковского опорного пункта Воронежской областной опытной станции Гавриил Троепольский.

* * *

16 июля в Воронеж приехал с творческими целями известный советский писатель-публицист Илья Эренбург. Первым делом он посетил редакцию «Коммуны», где беседовал с ответственным редактором Александром Швером и журналистами газеты. Участниками встречи были также писатели Михаил Булавин, Лев Плоткин, Максим Подобедов, Николай Романовский.

Наутро Эренбург в сопровождении Швера отправился в Хохольскую машинно-тракторную станцию. Там он имел продолжительную беседу с начальником политотдела МТС Бабкиным.

Писатель также побывал в колхозах «Красный Октябрь» и «Стремление», посмотрел, как живут колхозники. Эренбурга заинтересовал дом отдыха для колхозников, расположенный в бывшем помещичьем саду. Здание дома построено из кулацких изб. Отдыхающие угостили Эренбурга и Швера ужином из баранины с картофелем, яичницы и свежего молока с медом.

В тот же день в редакции «Коммуны» Швер и Эренбург беседовали с группой учителей — участников областного слета ударников всеобуча. Говорили более двух часов о советской школе и учащихся, о воспитательной роли художественной литературы и ее преподавании детям.

Затем Эренбург убыл из Воронежа на один из участков ударного строительства магистрали Москва — Донбасс.

Высказывалось предположение, что истинной целью приезда Эренбурга в Воронеж было его желание разыскать ссыльного Мандельштама. Эта встреча не состоялась.

* * *

17 июля в «Молодом коммунаре» появилась обширная статья «О поэтах области». Надо заметить, что в целом молодежная газета редко обращалась к литературным темам и выход статьи с попыткой критически осмыслить творчество местных стихотворцев можно было только приветствовать.

Однако подлинной, грамотной литературной критики не получилось. Статья изобилует банальностями, сомнительными сравнениями и выводами. В ней, к примеру, поэзия рассматривается «как часть советской прозы». Оценка творчества поэтов Покровского, Пономарева, Рыжманова схематична: первый — «человек способный», второй — «поэт способный», третий — «поэт, который поговаривает о творческом юбилее». Недостатки в их стихах также обойдены серьезным анализом и сводятся к общим фразам вроде таких: «отсутствие глубокой мысли, сложного сюжета и широкого кругозора», «отсутствие образов с большой емкостью мысли».

Автором бестолковой и малополезной статьи выступил 22-летний агроном и сам начинающий поэт Садоф Данилов. Сказывается отсутствие у него личного поэтического опыта при поверхностных литературоведческих знаниях.

* * *

В номере от 29 июля «Коммуна» перепечатала в сокращении передовую статью газеты «Правда», озаглавленную «Первый съезд советских писателей». В ней напоминает, что съезд откроется 15 августа.

«Организационно завершая двухлетнюю работу по созданию единого союза советских писателей, съезд является вместе с тем событием первостепенной политической важности, как показатель огромного роста новой культуры советской страны», — подчеркивается в статье. Дается высокая оценка роли литературы в строительстве социализма, выражена уверенность, что писатели будут еще активнее овладевать высотами профессионального мастерства, улучшать качество своей работы.

* * *

По данным отдела культуры и пропаганды ленинизма обкома ВКП(б), в одном только Воронеже с начала 1934 года «литературными вечерами, выступлениями писателей на заводах, в клубах, театрах, читательскими конференциями было охвачено 20 тысяч человек».

В отчете редакции журнала «Подъём» о проделанной работе в первом полугодии отмечается, что разобрано 365 рукописей начинающих авторов. Им даны письменные консультации. Наиболее достойные произведения были напечатаны или подготовлены к печати. Так, увидел свет рассказ «У амбара» студента сельскохозяйственного института Мукина. Активный литкружковец слесарь завода им. Дзержинского Баранников дебютировал в «Подъёме» с рассказом «Заразительный человек».

АВГУСТ

Бюро Воронежского обкома ВКП(б) дало добро на открытие областной конференции Союза советских писателей 7 августа. Судя по примеру других республик, краев и областей, где к этому времени уже прошли аналогичные съезды и конференции без участия первых лиц партийного руководства, в Воронеже также не предусматривалось общения Иосифа Варейкиса с делегатами и гостями конференции. Возможно, что соответствующие инструкции поступили из Москвы. Было объявлено, что Варейкис во время писательского форума будет находиться в краткосрочном отпуске. Забегая вперед, отметим, что Сталин не участвовал в работе Первого Всесоюзного съезда ССП.

* * *

Воронежский областной оргкомитет ССП направил приглашения на конференцию известным советским писателям Всеволоду Иванову, Александру Серафимовичу, Алексею Новикову-Прибою, Василию Ильенкову, Михаилу Кольцову. Ранее Варейкис лично пригласил Федора Панферова.

* * *

Местом проведения областной писательской конференции объявлен Дом санитарной культуры — одно из лучших в Воронеже общественных зданий с прекрасным залом на углу улиц Чайковского и Фридриха Энгельса (до революции здесь размещалось Дворянское собрание; в годы Великой Отечественной войны оно было разрушено, — *прим. ред.*) Открытие назначалось не на рабочее время, а на 7 часов вечера. Число делегатов конференции — 120, гостей — 400 человек.

* * *

5 августа в Воронеже прошло городское собрание комсомольского актива, посвященное вопросам советской литературы и предстоящему Первому Всесоюзному съезду советских писателей.

Докладчиком на собрании был Лев Плоткин. Он подробно охарактеризовал «громадный рост литературы за два года, прошедшие после выхода в свет постановления ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций».

В своих выступлениях молодые рабочие Загородников (завод им. Ленина), Ключников (завод им. Калинина), Каптеров (завод СК-2), студент госуниверситета Гинзбург, редактор «Молодого коммунара» Тюрин и сотрудник этой газеты Певнев подвергли местных писателей критике за слабое внимание к комсомольской тематике.

Взявший слово в завершение собрания ответственный редактор журнала «Подъём» Максим Подобедов с критикой согласился и призвал писателей установить не эпизодическую, а постоянную связь с комсомолом.

Затем Ольга Кретьова прочла отрывок из своей новой повести о комсомоле завода СК-2.

Собрание приняло текст открытого письма Первому Всесоюзному съезду советских писателей.

* * *

С начала августа «Коммуна» завела рубрику «Писатели Воронежской области». До открытия конференции небольшие публикации с портретами посвящались Ольге Кретьовой, Леониду Завадовскому и Михаилу Кирееву. В них приводились биографические сведения о писателях, анализировалось их творчество. Тексты содержали не только похвалу, но и критические замечания.

Кретьова названа «одним из самых даровитых» молодых писателей, выросших на областной литературной почве. Ее покритиковали среди прочего за то, что она «недостаточно тщательно обрабатывает фразу» (в пример приводится фраза такая: «Антон отсунул бабу и решительно зашагал к своему гумну»).

Завадовскому, этому «уже сформировавшемуся мастеру художественного слова», заметили, что у него человек часто описывается «как животное, скованное железным кругом борьбы за существование».

«Осторожный, вдумчивый писатель, который тщательно взвешивает каждое

слово, каждую деталь», — так «Коммуна» представила Киреева, у которого тоже нашлись недостатки: неумение разработать свою большую тему, его рассказы являются собой как бы иллюстрации к «тезисам учебного обществоведения о переделке вчерашнего единоличника в колхозника».

* * *

6 августа «Коммуна» вышла с редакционным обзором «Как в «Молодом коммунаре» стригут и бреют молодых поэтов». В обзоре содержится довольно резкая критика статьи «Поэты области», напечатанной в «МК» 17 июля. Публикация названа «опытом критической пародии». В ней, пишет «Коммуна», нет «ни грана подлинной, грамотной критики. Критические оценки состоят из набора претенциозных фраз, достоинством которых является отсутствие в них всякого смысла».

Уже в следующем номере «Коммуна» опубликовала короткий ответ на критику: «Редакция газеты «Молодой коммунар», обсудив обзор газеты «Коммуна», подвергая критику статью тов. Данилова «О поэтах области», признает крупной ошибкой помещение этой статьи, неправильной и вредной по своему содержанию, сводящейся по существу к огульному охаиванию творчества молодых поэтов области без серьезного критического анализа их творчества, и невежественной по своей форме».

* * *

7 августа в торжественной обстановке открылась конференция Союза советских писателей Воронежской области.

«Нигде и никогда в прошлом не пользовалась художественная литература таким почетом, как в нашей стране, — заявил во вступительном слове председатель областного оргкомитета ССП Александр Швер. — На западе в капиталистических странах есть осыпавшие всеми благами знаменитости. Но это только немногие, единицы. У нас живейшим вниманием и заботами окружены все писатели, весь молодняк, которому помогают расти и учиться. В Советском Союзе литературным движением руководит партия во главе с любимейшим вождем товарищем Сталиным. В Советском Союзе писатель органически связан с массами».

По традиции того времени делегаты конференции избрали почетный президиум в составе членов Политбюро ЦК ВКП(б), первого секретаря обкома ВКП(б) Иосифа Варейкиса, председателя облисполкома Евгения Рябинина, писателей Максима Горького и Александра Серафимовича, французского писателя Анри Барбюса, лидера немецких коммунистов Эрнста Тельмана.

Рабочий президиум конференции был проголосован в составе: председатель облисполкома Рябинин, секретарь обкома ВКП(б) Ярыгин, заведующий отделом культуры и пропаганды ленинизма обкома партии Генкин, Швер, начальник политотдела Битюгского совхоза Горбаченко, писатели Панферов, Ильенков, Завадовский, Плоткин, Кретьова, Подобедов, Задонский, художник Нестеров, представитель писателей Курской области Ветрова.

Приветствуя делегатов и гостей конференции, секретарь обкома партии Ярыгин сказал:

«Наш писатель говорит с миллионами. В наших условиях литература является активным средством борьбы за социалистическое строительство и переделку сознания людей». Оратор обозначил насущные задачи художественной литературы и цели писателей Воронежской области, призвал их правдиво описывать действительность, исходя из основ социалистического реализма, но и заглядывать в будущее».

Обратился к собравшимся также рабочий завода имени Тельмана Старых.

По предложениям, поступившим в президиум, решено направить приветствен-

ные телеграммы в адрес Иосифа Варейкиса и Максима Горького. Их тексты, заранее подготовленные оргкомитетом, были озвучены и утверждены голосованием.

В телеграмме Варейкису говорилось следующее:

«Дорогой Иосиф Михайлович!

Писатели Воронежской области шлют вам сердечный привет. Мы очень ценим ваше внимание, заботы и горячее участие в воспитании молодых писателей Воронежской области. Ваши критические указания оказывают нам неоценимую помощь в нашей работе.

Мы обещаем вам со всей большевистской страстностью бороться за овладение литературным мастерством, за создание полноценных произведений о красочной, многогранной жизни и борьбе нашей социалистической Родины».

Затем слово было представлено Льву Плоткину. Свой доклад «О литературном положении в Воронежской области» он начал с опровержения фразы «реакционера» Замятина, некогда сказавшего, что у русской литературы теперь, после революции, одно будущее — ее прошлое. Действительность «показала, какие творческие силы, какие огромные родники творческой энергии разбудила революция. Социалистический строй создал почву для подлинного расцвета литературы».

Плоткин заявил, что воронежская литературная организация доказала свою жизнеспособность. Лучшим ее показателем является обилие художественной продукции, выпущенной только за последние два года. Это три книги Подобедова, книжки Кретовой, Булавина, Романовского, Пескова, сборник стихов Покровского, повесть Прудковского. Общий тираж этих книг превысил 100 тысяч экземпляров. Кроме того, драматурги во главе с Задонским выпустили тиражом в 128 тысяч экземпляров массовые пьесы для рабочих и колхозных самодеятельных театров.

О делах на воронежском поэтическом фронте Плоткин сказал вкратце, отметив, что поэзия и поэты отстают от прозы и прозаиков. Были названы со знаком плюс только имена Покровского и Рыжманова, «но и у них еще много изъянов».

Второй день конференции начала заместитель председателя областного комитета ССП Ольга Кретова. Ее доклад посвящался массовой работе с начинающими авторами.

«Наша область при сравнительно небольшом числе, так сказать, апробированных писателей очень богата литературным молодняком, который группируется в основном вокруг журнала «Подъём». Не менее 200 рукописей получила и разобрала редакция. Только в этом году более тысячи человек было охвачено литературными консультациями».

Далее Кретова высказалась о том, что сдерживает рост литературного молодняка. Это излишняя самоуверенность и переоценка своих сил у только что начавших писать кружковцев: «Рано возомнив себя талантами, они подчас перестают учиться и быстро сходят со сцены. Часто в редакцию поступают очень слабые тексты, авторы которых надеются, что их поправят опытные писатели. Молодняк еще мало работает над языком и деталями».

Выступившие в прениях по докладам Плоткина и Кретовой преимущественно говорили о проблемах руководства литдвижением на территории области, качества произведений, литературной критики, воспитания творческой смены.

Так, делегат из Мичуринска Лубин заметил, что «общий уровень масс резко повысился, а язык местной прозы и поэзии по-прежнему остается грубым. Работник Кантемировского политотдела Щербаков указал на отсутствие серьезной литературной критики произведений молодых авторов, а периодическая печать их не рецензирует. Участница конференции Горгасова добавила, что писатели совершенно упускают из виду маленьких читателей и, если не считать книгу Дьякова «Герои Каракумов», не дали ни одного произведения для детей.

* * *

Из отчета газеты «Коммуна» о втором дне работы конференции известно, что в прениях по докладам Плоткина и Кретьевой выступили также Ермаков, Покровский, Тюрин, Алексеев, Подобедов, Коробков, Калецкий и Горбаченко.

С большой речью выступил Федор Панферов. Он кратко охарактеризовал работу всесоюзного оргкомитета Союза советских писателей и далее коснулся «наиболее трепещущего для советской литературы вопроса — о языке и стиле литературных произведений: «Наш язык зачастую еще очень беден и немощен потому, главным образом, что мы мало изучаем жизнь, мало изучаем те колоссальные сдвиги, которые происходят на наших глазах в экономике и сознании людей. Надо по-настоящему и вплотную подойти к жизни. Я уверен, что воронежские писатели справятся с этой задачей»...

Затем делегаты приступили к решению организационных вопросов. Единогласно было избрано правление союза советских писателей Воронежской области в составе:

— члены правления: Александр Швер (председатель), Ольга Кретьова, Лев Плоткин;

— кандидаты в члены правления: Леонид Завадовский, Михаил Киреев.

В состав ревизионной комиссии областного ССП вошли: Максим Подобедов, Михаил Булавин, Николай Задонский.

Редакционную коллегию журнала «Подъём» конференция утвердила в составе: Сергей Елозо, Комаров, Максим Подобедов, Леонид Завадовский, Лев Плоткин.

Делегатами от Воронежской писательской организации на Первый Всесоюзный съезд советских писателей были избраны:

— с решающим голосом: Александр Швер, Леонид Завадовский, Ольга Кретьова, Лев Плоткин; с совещательным голосом: Максим Подобедов, Михаил Киреев, Владимир Алексеев.

На закрытии конференции выступил председатель правления союза советских писателей Воронежской области Александр Швер:

«Лучшими нашими резолюциями станут будущие произведения воронежских писателей. Наша конференция дала огромную зарядку, которая поднимет творческие силы писателей и это не замедлит сказаться на новых полноценных художественных произведениях. Я уверен, что писатели Воронежской области оправдают те надежды, которые возлагает на художественную литературу наша большевистская партия».

* * *

Открытие Первого Всесоюзного съезда советских писателей было вновь отсрочено, правда, на сей раз только на два дня. Он начал работу 17 августа и завершился 1 сентября.

За это время прошли 26 заседаний, на которых были заслушаны и обсуждены доклады Максима Горького о советской литературе, Самуила Маршака о детской литературе, Карла Радека о современной мировой литературе и задачах пролетарского искусства, Валерия Кирпотина, Николая Погодина, Владимира Киршона о советской драматургии, Николая Бухарина о поэзии, поэтике и задачах поэтического творчества в СССР, Владимира Ставского о литературной молодежи страны, Кузьмы Горбунова о работе издательств с начинающими писателями, Павла Юдина об уставе Союза советских писателей. Было проанализировано состояние литературы в национальных республиках.

* * *

Разнообразным был жанровый состав участников писательского форума: прозаиков насчитывалось около 33 процентов, поэтов — 19,2, драматургов — 4,7, литературных критиков — 12,7, очеркистов — 2, журналистов — 1,8, детских писателей — 1,3 процента.

На съезде были представлены писатели и поэты 52 национальностей страны, в том числе русские — 201 человек, евреи — 113, грузины — 28, украинцы — 25, армяне — 19, татары — 19, белорусы — 17, узбеки — 12, таджики — 10 человек и т.д. Самыми представительными были писательские делегации Москвы — 175 человек, Ленинграда — 45, Украины — 42, Белоруссии — 26, Грузии — 30, Армении — 18, Азербайджана — 17, Узбекистана — 16, Таджикистана — 14.

Средний возраст делегатов — 36 лет. Воронежские здесь выглядели так: самый старший — Завадовский, 46 лет. Далее идут Подобедов, 37, Швер, 36, Алексеев, 35, Кретова и Киреев, им по 31 году, и Плоткин, 28 лет.

На съезде присутствовали 40 иностранных писателей, в том числе Луи Арагон, Мартин Андерсен-Нексе, Жан-Ришар Блок, Вилли Бредель и другие. Некоторые из них выступили в прениях.

* * *

В качестве единственного художественного метода на съезде признавался социалистический реализм, принципы которого впервые были включены в принятый съездом Устав Союза писателей СССР.

Главным постулатом соцреализма стала партийность, социалистическая идейность (подчинение литературы и искусства принципам идеологии и политики).

* * *

Из воронежских делегатов никто не избирался в состав президиума съезда, секретариата, мандатной и редакционной комиссий. Не было их и в числе выступавших.

Воронежская пресса работу писательского форума освещала информационно. «Коммуна» полностью напечатала речь Жданова на открытии съезда, с некоторыми сокращениями — доклад Горького, доклады Радека и Маршака.

В докладе Горького упоминался в положительном ключе Воронеж: здесь (и еще в нескольких центрах регионов) издаются книги и альманахи с произведениями местных молодых литераторов.

Съезд завершился избранием правления Союза советских писателей во главе с Горьким.

СЕНТЯБРЬ

1 сентября отмечался XX Международный юношеский день. Поэт Григорий Рыжманов приветствовал этот праздник стихотворением «Письмо за границу», напечатанным в «Коммуне». Автор обращается к некоему молодому немецкому рабочему Вилли, сострадав его тяжелой жизни под гнетом капитала. Вилли, конечно, ничего не знает *«О нашем строительстве социализма, / О нашей работе, любви и борьбе»*.

А между тем «мы», то есть советская молодежь, живем, как уверяет поэт,

С немеркнувшей думой о вас, о подполье, —
Вилли, биение сердца сверь!
Мы всюду — на домнах, и дома, и в поле —
С мечтой о всемирном СССР!

* * *

1 сентября, в последний день работы писательского съезда, Максим Горький пожаловался в Центральный комитет ВКП(б) на Федора Панферова и «его группу», а также на лидера воронежских коммунистов Иосифа Варейкиса.

«Писатели, которые не умеют или не желают учиться, но привыкли играть роли администраторов... стремятся укрепить за собою командующие посты... Их выступления на съезде были идеологически тусклы и обнаружили их профессиональную малограмотность. Эта малограмотность позволяет им не только не понимать необходимость повышения [качества] их продукции, но настраивает их против признания этой необходимости, — как это видно из речей Панферова, Ермилова, Фадеева, Ставского и двух, трех других, — писал Горький. — Однако т. Жданов сообщил мне, что эти люди будут введены в состав правления союза как его члены. Таким образом, люди малограмотные будут руководить людьми значительно более грамотными, чем они... Лично я знаю людей этих весьма ловкими и опытными в «творчестве» различных междоусобий, но совершенно не чувствую в них коммунистов и не верю в искренность их. Поэтому работать с ними я отказываюсь, ибо дорожу моим временем и не считаю себя вправе тратить его на борьбу против пустяковых «склок», которые неизбежно и немедленно возникнут.

И уже возникают: в журнале «Октябрь», книга 7-я, редактируемом группой Панферова, помещена речь т. Варейкиса, которую я считаю вредной, направленной против лозунга борьбы за качество литературы и вообще безграмотной».

Раздражение Горького сложившейся ситуацией было столь велико, что он закончил это письмо просьбой освободить его от обязанностей председателя правления Союза советских писателей.

Для партийных верхов такой демарш «Буревестника революции» был неожиданным. У секретаря ЦК ВКП(б) Вячеслава Молотова состоялось совещание для поиска компромисса, после чего Горький свою просьбу снял.

Публикация Варейкиса в седьмом номере журнала «Октябрь» за 1934 год называлась «Некоторые замечания о нашей художественной литературе» и представляла собой сокращенную стенограмму его выступления на совещании партийного актива Воронежа 27 апреля, посвященном вопросам литературной работы. В частности, Варейкис писал:

«Горький правильно поднял знамя против недостатков языка нашей литературы, хотя с его оценкой творчества Панферова я не могу полностью согласиться. Очищать язык художественной литературы надобно прежде всего от старого, реакционного хлама... Когда речь идет о борьбе за прекрасный язык в художественной литературе, то это вовсе не значит, что мы требуем изобретать новые слова, новые обороты. Художник прежде всего должен уметь обработать народный язык, уметь поднимать его выше, развивать и обогащать. Это дело сложное».

* * *

Резолюция съезда ССП обязывала каждого делегата выступить с отчетом о работе литературного форума перед своими избирателями — коллегами по перу и читательским активом на местах. В сентябре Швер, Завадовский, Кретова, Плоткин, Подобедов, Киреев и Алексеев провели, как писала «Коммуна», «ряд много-

людных собраний, показавших огромный интерес трудящихся к советской литературе, еще более возросший со времени съезда».

Так, очень оживленно прошло городское собрание писателей и журналистов, на котором о съезде рассказывала Ольга Кретова. Выступавшие подробно развили практические задачи, стоящие перед воронежской организацией писателей. Борьба за высокое мастерство, создание нормальной творческой среды стояли в центре внимания всех, кто принял участие в обсуждении доклада Кретовой.

В Воронежском государственном университете состоялся литературный вечер. На него пришли 250 студентов. И здесь Кретова была докладчицей. Ей задали много вопросов.

На собрании педагогов-словесников в педагогическом институте о съезде говорил Павел Калецкий. Не будучи делегатом съезда ССП, он, тем не менее, счел обязанным участвовать в пропаганде его решений.

Бригада в составе Михаила Булавина и Николая Романовского выезжала с докладами в города Елец, Богучар и Павловск.

* * *

Областной радиокomiteeт организовал цикл передач на волнах своей радиостанции им. Профинтерна, посвященных жизни и творчеству воронежских писателей. 24 сентября первой вышла в эфир передача об Ольге Кретовой. Ее представили как заместителя председателя правления областной организации союза советских писателей, делегата Первого Всесоюзного съезда ССП. Передача шла в прямом эфире с участием самой писательницы.

* * *

В сентябре обосновавшийся в Воронеже Осип Мандельштам обратился к председателю правления областного отделения Союза советских писателей Александру Шверу с просьбой дать ему возможность участвовать в работе местной писательской организации. По свидетельству Ольги Кретовой, «в беседе с писателями-коммунистами, членами правления Мандельштам рассказывал о своей огромной жажде принять и осмыслить советскую действительность, просил помочь ему бывать на заводах и в колхозах, вести работу с молодыми писателями».

Опальному поэту предоставили возможность в составе бригады журналистов газеты «Коммуна» поехать на открытие первого совхозного театра в Воробьевском районе. Кроме того, Швер взял Мандельштама на должность литературного консультанта при ССП.

Также в сентябре Мандельштам побывал в редакции журнала «Подъём» и установил контакты с пребывавшими в Воронеже ссыльными Павлом Калецким, Александром Стефеном, Натаном Айчем. Все они печатались в «Подъёме», активно участвовали в литературной жизни города. Калецкий преподавал в педагогическом институте, бывший дипломат Стефен работал в облплане, потом директором кукольного театра, Айч был цирковым актером и писателем по совместительству.

ОКТАБРЬ

«Собрать триста отроков и учить книгам их, чтобы сделать из них отменных книжников, вокруг которых, как жемчуг поверх песчинок, выросли бы книжные хранилища!» — повелевал некогда Ярослав Мудрый, предвидя великую роль библиотек. В первые годы советской власти библиотеки открывались как в директивном порядке, так и стихийно, их фонды не всегда контролировались.

С целью упорядочения библиотечного дела согласно постановлению Совнаркома СССР в стране была проведена перерегистрация библиотек — политпросветских, профсоюзных, фабрично-заводских, школьных, вузовских, научных, учредженческих. В Воронеже эта кампания проходила в период с 1 по 15 октября. За уклонение от перерегистрации предусматривалась ответственность вплоть до уголовной.

* * *

11 октября в клубе им. К. Маркса состоялось собрание иностранных рабочих и специалистов, занятых на предприятиях Воронежа. В очередной раз на встречу с ними пришли писатели. Это были делегаты Первого Всесоюзного съезда ССП, члены правления областной писательской организации, наиболее активные начинающие авторы.

Разговор шел об итогах съезда, творчестве местных писателей, их участии в культурной жизни.

* * *

В середине октября вышел с задержкой сентябрьский номер журнала Воронежского обкома ВКП(б) «Ленинский путь». На его страницах выступил ответственный редактор журнала «Подъём» Максим Подобедов со статьей «Об итогах Всероссийского съезда советских писателей».

НОЯБРЬ

20 ноября заместитель заведующего отделом культуры и пропаганды ленинизма ЦК ВКП(б) Павел Юдин сообщил Максиму Генкину, заведующему аналогичным отделом Воронежского обкома ВКП(б):

«Тов. Генкин!

В Воронеже с некоторых пор проживает старый писатель-поэт Мандельштам. Попал он в Воронеж за некоторые дела, не одобряемые органами советской власти. Мандельштам как поэт очень квалифицированный и является большим мастером и знатоком поэтического творчества.

Среди старых писателей он пользуется известным авторитетом. Поэт он, конечно, не наш, и будет ли когда-нибудь нашим — не думаю.

В Воронеже он живет как будто бы сравнительно свободно, и ему не возбраняется заниматься литературной деятельностью.

В Культпроп ЦК ВКП(б) обратились некоторые старые его сподвижники по литературе (Пастернак Б.Л.) с вопросом о возможном расширении литературной деятельности Мандельштама.

Считаю, что это сделать возможно.

«Расширение» деятельности Мандельштама, думаю, может выразиться примерно в следующем:

а) предоставить возможность ему писать, а, следовательно, и печатать в общем порядке при условии, конечно, полной приемлемости того, что он будет давать для нашей печати;

б) использовать его как переводчика классической литературы;

в) можно привлекать его в общие коллективы (бригады) писателей, каждый раз определяя конкретно задачу, которую ему можно поручить.

Речь, следовательно, идет о том, чтобы Мандельштама постепенно вовле-

кать в писательскую работу и использовать его по мере возможности как культурную силу и дать возможность заработать. Об этом я говорил с А.И. Стецким (заведующий отделом, у которого Юдин был заместителем. — Прим. ред.) и пишу тебе по его поручению.

Всякие разговоры с Мандельштамом удобнее всего будет вести через ваших писателей...

С коммунистическим приветом, П. Юдин».

* * *

24 ноября в Воронеже открылась областная публичная библиотека. Ее разместили в здании, известном как Дом губернатора (пр. Революции, 22). Открытие было торжественным, с участием первых лиц города и области. Места в президиуме собрания занимали первый секретарь обкома ВКП(б) Иосиф Варейкис, председатель облисполкома Евгений Рябинин, заведующий отделом культуры и пропаганды ленинизма обкома партии Максим Генкин, ответственный редактор газеты «Коммуна» и председатель областного отделения Союза советских писателей Александр Швер, писатели Максим Подобедов и Лев Плоткин, художник Александр Бучкури.

* * *

В городе Семилуки 540 человек пришли на литературный вечер, чтобы послушать приехавших к ним из Воронежа писателей Максима Подобедова, Михаила Булавина и Бориса Пескова. Разговор шел об итогах и значении Первого Всесоюзного съезда советских писателей.

Главным докладчиком был Подобедов. Ему, как писала «Коммуна», внимали «при абсолютной тишине». После Подобедов читал свой рассказ «Приветственное слово», Песков — рассказ «Гражданка», а Булавин — отрывок из большого рассказа «Побег».

Активными участниками вечера были члены литературного кружка Семилукского района. Рабочие местного огнеупорного завода попросили писателей из Воронежа не ослаблять с ними связь, чаще устраивать подобные лит-вечера.

* * *

В последних числах ноября Осип Мандельштам писал из Воронежа в Москву отцу, Эмилию Вениаминовичу:

«Приезжай в середине января... Комната у меня большая, хорошая. Вообще тебе понравится мой воронежский образ жизни. Все очень ладно — и быт, и содержание жизни. Я занимаюсь литературной консультацией. Веду работу с здешней молодежью. Участвую в разных совещаниях, вижу много людей и стараюсь им помочь. На днях вместе с группой делегатов и редактором областной газеты я ездил за 12 часов в совхоз на открытие деревенского театра. Предстоит еще поездка в большой колхоз и знакомство с одним из воронежских заводов. Никаких лишений нет и в помине. Мы ходим обедать в отличную столовую газеты «Коммуна»... Готовлюсь писать прозу на новом материале. Впервые за много лет я не чувствую себя отщепенцем, живу социально, и мне по-настоящему хорошо... У меня... заработок пока всего 300 р...»

ДЕКАБРЬ

Кинофильм «Чапаев», вышедший на экраны страны в ноябре, сразу обрел небывалую популярность. Воронежцы ходили смотреть его как на демонстрацию — строем, под музыку, со знаменами и плакатами. Кстати, исполнитель роли Василия Ивановича Борис Бабочкин, в 1922-1923 годах служил в Воронежском драмтеатре.

Одним из первых рецензентов фильма в местной прессе стал Лев Плоткин. «Сила картины — в ее правдивости, — писал он в «Коммуне» 11 декабря, — посвященная прошлому, картина эта становится блестящим художественным документом, агитирующим за наше социалистическое сегодня, ибо то, о чем мечтали чапаевцы, во имя чего они готовы были «штурмовать небеса» и сломать головы свои, — становится прекрасной явью».

* * *

«Литературная газета» в номере от 18 декабря приветствовала выход в свет на родине И.С. Никитина первого советского издания «Избранных произведений» поэта, выпущенного областным книжным издательством «Коммуна».

В сборник вошли поэма «Кулак», единственное прозаическое произведение Никитина «Дневник семинариста» и 50 стихотворений, а также избранные письма, подобранные и прокомментированные ленинградским литературоведом А.Г. Фоминым. Сборник вышел под редакцией, с вводной статьей и примечаниями доцента Воронежского государственного педагогического института Льва Плоткина.

* * *

В конце декабря областной радиокomitee анонсировал сверстаный план вещания на первый квартал нового, 1935 года. В литературной его части были предусмотрены выступления писателей-воронежцев Максима Подобедова и Николая Романовского. Отводилось эфирное время на художественное чтение отрывков из произведений о Красной Армии, знакомство с творчеством писателей Константина Паустовского, Веры Инбер, Александра Грина, Джека Лондона. Готовилась литературно-музыкальная композиция по поэме Владимира Маяковского «Владимир Ильич Ленин» с участием собственного симфонического оркестра облрадиокомитета под управлением дирижера Александра Фридендера.

ПОСЛЕСЛОВИЕ. СУДЬБЫ ПЕРВЫХ

По-разному сложится жизнь литераторов, упомянутых в этой хронике.

Оставив свои следы в летописи воронежской писательской организации, разъедутся по стране прозаик Михаил Киреев, поэт Садоф Данилов, литературоведы и литературные критики Лев Плоткин, Павел Калецкий, Владимир Егин.

Активную и долгую творческую жизнь на черноземных просторах продолжат Максим Подобедов, Михаил Булавин, Ольга Кретьова, Петр Прудковский, Михаил Сергеев, Григорий Рыжманов, Николай Задонский, Вадим Покровский.

По «широкозахватной» 58-й статье УК РСФСР будут репрессированы и расстреляны партийный вожак и литератор Иосиф Варейкис, организатор литературного процесса Александр Швер. Расстреляют сменившего Швера на посту ответственного редактора «Коммуны», члена редколлегии «Подъёма» Сергея Елозо

и профессора Степана Стойчева, принявшего от Швера пост председателя правления областной писательской организации. Пуля палача оборвет жизнь писателя Леонида Завадовского, а прозаик и очеркист Борис Дьяков получит десять лет лагерей.

В годы Великой Отечественной войны погибнут фронтовые корреспонденты писатели Николай Романовский и Борис Песков, поэт-партизан Валентин Шульчев.

По книгам и многочисленным газетно-журнальным публикациям этих отцов-основателей областной писательской организации, в общении с ними на занятиях литкружков и объединений учились творческому мастерству и духу профессиональной солидарности многие литераторы последующего поколения. Лучшие традиции, заложенные первыми, продолжают жить и развиваться и в сегодняшнее время.

Публикация Виталия ЖИХАРЕВА

(По материалам газет «Коммуна», «Молодой коммунар», «Литературная газета», журналов «Подъём», «Ленинский путь», справочно-энциклопедических и мемуарных изданий, воспоминаниям участников литературного процесса 1930-х гг. и других источников).





Андрей Платонов

ДРЕВНИЙ МИР, ВОСПЕТЫЙ ПТИЦАМИ

Он родился в Воронеже, в окраинной Ямской слободе, и был старшим сыном в многодетной семье слесаря железнодорожных мастерских Платона Фирсовича Климентова (Платонов — литературная фамилия писателя).

«Паровоз революции» стремительно вошел в юность писателя, увлек его: за несколько лет будущий писатель прожил по силе пережитого целую жизнь. Учится в Воронежском политехникуме и в университете. Служит в железнодорожных войсках. Работает электрификатором и губернским мелиоратором, осушает болота, восстанавливает мосты и дороги; по собственному признанию — «построил 800 плотин и 3 электростанции». Он словно бы разрывается меж вздыбленной жизнью и тягой к писательству, меж «созерцательным делом — литературой» и прямым участием в преобразовании мира.

В 1926 году Платонова как деятельного специалиста приглашают в Москву — в Наркомзем. Вскоре направляют в Тамбов возглавить губернское мелиоративное управление. Пробыл он в Тамбове недолго и, возвратясь в Москву, окончательно посвящает себя делу писательства. Уже первые столичные книги «Епифанские шлюзы», «Сокровенный человек», изданные в 1928 году, заставляют говорить о Платонове как о редкостном, самобытнейшем таланте. Однако с начала тридцатых годов — после опубликования рассказа «Усомнившийся Макар» и бедняцкой хроники «Впрок» — на молодого писателя обрушилась массивная хула рапповской критики. Именно на переломе двадцатых-тридцатых годов, на переломе крестьянского мира Платонов создает главные свои произведения «Чевенгур» и «Котлован».

В годы Великой Отечественной войны Платонов — корреспондент «Красной Звезды», выступает с рассказами, очерками о воинской страде солдата-крестьянина, солдата-рабочего; глубоко задушевными, исполненными народного взгляда и философской глубины страницами, в которых он не просто отображал хронику военных действий, но и объяснял, почему мы должны выстоять и «почему мы выстояли в той беспримерной битве».

Он сердцем пережил трагическое испытание, прежде всего, славянского мира. Он понимал, что народу нашему сужден крест — снова «заново отстраивать Россию», снова «выходить Родину и переменить ее судьбу — от смерти к жизни».

И в согласии с русской духовно-нравственной традицией устами крестьянина из рассказа «Среди народа» желал одного: «Пускай все на свете сбудется, что должно быть по правде...».



Андрей Платонов

Последние годы жизни писателя — самые трагические. В 1943 году скончался надломившийся в северных лагерях командировка, тяжело заболел и писатель. Печатная травля после войны опубликованного рассказа «Семья Иванова» (чаще публикуется под названием «Возвращение») также не могла пройти бесследно. Созданные после войны пьесы, как и довоенные, ни издательства, ни сцены не нашли.

Платонов — современник вечности. И конечно же, наш современник. Он, часто прощески, отвечает на многие вопросы, которые в неслыханных формах и объемах поставил апокалипсический двадцатый век. Более того, и на сегодняшний день отвечает так, как если бы он среди нас и все видит. Когда затевалась перестройка, и «разные акционерные либералы», «имея научное выражение лиц», обещали народу триумфальный праздник от реформ, как бы следовало многим перечитать Платонова!

В «Чевенгуре» — сцене, происходящей на моей малой родине, в донской слободе Старая Калитва, один неробкого десятка крестьянин вразумляет наезжего интернационального устроителя: «Хлеб для революции! Дурень ты, народ ведь умирает — кому ж твоя революция достанется?» Вещие слова для всех переломных, костоломных революций — февральских, октябрьских или недавних...

Не только мрачные оценки или пророчества находим мы у Платонова. Его сердечное сострадание к людям, ко всему доброму или сиротскому на земле, помогает помудрому видеть мир. Он убежден: «Где сила, там нет свободы, свобода там, где совесть». Он из тех немногих, кто учит нас жить по правде. Правды легкой не бывает.

А сегодня, отмечая 120-летие нашего знаменитого земляка, мы предлагаем читателям познакомиться с поэтическим дарованием Андрея Платонова.

Виктор БУДАКОВ

* * *

М.А. Кашищевой

В моем сердце песня вечная
И вселенная в глазах,
Кровь поет по телу речкою,
Ветер в тихих волосах.

Ночью тайно поцелует
В лоб горячая звезда
И к утру меня полюбит
Без надежды, навсегда.

Голубая песня песней
Ладит с думою моей,

А дорога — неизвестней,
В этом мире — я ничей.

Я родня траве и зверю
И сгорающей звезде,
Твоему дыханью верю
И вечерней высоте.

Я не мудрый, а влюбленный,
Не надеюсь, а молю.
Я теперь за все прощенный,
Я не знаю, а люблю.

<1921>

МАТЬ

Руками теплыми до неба,
До неба тянется земля.
Глядит и дышит в поле верба,
Она звезду с утра ждала.

И звезды капают слезами
На грудь открытую земли
И смотрят тихими глазами,
Куда дороги все ушли.

И снится, думается дума
Дыханью каждому одна.
Леса бормочутся без шума,
Не наглядится тишина.

Земля посматривает, чувствует,
Бессонная родная мать.
До утра белого не будет
Ребенок грудь ее сосать.

<1920>

* * *

Древний мир, воспетый птицами,
Населенный ветром и водой,
Озаренный теплыми зарницами,
Ты живешь во мне — как край родной.

Горный крик гремел навстречу утру,
И поток подножье мира мыл.
Не было равнины — яростно и круто
Обнажались лица материнских сил.

Помню я, в тоске воспоминанья,
Свежесть влажной девственной земли,

И небес дремучее молчание,
И всю прелесть милую вдали.

Но чем жизнь страстней благоухала,
Чем нежней на свете красота,
Тем жаднее смерть ее искала
И смыкала певшие уста.

<1925–1926>

СТЕПЬ

В слиянии неба с землею
Волнистая синяя цепь.
Мутнеет пред ней пеленою
Покойная ровная степь.

Бесшумные ветры грядюю
Волну за волною катят,
Под ними пески чередюю
Бегут — и по травам свистят.

Не дрогнет поблеклой листвою
Кустарник у склона холма —
С обдутой вверху чистотою,
Где ночью не держится тьма.

Скрывается с злобой глухою
В колючках шершавый зверок,
Он спинкой поводит сухою
И потом от страха обмок.

Уж вечер... И, будто сохою,
Гремит у телеги мужик...
Восток позадернулся мглюю,
А запад — как пламенный крик.

Свежеет. Над тишью степною
В безветрии тлеет звезда,
И светится ею одною
Холодная неба вода.

<1918–1919>

* * *

По деревням колокола
Проплачут об умершем божье.
Когда-то здесь любовь жила
И странник падал на дороге.

О, милый зверь в груди моей
И качка сердца бесконечная,
Трава покинутых полей
И даль родимая за речкою.

Я сердце нежное, влюбленное
Отдал машине и сознанию,
Во мне растут цветы подводные,
И жизнь цветет без всякого названия.

<1921>

ВО СНЕ

Сон ребенка — песнь пророка.
От горящего истока
Все течет, течет до срока,
И волна гремит далеко.

Ты забудешь образ тайный,
Над землею неба нет.
Вспыхнет кроткий и печальный
Ранний, утренний твой свет.

Ты пришел один с дороги,
Замер сердцем и упал,
Путь в пустыне зноя долгий,
Ты, родной мой, тих и мал...

<Вторая половина 1920 г. >



ПАМЯТЬ И СЛАВА

Рассказы

Максим Подобедов

Подобедов Максим Михайлович (1897–1993). Организатор литературного движения в Черноземье. Первый редактор журнала «Подъём». Печатается с начала 1920-х годов. Делегат I Съезда советских писателей (1934).

БАБУШКА

В деревне Пресново есть заезжий колхозный двор. Состоит он из обыкновенной избы с сенями и плетневого сарая с камышовым навесом, под который заводят лошадей.

Обслуживает двор колхозница Гавриловна, одинокая пожилая женщина с круглым добродушным лицом, на котором резко выделяются крупный, слегка вздернутый нос и густые светлые брови.

Избу и двор Гавриловна содержит в образцовой чистоте, с проезжими приветлива и бывает довольна, если их много: колхозу прибыль и ей веселее. Она тогда становится суетливой, по избе ходит быстрой молодой походкой, все делая для того, чтобы проезжим было уютно. А самовар не сходит со стола, гостеприимно посвистывая. Только вот штука: зимой каждый вечер на дворе полно лошадей, а в избе — народу, летом же ночлежники — редкие гости...

Июльский день подходит к концу. Солнце нависло над лесом. От небольшого тополька, стоящего поодаль от избы, через всю улицу упала длинная тень. Гавриловна сидит на крылечке, вяжет чулок и посматривает на дорогу. Заезжий двор — на краю деревни, впереди только две избы на одной стороне и школа да кузня — на другой. А дальше — ветряк, за которым начинается степь.

Безлюдно в степи, на дороге ни души. Грустно Гавриловне: опять ночевать одной. Коротка летняя ночь, да в одиночестве покажется она длиннее осенней.

На деревне тихо, лишь из кузницы доносится веселый звон молотка: дзින්-дзින්, дзින්-дзින්.

Посматривая на дорогу и ожидая ночлежников, Гавриловна думает о сыне. Он на фронте, четвертый месяц от него нет писем. Жив ли? Старуха тоскует. Если бы она жила в семье — все легче было бы, а то одна... Как уговаривала: «Женись!» — вспоминает Гавриловна.

Сын ее, Прокоп, последнее время работал комбайнером, готовился ехать учиться на инженера. Ему было уже около тридцати лет, но он не спешил с женитьбой.

Покачиваясь под коромыслом, с Иртыша идет кума Фадеевна, соседка и ровесница. Поравнявшись с крыльцом, остановилась.

— Вяжешь, кума?

— Вяжу.

В ведерках была не вода, а рыба.

— Откель рыба? — спросила Гавриловна.

— Внук на покосе наловил. Привез на лодке, а сам обратно. — Фадеевна подошла к крыльцу. — Возьми рыбы-то.

— Спасибо.

— Бери, бери.

Гавриловна взяла трех крупных карасей и одну щуку.

— Хватит... куда мне ее... Чай, одна я.

Кума ушла домой, и Гавриловне стало еще грустней:

«Внук рыбы наловил. У меня тоже мог внук быть. Работал бы на покосе, приносил бы рыбы, ежевики, смородины».

Вдалеке на дороге показалась черная точка. Пешеход. А вдруг Прокоп? Может ведь так быть — лежал в госпитале, а потом отпустили домой на поправку... А может, ночлежника бог посылает. Пойти самоварчик поставить.

Когда, поставив самовар, вернулась на крыльцо, увидела, что пешеходов двое. Войдя в деревню, они повернули к кузне... Вышел кузнец, седой, в черном фартуке, и что-то стал говорить им, показывая молотком в сторону заезжего двора.

Ночлежниками оказались парнишки лет по двенадцати. Босые ноги их были серыми от пыли. Загорелые лица утомлены. Один из них — черный кудрявый мальчик с бойкими карими глазами, в коротких штанах, в коричневой рубашке, подпоясанной узким ремнем; другой — курносый, с большими серыми глазами, остриженный догола, в черной рубашке.

Гавриловна любила ночлежников общительных, словоохотливых, от которых можно услышать о городах, о жизни людей, о войне. Теперь она была немного разочарована. Что могут рассказать ребятишки? Но в то же время ей было жалко их.

— Сейчас самоварчик поспеет, — ласково сказала она, — чайку попьете. Ступайте пока на Иртыш, искупайтесь. Да поосторожней, места тут глубокие. Плавать-то умеете?

— Умеем! — солидно ответил чернявый.

Ребята купались недолго и вернулись посвежевшими, с отмытыми ногами. Самовар уже кипел на столе. Чернявый спросил:

— Бабушка, где у вас правление колхоза?

— А за угол, через два двора... Изба с зелеными окнами.

— Давайте кувшин... пойду молока попрошу и хлеба.

— Зачем? Я дам... и хлеба, и молока. Председатель, поди, на покосе.

Мальчик сказал, что бабушка не обязана всех кормить и что он еще кого-нибудь найдет, если нет председателя. Сероглазый подсел к самовару, вынул из кармана два больших сухаря.

— Спрячь, — сказал чернявый. — Сейчас хлеба принесу. Сухари нам еще пригодятся.

Мальчик ушел. Товарищ его остался у самовара. Он был худощавый, тонкошеий. Пухлые губы обветрились, и он то и дело облизывал их.

Гавриловна отрезала ломоть хлеба, налила в кружку молока, заварила чай.

— А ты пей, — сказала она. — Небось проголодался.

— Вместе тогда, — сказал мальчик. — Вот придет он.

«Не хочет без товарища», — одобрительно подумала Гавриловна. Мальчик, видать, был скромный, он нравился ей, хотелось поговорить с ним.

— Тебя как звать? — спросила она.

— Гриша.

— А другого?

— Петя.

— Издалека ж вы будете?

— Издалека.

Неопределенный ответ навел ее на мысль, что мальчику с дороги не до разговоров. И она молча возилась в избе. Поправила одеяла на кроватях, протерла окна, подлила воды в блюдечки с мушиной отравой, подмела пол. И все посматривала на Гришу, и ей приятно было, что в избе кроме нее есть еще человек.

Скоро вернулся Петя с хлебом и корчажкой молока.

Ребята с жадностью принялись есть. Гавриловна подсела к столу и наливала им чай, забеливая его молоком, заставила отложить хлеб, полученный в колхозе, и есть ее хлеб, который она уже нарезала для Гриши. «Колхозный останется им, в дорогу, — думала она. — Не везде председатели добрые, в ином колхозе, гляди, не дадут».

В избе было хорошо, по-домашнему уютно. На кроватях, застланных серыми байковыми одеялами, белели взбитые подушки, пол желтел, как натертый воском, на чистых выбеленных стенах — портреты вождей, домашние фотографии. Где-то за печкой трещал сверчок. Мальчики ели молча, всецело отдавшись отдыху. Они наклонялись над столом и шумно прихлебывали чай из блюдечек. Лбы и носы их покрылись мелкими каплями пота.

Гавриловне все хотелось узнать, откуда и куда они идут. И она опросила:

— Дальние будете?

Гриша шмыгнул носом и ответил:

— Из России.

Петя шумно хлебнул из блюдца и, прожевав хлеб, поправил:

— Не из России, а с Украины.

Гавриловна смотрела на ребят и сокрушенно вздыхала:

«Ох, детки мои... Это же далеко отсюда».

Насытившись, ребята повеселели, разговорились. Петя рассказал, что отсюда до города, где он жил, более трех тысяч километров. Степи здешние ему не нравились, потому что тут ни оврагов, ни леса, ни садов.

Гриша рассказал, как фашисты бомбили его город. Каждый день они прилетали в одиннадцать утра. Радио объявляло тревогу, выли сирены. Потом начинали грохотать зенитки, поднимался гул от взрывов бомб. Весь город содрогался. Лопались стекла и со звоном вылетали на тротуары. Возникали пожары. Дым стлался по улицам. Пахло гарью и пылью. И вот женщин, детей и стариков стали вывозить из города. Гриша с матерью и бабушкой попал в поезд. Сколько раз над их поездом вились самолеты с черными крестами! В дороге он сдружился с Петей — их вагоны оказались рядом. Однажды на стоянке они побежали к станции купить молока. И когда были на пристанционном базаре, прилетел фашист. Сперва стрелял по поезду из пулемета, потом забросал его бомбами. И скрылся. Стало тихо. Ребята вернулись к поезду, но своих вагонов и матерей не нашли...

Гриша рассказывал с подробностями. Видимо, он заново переживал этот страшный день своей маленькой жизни... Лицо его покраснелось, глаза блестели. Гавриловна крестилась, ругала самыми последними словами гитлеровцев. Ей было страшно и в то же время хотелось, чтобы Гриша продолжал свой рассказ.

— Что там было — жутко, бабушка! — сказал мальчик и умолк, зажмурился на мгновение глаза.

— Убили матерей ваших, проклятущие, — трясущимися губами произнесла Гавриловна и заплакала. — И бабушку твою убили?

Грише стало жалко старуху.

— Не плачь, бабушка! — уговаривал он. — Не плачь.

Он поднялся с табуретки и подошел к Гавриловне вплотную, виновато глядя на нее своими большими серыми глазами. Петя тоже стал успокаивать ее.

— Всех жалко, всех, — сказала Гавриловна, вытирая бледными большими ладонями лицо и глаза. — Всем жить хочется. Ведь она, жизнь-то, у нас как славно наладилась было. И откудова его, Гитлера этого, нанесло на нашу голову, каким бураном надуло!

Она вытерла глаза, убрала посуду со стола и вышла во двор. Солнце уже скрылось. Над лесом стояли два плавающих облака, одно большое, другое маленькое, и Гавриловне показались они похожими на огненных всадников.

Пришла корова. Гавриловна стала загонять ее под навес.

Между тем ребята вышли на крыльцо и о чем-то оживленно заспорили. Гавриловна не могла разобрать всех слов, но отчетливо слышала горячий взволнованный голос Гриши и уравновешенный твердый — Пети.

— Бабушка! — крикнул Гриша. — Сомы в Иртыше водятся?

— Нету, внучек, — ответила она.

— Ага! — воскликнул Петя. — Ты со мной не спорь. Откуда тут быть сомам? В Днепре — да... Это другое дело.

Подойв корову, Гавриловна вынесла ребятам по кружке парного молока и села рядом с ними.

— Тут у нас щуки, окуни, язи, налимы, — сказала она. — И стерлядь есть.

— На удочку ловятся? — спросил Гриша.

— Ловятся. Рыбы в Иртыше много. И ловят ее всяко: и сетями, и удочками, и неретами.

На лугу за рекой запели грустную песню девушки, которые оставались ночевать на сенокосе. Они пели, кажется, о том, как Ланцов из замка убежал. Песню эту певали и тогда, когда Гавриловна была молодая. Возле правления слышался людской гомон.

Кругом все родное, привычное, каким было и год, и пять лет назад, кругом — спокойствие, мир. А у Гавриловны не шел из головы рассказ Гриши. Где-то далеко, за тысячи верст отсюда, кипит война, рушатся города, льется человеческая кровь. Откуда взялась война? Чем мы помешали немцам? Почему они так жаждают нашей крови?

Гриша и Петя, зачарованные красотой летнего вечера, деревенской тишиной, притихли. Может быть, они вспоминали длинный, трудный путь, что пришлось им проделать от охваченной битвами и пожарами Украины до тихих степей Казахстана, или свою беззаботную жизнь до войны.

— Отцы-то ваши на фронте, поди? — спросила Гавриловна.

— Конечно! — подтвердил Петя с таким выражением, точно иначе и быть не могло.

— Живы, нет ли — не знаете?

— Неизвестно, — грустно сказал Гриша.

— Куда же вы теперь?

— В Иртышский район... Там у меня дядя директором совхоза, — пояснил Петя. — А Гриша со мной.

— Далеконько... верст никак полтораста. А у тебя, Гриша, родные есть где-нибудь?

— Кроме папы, теперь никого...

— Пташка ты моя, — жалостливо, нараспев сказала Гавриловна. — Ну, ты не горюй... Есть добрые люди на свете.

— Я ничего, — сказал Гриша.

И опять все трое замолчали. Гавриловна теперь думала о Прокопе. Хорошо бы посылку ему послать, да как пошлешь? Может быть, он куда переехал и у него теперь новый адрес. И будет блуждать посылка, пока не истреплется или не потеряется. То ей думалось, что он ранен и находится где-нибудь в госпитале. Надо бы написать ему письмо хоть по старому адресу. Но Гавриловна малограмотна, с трудом читает, а письмо ей не написать и за неделю. И попросить некого. Учительницы выехали в город на курсы, а деревенские грамотеи все в работе с утра до вечера... Был бы внук — он написал бы... Либо попросить парнишек? Только не сегодня... Устали они.

— Давайте-ка спать, — сказала она. — Где вам постелить, в избе или наружи?

Ребята не пожелали лечь в избе, и Гавриловна постелила им под навесом на телеге, у которой были сняты колеса. Мальчики легли и вскоре затихли.

И опять сидела старуха на крыльце, прислушиваясь к гомону на деревне, к ночным звукам и шорохам. Окна в избах замигали желтыми огнями. Люди ужинали. Чья-то девочка гонялась по улице за белой телушкой. «Т-тпрусень-домой!» — кричала она звонким голоском.

Над степью взошла огромная красная луна, и Гавриловне показалось, что самые яркие звезды потускнели, стали мельче и незаметнее.

За ветряком свистела перепелка. Свистнет раза три-четыре и замолчит. Тогда за Иртышом, как бы отвечая ей, начнет дергач... Тррра-тррра, тррра-тррра!

Подошла Фадеевна, села рядом.

— Писем от Прокопа нету?

— Нету.

— А мой прислал. Пишет, на переднюю линию пошел.

— Страшно, поди, на передней-то... Танки, пулеметы, еропланы.

— И не говори, кума! Да куда денешься? Воевать-то надо.

— Надо, надо, кумушка! Он, окаянный фашист, чего задумал — всю Россию стереть. И ты смотри, лютует как... ни большим, ни малым пощады нет... Вот у меня ребяташки ночуют... Поезд с ероплана немец разбил... Сиротами дети остались.

Женщины долго сидели, говорили о том, кто как живет, сочувствовали тем, у кого все мужчины ушли на фронт. Что ни говори, а без мужиков трудно. Радовались за тех, кто получил недавно хорошие известия от мужей, жалели — кому давно нет писем. Силились представить размеры бедствий, причиненных войной, и проклинали Гитлера беспощадными женскими проклятиями.

— А что, кума, — вдруг спросила Фадеевна, — если бы нам с тобой в руки попался Гитлер...

— Мы бы ему придумали казнь! — ответила Гавриловна, и глуховатый мягкий голос ее налился ненавистью. — Мы бы с ним расправились.

Луна поднялась. Она теперь была уже небольшой и ярко-серебряной. Воздух становился все прохладней. Гавриловна встрепенулась.

— Заболталась я с тобой. Застынут мои внуки. Одеялки легонькие.

Она взяла в избе тулуп и пошла под навес. Фадеевна последовала за ней.

— Погляжу, что у тебя тут за внуки.

Ребята спали спина к спине, свернувшись калачиками, тихо дыша.

— Худы, — прошептала Фадеевна. — Намучились.

Гавриловна накрыла их тулупом. Гриша проснулся было, привстал, удивленно посмотрел на женщин и опять лег.

Некоторое время женщины молча стояли возле телеги. Сердца их сжимались от жалости к детям, рано познавшим такую беду, от которой и взрослые в одиночестве седеют.

Потом Гавриловна перекрестила ребят.

Когда отошли от телеги, Фадеевна, словно бы продолжая давнишний разговор, угрюмо сказала:

— Да нет же... не одолеть ему наших.

Гавриловна проводила куму до улицы. Посреди остановились.

— Я что, кума, надумала-то, — сказала Гавриловна. — Один почти совсем безродный... Отец на фронте... Оставлю-ка его... и будет он вроде внука мне.

— Что ж, кума, хорошее дело... Если что — и колхоз тебе поможет.

— Чего мне помогать. Хлеб, корова есть. Мы с ним э-эвон как заживем. Мальчонка, кума, славный, скромный... а рассказывать начнет — заслушаешься.

...В избе до рассвета горела лампа. Гавриловна не могла спать. Она поставила хлеб, выпотрошила рыбу, начистила самовар до блеска. Потом открыла сундук и долго копалась в своих пожитках, прикидывая, из чего бы пошить Грише штаны, рубаху. И всю ночь, что-то шепча, бродила по избе, вздыхала. Изредка выходила во двор посмотреть, не раскрылись ли ребята. Поправит тулуп, постоит немного; и вернется в избу.

А когда рассвело, проводила корову в стадо и стала готовить ребятам завтрак.

Гриша и Петя поднялись часов в восемь. На столе стояли стопа горячих лепешек, сковорода с жареной рыбой, издававшей приятный запах. Самовар пыхтел, как паровоз.

— Кушайте, птахи мои, кушайте, — угощала Гавриловна. Хотелось сказать Грише о своем желании оставить его у себя, но не знала, как и с чего начать этот разговор.

И уже когда ребята засобирались в путь, она ласковым, просящим голосом сказала:

— Гриша... остался бы ты. Куда ты пойдешь?

Мальчик недоумевающе посмотрел на нее своими большими серыми глазами. Он не понимал, о чем она говорит.

— Как остаться?

— Насовсем... будешь мне внуком. Я одна, и ты один. У тебя отец на фронте, у меня сын... Вот вроде мы и родня. А вернется отец с войны — поедешь к нему... или он к нам придет.

В разговор вмешался Петя.

— Нет, бабушка, Грише нельзя оставаться у вас. Ему зимой учиться надо, а тут и школы, наверно, нет.

— Что ты, милый, как же можно без школы! Школа тут хорошая, большая... Из других деревень ребятшек привозят... Ну, как же, Гришенька?

Гриша покраснел:

— А Петя... одному идти?

— Дойду и один, — серьезно и сердито сказал Петя. — Оставайся, если хочешь... дело твое.

— Оставайтесь вдвоем... мне еще лучше, — сказала Гавриловна.

— Нет, я пойду к дяде, — решительно заявил Петя.

Гриша, видимо, колебался. Ему трудно было покинуть земляка — товарища и друга. Он чувствовал, что Петя не хочет, чтобы он оставался. И старуха ему понравилась, не хотелось ее обижать.

— Может, останешься все же, Гриша? — спросила Гавриловна.

— Пойду, — сказал мальчик.

— Как желаешь. Не неволю. А к тому, что один ты... Идите себе с богом. Вот вам на дорожку. Идти далеко, есть у вас нечего. Дай, думаю, лепешек испеку. — И Гавриловна дала Пете узелок.

Пришла Фадеевна и тоже узелок принесла с хлебом и жареной рыбой. Мальчики поблагодарили, попрощались. Гавриловна поцеловала их обоих:

— Счастливым путь, родные!

Женщины вышли на улицу и долго смотрели вслед уходившим мальчикам. Нескольким раз ребята оглядывались. Петя шел быстрее, Гриша немного отставал.

Утро было ясное, теплое. Из-за Иртыша в степь летели грачи. Над деревней парил коршун. Лениво, раза два взмахнет крыльями, распластается и плывет, кружит.

— Не остался, — грустно сказала Гавриловна. — Идти далеко... дойдет ли? Петя покрепче. Вишь, как шпарит, а Гриша все впритруску.

Фадеевна задумчиво молвила:

— Дойдет... Может, машина попадет, подвезет их. А что не остался — ничего не поделаешь... Ты не горюй, если хочешь, мальчик еще найдется...

— Больно он приглянулся мне. И жалко его. Петька бойкий, этот и без дядьки прожил бы. А Гриша смиренный такой... Трудно ему будет у чужих.

— Теперь у нас чужих нет, кума, везде свои... призрят... — Коршун, сложив крылья, камнем ринулся вниз и тотчас же, поднявшись над крышами, стал набирать высоту, тяжело взмахивая широкими черными крыльями. В когтях у него что-то чернело: не то цыпленок, не то курица.

— Ах, окаянный! — воскликнула Фадеевна, — Смотри, смотри... поволок. Фашист, пра слово, фашист.

— Прокоп мой сейчас бы подстрелил его, — сказала Гавриловна.

Мальчиков уже не видно было, они скрылись за поворотом.

Придя домой, Гавриловна села за стол и начала писать сыну письмо. «Милый и родной сынок!» — вывела она крупными буквами и задумалась. В открытое окно слышно было пение петухов, чириканье воробьев, кучей сидевших на плетне, доносился веселый звон из кузницы: дзинь-дзинь-дзинь, дзинь-дзинь-дзинь. Проехал по улице председатель верхом на буланом жеребце.

Гавриловна смотрела в окно, и ей стало так грустно, так одиноко. Что-то теплое перехватывало горло, на глаза навертывались слезы. Как написать письмо? Надо ли писать, что она тоскует по нем, ночами не спит, что ей очень одиноко? Нет, об этом, пожалуй, не надо... Расстроится, заскучает тоже, а там сильно скучать нельзя. Вот о том, что она хотела взять мальчика, — можно... Это он одобрит. Хорошо бы написать, что утром она видела коршуна и вспомнила, как когда-то Прокоп стрелял по коршунам влет. И приписать: бей, мол, фашистов так, как ты бил стервятников, мсти им за горе и слезы людские. Надо написать, что идет покос, что созревает уже пшеница, что все от мала до велика работают, что недавно она виделась с директором МТС и тот вспоминал Прокопа и обещался письмо ему написать, что корова нынче отелилась в мае и теленка Гавриловна отдала в колхоз.

Ох, как много надо написать! Письмо представлялось ей длинным-длинным. Разве она напишет? У ней и слов не хватит. И она положила бумагу и ручку за зеркало. Придется все-таки попросить кого-нибудь. Пойти к колхозному счетоводу?

Вышла на улицу и долго смотрела в ту сторону, куда ушли мальчики.

— Не вернулся, — прошептала она. — Сирота... пошли ему, господи, жизнь хорошую и людей добрых.

Перекрестилась и направилась в правление колхоза.

Валентин Ющенко

Ющенко Валентин Тимофеевич (1913–1986). Прозаик, публицист. Публикуется с середины 1930-х годов. Участник Великой Отечественной войны. Член Союза писателей СССР с 1958 года.

ДОБРОТНОЕ ВИНО

Другу Борису Малюченко

Как только наши части вступили в Бендеры, командование поручило политруку Зыкову принять винные погреба местного богача-винодела. Из всех напитков политрук любил только газированную воду. Может быть, поэтому он и спросил своих красноармейцев:

— А вы, товарищи Власов и Белкин, понимаете в этом искусстве что-нибудь?

— Как сказать... — замялся Белкин. — Если в гражданских условиях, то водочкой можно побаловаться, а вино — это для девичьего веселья.

Власов только усмехнулся.

Втроем они прошли мост, переброшенный через голубую гладь Днестра. Еще вчера румынские жандармы расстреливали здесь рабочих, сегодня наши танки прогрохотали тяжелым маршем через этот старинный мост. Днестр по-прежнему несет свои быстрые воды, играя на солнце серебристой волной... По берегу раскинулись приземистые домики, развороченные плетни спускались к самой реке и были похожи на разорванные рыбацьи сети, брошенные у берега.

Зыков всматривался в лица прохожих... Вспоминались прежние российские окраины, — лохмотья, обреченность... Стариной веяло от вывесок, от мусорных ящиков, от забытых, затерявшихся в памяти слов — «помещик», «жандарм», «боярин».

Винные погреба боярина Туктыны находились на окраине. Двор обнесен высоким дощатым забором. У самых ворот — небольшая лавка.

Ворота, к удивлению Зыкова, были открыты. Неподалеку стояли небольшие дрожки, около них валялись дуга, хомут, разбитые чемоданы. Видно, хозяин спешил унести свою голову побыстрее...

Еще издали Зыков услышал звуки скрипки. Он переглянулся с красноармейцами, и все трое остановились, прислушиваясь.

У самого порога каменного подвала, поджав под себя ноги, сидел старик. Его всклокоченные волосы падали на скрипку. Играя, он закрывал глаза.

— Почему такая тоска, папаша? — подошел к старику Зыков. — Почему такие грустные песни играешь?

— Спроси у скрипки, спроси у стариковского сердца... — по-русски ответил музыкант.

— Ты кто будешь?

— Боярский холоп Данила. Боярин сбежал, а мне приказал подвалы сторожить.

— Ты и сторожишь?

— А как же? Кому, как не мне, сторожить подвалы? — Зыков подал старику руку, помог ему подняться.

— Я жду вас уже около часа, — блеснул глазами старик, — слушок прошел, что вы конфисковали конфетную фабрику, были в банке... а про вино-то и забыли. А какое веселье на празднике без вина?

Данила открыл тяжелую дверь:

— Заходите... Смотрите...

Зыков оставил Власова во дворе, пошел с Белкиным вслед за стариком. Из подвала тянуло сыростью и хмелем. Старик положил на крайнюю бочку скрипку, взял в руки керосиновый фонарик и повел гостей в глубину подвала, между двух рядов высоких бочек. Низкие своды давили своей тяжестью.

— Это — молодое вино... это — прошлогоднее, — объяснял Данила.

Черная тень от его косматой головы прыгала по серым стенам.

— Вам как — по описи сдавать, или вы сами все опишете?

— По описи, по описи, папаша... Ишь, сколько за двадцать два года твой боярин накопил!..

— Много, очень много...

Они прошли вторую, третью галерею. Данила поставил фонарик на бочку, отыскал припрятанную свечку, зажег ее. Зыков сначала не понял: они словно вошли в винный магазин, — обстановка никак не напоминала о подвале... По правой стене — мягкие диваны, круглый столик, даже небольшая книжная полочка примостилась в углу. Левую сторону заполняли узкие углубления в стене. Белкин хотел подойти поближе, чтобы рассмотреть их, но политрук остановил Белкина.

— Здесь самые дорогие, многолетние вина, — торжественно сказал старик. — Сюда хозяин водил своих гостей... Но он не знал, каких гостей я буду сегодня принимать. Садитесь... Я сейчас...

Старик засеменил в дальний угол, вытащил оттуда черную бутылку:

— Вот... Это от меня, от Данилы! — Зыков улыбнулся:

— Нам не нужно... Все это теперь — достояние трудящихся.

Старик словно не расслышал последних слов:

— Эта бутылка принадлежала мне. А теперь она принадлежит вам. Я сказал, что эту бутылку выпьет тот, кто первым войдет принимать хозяйство в свои крепкие руки...

Зыков колебался: что задумал старик? У него как-то странно поблескивают узенькие глаза. Он настойчиво сует бутылку.

— Товарищ командир... — говорит старик. — Это не шперц, нет, не взятка... Выпейте... Хотите, я вам еще сыграю на скрипке?

Зыков переглянулся с Белкиным. Черные тени трепетали по стенам, прыгали на полу. Догорала свечка. Фонарь остался далеко.

— Ишь ты, свеча догорает... — заметил Данила. — У меня есть вторая. Посидим, дети, не обижайте старика... Ну-ка, держи, открывай.

Он совал Зыкову бутылку и бокалы. Тусклый огонек свечи падал на бутылку, серебристые отблески света играли у самого горлышка. Зыков хотел отстранить старика, но тот взял его за плечо.

— Опустит руки! — не выдержал Белкин. — Это тебя хозяин, наверное, научил? Назад...

Старик отступил, расправил плечи:

— Товарищ командир не верит мне?

Зыков взял со стола штопор, начал его завинчивать в пробку.

— Осторожно! В бутылке две пробки... Давайте сюда первую.

Пробка подалась легко. На конце ее была навернута бумажка.

— Осторожно! Не порвите!.. — суетился Данила. — Читайте, дети... Я уже забыл первые строчки...

Зыков развернул сильно пожелтевшую бумажку. На ней были русские слова, написанные неровными крупными буквами:

«Пройдет, может, несколько десятков лет, я умру и, не дай бог, не дождусь того дня, когда мою родную Бессарабию будут снова называть русской землей.»

Оторвали от сердца кусок с кровью. И если вы придете, сыны мои, то выпейте это вино за старика Данилу. Оно припрятано в этот тяжелый для моего края год.

Данила Андроник, год 1918».

Зыков еще раз перечитал эти строки.

— Двадцать два года тому назад... — сказал он, крепко пожимая руку старика. — И ты не боялся, папаша? Могли найти...

— Могли!.. Видали вы расклеенные по городу листовки? Их тоже могли найти жандармы — здесь, в пустых бочках...

Данила поддел штопором вторую пробку и ловко опрокинул бутылку над бокалом. Розовое вино искрилось в тонких излучинах граненого бокала...

Петр Прудковский

Прудковский Петр Николаевич (1900-1988). Поэт, прозаик. Публикуется со второй половины 1920-х годов. Участник Великой Отечественной войны. Член Союза писателей СССР с 1935 года.

МОСТ

С Павлом Кустовым я познакомился в первый же день приезда в Таволжанский район.

Случилось это так.

В жаркий июльский полдень почтовый поезд высадил меня на маленькой, затерявшейся в степи станции. Истомившись за шесть часов езды в душном и пыльном вагоне, я прежде всего заглянул в буфет, чтобы выпить стакан холодного морса, а в это время ушел грузовик, выезжавший из города за пассажирами. Пришлось идти пешком. Я обмотал носовым платком ручку своего чемодана, свернул поудобнее дождевик, закурил и не спеша отправился в путь.

Не прошло и десяти минут, как меня догнал на шоссе молодой человек лет двадцати пяти, в полинявшей гимнастерке с широко расстегнутым воротом. Был он высокого роста, шагал легко и размашисто, и уж, конечно, без труда мог бы обогнать любого пешехода. Но вместо этого он замедлил шаги и пошел рядом, украдкой разглядывая меня. Было видно, что парню очень хочется завязать разговор с приезжим человеком, и я решил прийти ему на помощь.

— Скажите, до города, кажется, три километра? — спросил я.

— Да, всего три, — с живостью ответил он, повернув ко мне свое румяное, загорелое лицо. — А если напрямик, полем, то и того меньше. А вы почему не на машине? Разве не было мест?

Я объяснил, что прозевал грузовик, отправляющийся со станции.

— Да вы бы подождали... Сегодня воскресенье, базарный день, машина еще раза два обернется!

— Ждать скучно. Да и не так уж далеко идти...

— Это верно. Ну давайте, я помогу вам нести чемодан... Вам тяжело, — сказал парень.

Узнав, что приехал я на работу в райцентр, он тотчас же пообещал подыскать мне жилье.

— Правда, это нелегко, городок наш основательно разбит, ну да сообразим что-нибудь.

Мы подошли к реке. Но тут дорогу нам преградила глубокая канава, прорытая поперек шоссе.

— Надо спуститься, — сказал мой спутник. — Здесь не пройдешь.

Оказалось, что дорога обрывалась на краю почти отвесной кручи. Река текла внизу, и над водой я увидел остатки обгорелых свай, служивших когда-то основанием моста. Они стояли в два ряда, и между ними был проложен узкий дощатый переход на другой берег. Немного дальше, вниз по течению, виднелась переправа: земляная гать и низенькие дощатые мостки, едва подымавшиеся над уровнем воды.

Пока мы спускались тропинкою по склону дамбы, переходили по мосткам, а затем карабкались на противоположный берег, — словоохотливый паренек рассказал мне историю таволжанского моста.

Летом сорок второго года немцы сбросили вблизи городка воздушный десант и захватили переправу. По мосту хлынули на восток вражеские войска... Но подошла ночь — и багровое зарево полыхнуло над рекой: мост, подорванный в центральном устое, рухнул с пятнадцатиметровой высоты.

Немцы всполошились. Охрана была усилена. Немецкие саперы проработали двое суток без отдыха, поднимая осевшие в воду прогоны, — но едва работа была закончена, как мост снова взлетел на воздух... Была сделана еще одна попытка восстановить кое-как переправу, — и опять нашлись смельчаки, разрушившие ее: ночью мост был облит горючим, и огонь уничтожил без остатка и бревенчатые устои, и верхнее мостовое строение.

— Постойте, — перебил я моего спутника, — это не про вас ли была недавно заметка в газете? Насчет моста... теперь я припоминаю...

— Точно, про нас! — с гордостью отвечал он. — Мы же обязательство дали — ко Дню Победы восстановить мост и отремонтировать шоссе. Два воскресника провели, по заготовке леса... весь город вышел! И окрестные колхозы тоже помогают... Вот, смотрите, — он указал на груды бревен у обочины дороги, — уже начали подвозить материал.

От свежерубленных стволов шел приятный смолистый запах. Двое рабочих, оседлав с двух сторон длинное бревно, счищали с него кору топорами. Завидев парня, один из них, маленький, бодрый старичок, с реденькой седой бородкой на кирпичном лице, поманил его рукой:

— А, Павлуша! Наше почтение! Закурить не найдется ли?

— Найдется, Василий Леонтьевич. Я сейчас...

Он поставил на землю мой чемодан и протянул старичку кисет с табаком. Тот долго и старательно крутил цыгарку и, кончив, передал кисет своему товарищу. А тем временем мой спутник деловито осматривал каждое бревно.

— С Еланьевского кордона? — осведомился он.

— Оттуда, — отвечал Василий Леонтьевич, чиркая спичкой.

— Для раскосов пройдут, а на распил — тонковаты... Вы как думаете?

— Натурально.

— А насчет дубков что слышно?

— Товарищ Степунин сам поехал, этот с пустыми руками не вернется. Будут дубки, верное дело!

— Степунин — это бухгалтер наш... в райземе, — пояснил мне парень и, заметив изумление на моем лице, добавил: — Он каждый выходной на кордоне... Напористый человек! Лесники перед ним по струнке ходят... Плохо только, что возить далеко. Да и тягла маловато; вот управимся с уборкой, тогда легче будет.

— А вы сами где работаете? На постройке моста? — спросил я.

— Да нет... я тоже в райземе — статистиком. У нас тут все — добровольцы, — улыбнулся он. — Ну, пошли. До свиданья, Василий Леонтьевич!

* * *

Павел сдержал свое слово и помог мне снять комнату в пригородной слободе, меньше пострадавшей во время оккупации. Новоселье мы справили вместе и после встречались часто. Павел оказался на редкость общительным человеком. Мне нравилась его кипучая энергия и горячность, с которой брался он за любое дело. Не удивительно, что он, как мне сообщили, был одним из первых инициаторов и энтузиастов восстановительных работ в районе.

Особенно волновала его почему-то судьба Таволжанского моста. Он с таким жаром говорил о всех перипетиях подготовительных работ, точно на нем одном лежала вся ответственность за ход строительства.

Обо всем, что касалось постройки моста, Павел мог рассказать не хуже любого техника или инженера. От него я впервые узнал, какая разница между простой подкосной и подкосноригельной системой мостовых сооружений, как надо наращивать сваи и почему продольный настил служит дольше поперечного...

Осенью начались строительные работы. В первый же воскресный день, рано утром, Павел зашел за мной, чтобы вместе идти на берег реки. Там уже собралась чуть ли не вся Таволжанка. Павел быстро пристроил меня к одной бригаде, занятой насыпкой дамбы, а сам направился к копру, установленному внизу, на песчаной отмели.

— А ну, а ну, давай!.. Взяли! — донесся оттуда его звонкий голос, и я увидел, как проворно взлетела вверх чугунная «баба», чтобы всей тяжестью своей обрушиться на окованную железными обручами сваю...

...В тот же вечер, сидя вдвоем за чаем, мы написали для районной газеты подробный отчет о воскреснике. А затем, подумав, решили послать корреспонденцию и в областную газету.

Павел все свободное время проводил на берегу реки. Он мастерски обтесывал и затачивал бревна маленьким саперным топориком; каждая вбитая свая вызывала в нем неподдельный восторг. Если требовалось помочь рабочим поднять бревно или передвинуть копер, Павел был тут как тут. Поплевывая на свои широкие ладони и крепко упираясь ногами в песок, он сразу, рывком, хватался за десятипудовую сваю и один ставил ее «на попа», вызывая одобрение окружающих.

Несколько раз мне пришлось быть свидетелем его горячих споров с прорабом, и, надо признаться, что замечания товарища Кустова всегда были дельны и толковы. Василий Леонтьевич, бригадир плотников, присутствовавший при этих стычках, отчески подбадривал парня:

— Верно, Павлуха! Крой... так надо. Со стороны оно виднее.

* * *

В тот год весна нагрянула рано и дружно: солнце начало пригревать еще в первой половине марта. Дни стояли ясные, безоблачные. По улицам катились, бурля, мутные потоки талой воды. Слежавшись во дворах за зиму, сугробы снега быстро чернели и оседали. Воздух был наполнен гомоном грачиных стай.

Павел ходил рассеянный и озабоченный. Ранняя весна не радовала его. Однажды после работы он предложил мне пойти к реке, на стройку. Мы пошли. Достаточно было беглого взгляда на недостроенный мост, чтобы понять причину беспокойства моего друга.

Из трех устоев были закончены только два, причем средний, стоявший на самом глубоком месте русла, еще не был связан перекрытиями с берегом. Концы продольных балок, поддерживаемые подкосами первого устоя, тянулись к нему, как чьи-то руки, но просвет был еще очень велик: бревна надо было наращивать по крайней мере на половину их длины.

Несмотря на поздний час, на берегу возилось десятка два рабочих. Они оттащивали подальше от воды козлы пильщиков, доски, бревна и прочие строительные материалы. Лед местами уже ушел под воду, и ветер рябил темную поверхность разводий.

— Как это некстати, — бормотал Павел, сокрушенно качая головой. — Еще бы неделю... закончить настил...

— Вы думаете, что ледоход может повредить средний устой? — спросил я.

— Конечно! Вы же видите — он держится прямо-таки на честном слове. Стоит напереть льду — и все рухнет...

— А ледорезы на что? Они задержат лед.

Павел досадливо махнул рукой.

— Кабы так! Я боюсь, не пойдет ли вода верхом... Разлив в этом году будет большой, это по всему видать. Я говорил прорабу, что быки надо ставить на полметра выше, он не послушался, ссылался на показания старожилков... Надо было настоять... Подумать только, что все дело в каких-нибудь десяти бревнах!

Опасения Павла оказались более чем основательными... Уровень воды в реке подымался с каждым днем. Ниже моста река вышла из берегов и затопила всю пойму, до самого железнодорожного полотна. Работы на мосту прекратились. Вода все прибывала.

14 марта, незадолго до конца занятий, по всем комнатам Таволжанского райсовета раздался голоса:

— Лед идет!

Трудно было усидеть на месте. Ведь не одного Кустова беспокоила судьба моста. Когда я, еле переводя дух, прибежал на набережную, — там было уже темно от народа. Протолкавшись ближе, я тотчас же заметил Павла — он стоял у самого края обрыва и, не отрываясь, смотрел вдаль, туда, где за крутой излучиной реки чернели избы соседнего села Казанки.

За ночь вода поднялась не менее чем на полметра, и верхушки обоих ледорезов едва выступали над поверхностью реки. Быстрое течение образовывало бурлящие водовороты вокруг них: маленькие, хрупкие льдинки поминутно проносились мимо, весело кружась, и одна за другой исчезали между пролетами моста.

Я хотел было окликнуть Павла, но потом сообразил, что ему сейчас не до разговоров. Никогда еще не видел я такого осунувшегося и встревоженного лица. Возможно, парень не спал всю ночь.

— Лед, лед! — пронеслось вдруг в толпе. Льдины показались со стороны Казанки: это были всего-навсего белые пятнышки, быстродвигающиеся по течению, и в них, казалось, не было ничего страшного. Но когда, огибая излучину, крайние льдины стали цепляться за берег и ползти, громоздясь друг на друга, все поняли, что это идет тяжелый лед и что решающий момент наступил.

На минуту мелькнула надежда, что изгиб реки задержит массу льда или хотя бы ослабит ее удар. Но течение было слишком сильно, и лишь незначительная часть льдин застряла на берегу, у песчаной отмели.

* * *

Первая льдина, которую принесло к мосту, наткнулась на окованный железом брус ледореза, поползла вверх по его ребру и вдруг, с хрустом, разломилась пополам от собственной тяжести... Обе половинки ее нырнули в воду, но тотчас же всплыли опять на поверхность и, кружась, понеслись в проток между устоями. Вторая льдина, вдвое больше первой, лишь коснулась бокового ската ледореза и, увлекаемая течением, ударилась со всего размаха в центральный устой. Раздался треск. Концы белых бревен дрогнули и пошатнулись...

Этого Павел выдержать не мог.

Быстро сбежал он к реке. Здесь, возле вытянутых на берег лодок, суеилось человек десять с баграми, и я услышал резкий голос Василия Леонтьевича, дававшего какие-то распоряжения. Почти тотчас же трое дюжих ребят перебрались по дощатому настилу на боковой устоя и стали отталкивать баграми напившие льдины.

Но что было делать с центральным устоем? Он оставался незащищенным. Его гладко отесанные бревна отвесно поднимались из воды, и у подножья их с трудом мог поместиться разве только один человек... На минуту среди собравшихся произошло замешательство — предприятие казалось слишком рискованным. И вот тут-то я увидел, как Павел схватил длинный шест, проворно столкнул одну из долбленок, прыгнул в нее и с силой оттолкнулся от берега.

Течением подхватило лодку и понесло прямо к устоям моста. Павел стоял, широко расставив ноги, измеряя глазами расстояние. Вот и ледорез... Быстро нагнувшись вперед, он уцепился за него багром, и челнок, обойдя ледорез кругом, ударился кормой о бревна центрального устоя. Этого только и надо было смелому парню.

Держа конец багра в одной руке, другой он обхватил крайнее бревно и выпрыгнул из челнока на едва заметный выступ боковых креплений.

Несколько больших льдин быстро приближалось к мосту. Еще минута — и они начали бы таранить устой... Но теперь это не была уже безжизненная связка бревен, покорно сносившая удары льдов; подле нее стоял человек: он как бы врос между бревнами, слился с ними, держа наготове тяжелый и длинный багор.

Как только льдины приближались к устью, Павел отталкивал их, и они проносились мимо. Рискуя потерять равновесие и полететь в воду, он нагнулся, ободряющие возгласы людей, столпившихся на берегу, и, поворачивая по временам в нашу сторону свое раскрасневшееся, разгоряченное лицо, широко улыбался, как бы говоря: «Ничего! Справимся!»

— Сменить бы парня... Изморится! — услышал я чей-то голос...

— Легко сказать — сменить... а добратся-то как? По воздуху, что ли?

И действительно, сплошная лавина льда, пронесившаяся мимо, затерла и перекинула бы любую лодку. Оставалось только одно — ждать конца ледохода.

Как ни мал был выступ ледореза, защищавшего средний устой, он все же сослужил свою службу, отклоняя течение, и льды били по устью не в лоб, а сбоку. Это облегчало работу человека. Не зная устали, Павел прогонял льдины в проход между центральным и боковым устоями. Пот градом катился со лба, он скинул ватный пиджак, хотел было приткнуть его куда-нибудь между бревнами, но не успел. Лыдина ударила у самых его ног, обдав устой холодными брызгами, ватник упал в воду, а Павел снова схватился за багор.

Сколько часов продолжался этот неравный бой? Трудно сказать. Люди на берегу забыли о времени, никто не уходил; треск и гул ломающихся льдин стоял в воздухе.

Но вот плотная пелена облаков, все время застилавшая небо, разорвалась; глубокие просветы обозначились на западе; багровый диск солнца повис над горизонтом. Холодным красным отблеском зарделась река. Вода стала мало-помалу очищаться ото льда. Одинокие разрозненные льдины торопливо и как бы с опаской спешили проскользнуть между устоями моста.

От берега отвалил баркас. Среди гребцов я заметил Василия Леонтьевича (я узнал его по заодно вздернутой седенькой бородке). Он торопливо правил к центральному устью и еще издали стал кричать что-то Павлу, радостно размахивая руками...

* * *

В бараке, у ярко пылавшей печурки, я помог Павлу снять промокшую одежду; Василий Леонтьевич принес тулуп и укутал им парня. Рабочие, толпившиеся вокруг, наперебой предлагали — кто водки, кто горячего чаю.

— Молодец, Павлуха! — в восхищении говорил бригадир. — Кабы не ты — плавал бы теперь наш мосток! И откуда у тебя силы взялись?

— А как же иначе? — смущенно улыбнулся Павел. — Ведь это же я подрывал его тогда, в сорок втором... своими руками...

Он замолчал, челюсти его свело зевотой. Натянув на голову тулуп, он прилег на нары и закрыл глаза.

1949

Виктор Петров

Петров Виктор Иванович (1902–1976). Прозаик, драматург. Участник гражданской войны. Печатается с начала 1930-х годов. Ответственный секретарь Воронежского отделения Союза советских писателей (1939–1941).

В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

«Дорогой Петр, я уезжаю с Алексеем. Я не виновата, что так получилось, но ты был и останешься моим лучшим другом». Маша несколько раз перечитала эти строки, вздохнула и встала из-за стола.

— Конечно, — прошептала она, открывая окно, — Петр мой лучший друг... Мне его очень жалко...

Маша не преуменьшала своих чувств к Петру. Она выросла с ним в одном селе, на одной улице, помнила его с восьми лет: вихрастый был, сероглазый и такой задира...

Петр и Маша вместе начали ходить в школу, ссорились, дрались и все-таки дружили. Помнится, однажды поспорили, кто из них скорее вырастет, а потом каждую весну отмечали рост у дверного косяка. Петр в год подрастал на Машину ладонь, а она — только на два Петяшкиных пальца. В десятом классе Петр был тонкий, длинношей, в шапке рыжих кудрей, и Маша прозвала его «подсолнухом». Петр в отместку звал свою подругу «глазастой», потому что глаза у нее были большие и темные-темные.

Окончив среднюю школу, друзья вместе поступили в медицинский институт. И вот здесь-то словно кто расправил плечи Петру. Через два года он стал широким, статным, а остроклюе лицо его посуровело. От прежнего Петра если что и осталось, так это его рыжие кудри да серые глаза, в которых иногда вспыхивали искорки озорства и задора.

Маша тоже изменилась, стала спокойнее, рассудительнее.

Петр и Маша почти всегда были неразлучны. В обширном институтском лектории они сидели рядом, зачеты готовили вдвоем, на практику ездили вместе и вместе мечтали о будущем.

Прошлым летом это будущее определилось само собой.

На каникулы они приехали в родную Донщинку. Просторное село на высоком донском берегу утопало в садах, палисадниках и густых тополевых левадах.

Летние дни были знойными, вечера — тихими, ласковыми. А за лесом полыхали такие закаты, что облака, дремавшие над рекой, казались глыбами раскаленного металла.

В один из таких вечеров друзья стояли над крутояром Дона. Отгорала заря, в небе появлялись первые звезды...

— Вот так и жизнь, — сказал Петр. — И, подумав, продолжал: — День прошел — началась ночь. Ночь пройдет — день наступит. Конец дает начало новому... — Он рассмеялся. — Мудро получается!

Маша обрывала кленовую веточку, сломанную еще в палисаднике, и, бросая листья в воду, наблюдала, как они медленно уплывали по реке. Ей хотелось сказать Петру какое-то большое слово, но найти его она не могла.

— А что, Маша, — присаживаясь на валун, весело сказал Петр, — будущей весной учебу-то закончим и разъедемся. Скучно нам будет.

— Да, скучно... — согласилась Маша и задумчиво поглядела на Петра.

Он сидел на камне и, улыбаясь, смотрел за реку, на лес... Она подошла к нему, стала рядом, положила руку на его плечо и едва слышно произнесла:

— А если нам не разъезжаться, Петр?..

— То есть? — И он повернулся к ней. Смущенно потерев концы косынки, она сказала:

— Вместе бы нам и уехать. Вместе. Навсегда. На всю жизнь...

— Постой, постой! — Петр быстро поднялся. Угловатый и хмурый, стоял он против Маши. — Как же так?.. Ведь для того, чтобы вместе, навсегда, для этого нужно любить. А я и неуклюжий, и рыжий... — Он встряхнул головой, рассмеялся. — Нет, это тебе случайно взбрело, ты никогда об этом не думала.

— А ты? — И у Маши задрожал голос. — Ты тоже не думал? — Петр взял тонкую руку подруги и, как бы согревая ее в своих больших ладонях, тихо заговорил:

— Нет, Машутка, я думал. Я много думал. Но мне всегда казалось, что так быть не может. Я несколько раз собирался сказать, что ты — родной и самый близкий мне человек... Давно я... — Петр низко опустил голову. — Давно я люблю тебя, Маша, очень давно...

* * *

Через час они шли в село, и им еще никогда не было так радостно. За этот час они поговорили о многом и решили будущим летом, окончив институт, приехать в Донцинку и здесь, в родном селе, работать и быть всю жизнь вместе. Всю жизнь. Как это хорошо!..

И вот оно, это лето. Институт окончен, а у Маши на столе письмо к Петру.

Да, завтра она уезжает с Алексеем... Как это произошло, Маша не может объяснить.

К государственным экзаменам она готовилась уже одна. И в бесконечно длинном коридоре института ее ждал не Петр, а Алексей, студент-однокурсник.

Всегда задумчивое, чуть-чуть грустное лицо Алексея, высокий бледный лоб и густые светло-каштановые волосы невольно привлекали внимание. Девушки тайком друг от друга вздыхали, глядя на Алексея Бажанова. Про него говорили, что он скромный, необыкновенно талантливый человек. Бажанов своим поведением подтверждал эти качества: был спокоен, рассудителен, прекрасно учился...

Накануне зимней сессии профком и директор института командировали Машу и Алексея в подшефную колхозную больницу, где сразу выбыло из строя два врача.

На вокзале, прощаясь с Петром, Маша обещала писать ему чуть ли не каждый день. Но так и не выбрала времени. Алексей как-то незаметно занял в сердце Маши то место, которое принадлежало Петру.

В самом начале Маша растерялась и не знала, что делать. Она боялась Бажанова, но в то же время чувствовала, что какая-то неодолимая сила влечет ее к нему. Пыталась сопротивляться, упрекала себя в легкомыслии, старалась думать о Петре, а думала только об Алексее. Он с каждым днем становился все внимательнее к ней, все ласковее и проще, чем был в институте. Там он все время держался на отшибе, говорил спокойно и сухо. Здесь же был словоохотлив, часто шутил, много смеялся.

Однажды вечером он долго и интересно говорил о любви как о великом инстинкте. Смеялся над чудачеством некоторых философов, считающих, что любовь не чувство, а общественная категория. Говорил он страстно, красиво. Маша смотрела на Алексея и восхищалась про себя: «Какой же умница!»

И вдруг он встал и вышел из комнаты.

«Смешной, даже учебник забыл». — Она решила сейчас же отнести ему книгу.

Но не успела накинуть на плечи платок, как Алексей вернулся. Минуту стоял в дверях, глядя на Машу каким-то растерянным взглядом, а потом шагнул и заговорил глухим, изменившимся голосом:

— Маруся. Я не могу больше. Не могу. Я люблю тебя.

У Маши потемнело в глазах. Она совсем не знала, что сказать Алексею, а он уже обнимал ее и полупшепотом, торопливо, сбивчиво говорил: — Я знаю. Ты тоже любишь. Ведь любишь? Зачем же мы скрываем друг от друга такое огромное чувство? Зачем?

— Не знаю, не знаю... — шептала Маша.

* * *

Оставшиеся до отъезда дни прошли словно во сне. Да, Маша любила Алексея, и ей еще никогда не было так легко и весело. Всегда нежный и предупредительный, он лишь раз, да и то должно быть случайно, обидел Машу.

Накануне отъезда, укладывая чемодан, он обнаружил исчезновение записок. Алексей долго и настойчиво искал их в своей и Машиной комнатах, искал и почему-то злился.

Маше было жаль Алексея. Она подошла к нему, обняла и ласково сказала:

— Алеша, зачем же волноваться из-за каких-то пустяков? Хочешь, я куплю тебе записки, самые лучшие куплю? Хочешь?

— Глупости говоришь, — сухо сказал он. — Не надо мне лучших...

Резким движением он стряхнул ее руки со своих плеч, повернулся и вышел, хлопнув дверью.

Маша до вечера сидела одна. Ей было грустно.

— Ну, пропали записки, — думала она. — Неужели это так важно для жизни?

Но записки нашлись. Алексей стал по-прежнему ласковым, и неприятность была забыта.

— Окончим институт, — весело говорил он, — поедem с тобой, Маруся, куда-нибудь на окраину нашей необъятной страны. Я с удовольствием бы поврачевал, например, в Таджикской республике. Хорошо бы и в Киргизию поехать. Как ты думаешь?

Маша была согласна ехать с Алексеем хоть на край света. Ослепленная счастьем, она ни о чем не хотела думать, а если и думала, так только о том, как они будут жить где-нибудь в селе, работать в одной больнице. А где — в Таджикистане или в Киргизии — не все ли равно...

* * *

Когда Маша вернулась из командировки, Петр, радостный и взволнованный, встретил ее на вокзале.

Слегка покраснев, Маша холодно протянула ему руку.

— Что с тобой, Машутка? — удивился Петр. Она посмотрела куда-то мимо него и торопливо проговорила:

— Ты не обижайся, Петя. Только я не могу и не хочу скрывать. Пожалуйста, не думай обо мне плохо. У меня есть другой парень. Понимаешь, другой...

Сказав это, она быстро пошла к выходу и затерялась в толпе.

Петр остолбенел. Он глядел в ту сторону, где скрылась Маша, и не мог поверить, чтобы Машутка, его родная Машутка, могла сказать ему такое... Да не пришло ли все это Петру? Нет, он проснулся в шесть утра, в семь был на вокзале, долго ждал поезда, замерз. Вот поезд, вон вагон, из которого она вышла. Нет, Маша была здесь. Он еще ощущает в своей ладони теплоту ее руки. Нет, это не сон...

Ссутулившись, он побрел в город. День был морозный и солнечный. Выпавший за ночь снег сухо похрустывал под ногами. Петр шел медленно, зябко поеживаясь, и ничего не замечал. В душе у него было пусто. Будто в дреме он прошел несколько улиц и оказался на той, где квартировала Маша. Здесь он опомнился и быстро зашагал прочь, почему-то оглядываясь.

Не раздеваясь, Петр до самого вечера просидел в институтском вестибюле. «Кто же этот другой парень? Бажанов?» И хотя Петр был уверен, что Бажанов, все же думал: «Он это или не он?» Когда стемнело и швейцар включил огромную хрустальную люстру, Петр поднялся и, резко хлопнув дверью, вышел.

Через полчаса он был на Машинной квартире. Встретила его хозяйка дома.

— Вы к Маше? А она только что ушла.

— Ушла? — глухо переспросил Петр.

— Да вы проходите, проходите, — хозяйка распахнула дверь. — Присаживайтесь и ждите, она скоро придет.

— Да, я подожду...

Время шло медленно. Петр истомился, устал. В его жизни не было такого тягостного дня. Когда стрелки будильника, стоявшего на столе, соединились на двенадцати, он понял, что ждать нечего и что если Маша придет, то говорить с ней будет не о чем.

И Петр ушел.

Он провел беспокойную ночь и встал со светлой надеждой встретить Машу в институте. Но на лекции Маша сидела рядом с Алексеем и ни разу не глянула в сторону Петра.

Да и зачем Маше глядеть куда-то и на кого-то, если рядом с ней сидит Алексей, в котором сосредоточилось все: и прекрасное сегодня, и замечательное завтра. Маша забыла обо всем и обо всех, надолго, навсегда...

* * *

Прошло два месяца. Петр похудел, глаза его запали и потемнели. А Маша цвела. Ходила гордо вскинув голову, и на ее лице постоянно сияла радостная улыбка. За два месяца она ни разу не вспомнила о Петре. И лишь сегодня, в последний день перед отъездом на работу в Киргизию, Петр встал перед ней, как воспоминание детства, которое ушло безвозвратно. Ей стало грустно, и она решила написать ему. Но писать-то оказалось нечего. Открыв окно в садик, Маша глядела на яблоню, осыпанную завязью, и ей хотелось плакать.

По саду плыли шорохи, казалось, кто-то большой и неуклюжий пробирается между деревьями. И хотя Маша знала, что это ветер, но ей очень хотелось, чтобы вон там, около яблони, вдруг появился Петр. Но через минуту Маша уже мечтала о том, как она поедет с Алексеем по обширным равнинам Киргизии. Вон где-то далеко-далеко синеют горы, а у их подножия — больница, в которой они вместе будут работать.

Веселая и довольная всем, она собралась, пошла в институт получить диплом и путевку.

* * *

В дверях канцелярии Маша повстречалась с Петром.

— Маша!.. — радостно воскликнул он и, словно между ними ничего не произошло, взял ее за руку. — Здравствуй, Маша. Как давно мы с тобой не видались!

Она попыталась высвободить руку, но Петр сжимал ее все крепче, пристально глядя в ее лицо. От этого взгляда Маше стало неловко.

— Что ты на меня так смотришь?

— Ты за документами? — спросил он в свою очередь и, опустив глаза, почти шепотом сказал: — Ты подожди немного, — кивнул на дверь канцелярии. — Давай отойдем на секунду.

— Куда отойдем, зачем? — недоумевала Маша.

В эту минуту дверь канцелярии распахнулась и в коридор выбежал Бажанов. Маша сделала движение в его сторону, но он круто отвернулся и устремился вниз по лестнице. Маша испуганно посмотрела ему вслед, а затем на Петра.

— Что с Алексеем?

— Не знаю, — смущенно и неуверенно сказал Петр. Он достал папиросу, торпливо зачиркал спичкой о коробку.

Но Маша видела, что Петр знает.

— Ты не хочешь сказать мне? — У Маши задрожал голос. — Скажи. Я прошу. Мне нужно знать. Что случилось?

— Да. — Петр вздохнул. — Нужно знать. Но я боюсь, что ты мне не поверишь.

— Почему? — воскликнула Маша.

— Хотя бы потому, что я могу сказать о Бажанове только плохое. А ты любишь его. — Он сбил пепел с папиросы и усмехнулся. — Ты, кажется, с ним собиралась ехать!

— Да, с ним, только с ним, — повторяла она и смотрела, смотрела на Петра.

— Так вот, — словно поворачивая что-то тяжелое, заговорил Петр. — Не выходит так, Маша. Бажанов никуда не собирается ехать. Он остается здесь, в городе.

— В городе? Зачем?

— Не знаю, — развел руками Петр. — Я передаю тебе то, что мне стало известно. Бажанов заявил, что он никуда не уедет. А когда директор сказал, что он обязан поехать на работу в село хотя бы потому, что Советское государство пять лет тратило деньги, давая ему образование, Алексей заявил: «Я советский гражданин, и государство обязано тратить на меня деньги».

— Нет, нет... Как же так? Как же так?.. — бормотала Маша. — И вдруг схватила Петра за лацкан пиджака. — Это неправда, Петр. Ты выдумал это. — У нее дрожали руки, губы...

— Тогда зайди в канцелярию, — сказал он резко и зашагал по коридору.

Маша догнала его, схватила за рукав.

— Петр, прости меня. — Она водила дрожащими пальцами по бледным щекам и умоляюще глядела на него. — Прости. Я плохо думала о тебе. И я прошу тебя...

— Чего же тут просить, Маша? Тут уж ничего не выпросишь, — тоскливо сказал он, опуская голову.

— Проводи меня к Алексею, — сквозь слезы произнесла она.

* * *

Алексей жил на частной квартире, далеко от городского центра, около элеватора. У кирпичного флигелька с резным козырьком над парадным входом Петр остановился и тихо сказал:

— Ну, иди...

— А ты? — спросила Маша.

— Зачем же мне?.. — пожал плечами Петр и начал закуривать.

— Хорошо, — как-то неопределенно произнесла Маша. — Хорошо... Только ты подожди меня... Я скоро... — И она толкнула дверь.

Петр отошел к соседнему домику и сел на скамейку около покосившегося за-

борчика. Следил, как яркие лучи солнца скользили по крутой бетонной стене элеватора, дробились в небольших слуховых окнах на крыше, и думал о Маше. «Алексей обманул ее, — в этом Петр был уверен. — Но вот как поступит Маша, что она ему скажет?.. Тут надо очень решительно. — Он сжал кулак и сразу же разжал его. — Порвать и уйти с легким сердцем. Хватит ли у Маши сил? — Петр крикнул, снова сжал кулак и с досадой подумал: — Расплатится, пожалуй...»

А Маша была уже в доме и стучала в двухстворчатую дверь комнаты Алексея. — Войдите! — услышала она женский голос...

На диване, подбрав под себя ноги, сидела хорошенькая голубоглазая женщина в ярком пестром халате. Светлые волосы ее буйно вились и крупными локонами падали на плечи. На коленях у нее лежала раскрытая книга.

— Здравствуйте, — неестественно громко сказала Маша.

— Здравствуйте, — удивленно вскинула тонкие брови женщина. — Вы к мужу?

У Маши похолодело и тяжело заколотилось сердце. Но она улыбнулась и весело спросила:

— Так Алексей — ваш муж?

— Да, — ответила женщина и, захлопнув книгу, встала.

— Очень приятно. — Маша быстро окинула взглядом комнату. Здесь все было не так, как две недели тому назад. Откуда-то появились трюмо в раме из красного дерева, вышитая розовая ширма, кресла в белых чехлах и, словно пена, тюлевые шторы на окнах. «Так вот почему Алексей просил не приходить больше к нему на квартиру», — подумала Маша, а вслух опять произнесла: — Очень приятно. — Она даже улыбнулась, хотя у нее и темнело в глазах. — Давно вы поженились?

— Нет, где же давно! — засмеялась женщина. — Всего третий день. — И, приводя в порядок свои чудесные волосы, тихо засмеялась. — Мы собирались осенью зарегистрироваться. Но, знаете, как бывает. Его вдруг решили отправить в Киргизию. Тогда мой папа... Вы его знаете? Илья Ильич, профессор, хирург. Знаете? Ну, вот. Папа говорит: «Женитесь, больше оснований будет мотивировать ходатайство, чтобы остаться в городе». Тем более, что папа от Алексея в восторге и будет хлопотать, чтобы его оставили у него на кафедре.

— Так, так... — тихо проговорила Маша и, открыв сумочку, начала копаться в ней. — Так, так...

— А вы к нему по какому делу? — спросила женщина и пригласила Машу сесть.

— Нет, нет... Сидеть я не буду. Меня ждут там, на улице, — говорила Маша, а сама мучительно думала: «Что ей сказать?» И вдруг само собой у нее вырвалось:

— Я мимоходом зашла. Видите ли, я тоже еду в Киргизию и хотела выяснить, когда он уезжает, но теперь...

— Да, теперь он не поедет. Нет никакого смысла.

— Я вижу. — Маша повернулась и стремительно толкнула дверь.

Петр докуривал вторую папиросу, когда Маша появилась на улице.

— Ну, что? — тихо и ласково спросил он, беря ее под руку.

— Пойдем скорее отсюда...

На повороте в переулок она расплакалась.

— Как мне обидно, Петя, как стыдно и больно...

— Ничего, до свадьбы все заживет, — сказал Петр, и это вышло у него хорошо и просто, так, как в далеком детстве или прошлым летом в Донцинке. Сквозь слезы Маша увидела родное село, сады, левяды, крутояр над синим Доном, лиловеющий в вечерней дымке лес... Но как все это недоступно далеко отодвинулось от нее. «Все, все, — думала она, — даже Петр».

— Что ж, поеду в Киргизию одна, — тихо, словно во сне, проговорила Маша.

Петр долго молчал, а потом, швырнув окурки в придорожный кювет, сказал:

— Да, поезжай, Машутка.



Осип Мандельштам

РАВНИНЫ ДЫШАЩЕЕ ЧУДО

Уроженец Варшавы, Осип Эмильевич Мандельштам (1892–1938) получил серьезное гуманитарное образование: Тенишевское училище, Сорбонна, Гейдельбергский университет, историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета. В поэтической среде был примечен после первых же публикаций, о его стихах высоко отзывались Вячеслав Иванов, Николай Гумилев, Анна Ахматова, Марина Цветаева. Вышедшие при жизни сборники — «Камень», «Вторая книга», «Стихотворения». Замечательны и прозаические произведения Мандельштама — автобиографический «Шум времени», повесть «Египетская марка», а также статьи «О природе слова», «Петр Чаадаев», «Разговор о Данте» — своеобразное эссе, далекое от строгой академической филологии.

Воронеж — драматическая веха жизни поэта. Почти три года ссыльного проживания. Вспомнится и «яма», и «ворон», и «нож»... Но, с другой стороны, именно в Воронеже в журнале «Сирена» Мандельштам еще в 1919 году печатает «Утро акмеизма». Именно «Воронежские тетради» — одна из вершин творчества поэта. Именно в Воронеже, думая о преходящем и вечном, предметно-географическом и географически-всечеловеческом, он как бы прокладывает духовный путь «от молодых еще воронежских холмов к всечеловеческим, яснеющим в Тоскане». А Анна Ахматова, не надолго приезжавшая к поэту в наш город, позже скажет: «Поразительно, что простор, широта, глубокое дыхание появились в стихах Мандельштама именно в Воронеже, когда он был совсем не свободен».

Воронеж, Россошь, Анна, Воробьевка, Гремячье — как родственно и напевно звучат эти названия в строке поэта, тяготеющего к классической ясности, соиздавшего неповторимое здание классического русского стиха.

Анна, Россошь и Гремячье, —
Я твержу их имена,
Белизна снегов гагачья
Из вагонного окна.

Современный читатель нашего края благодарно воспринимает не только строки о Доне, о Кольцове, о воронежском просторе, но и непосредственно о воронежской земле-почве, о черноземе, который неоднократно упоминается в «Тетрадах» как живая сила, как чудо и дар природы человеку. Да и открываются «Тетради» стихами с названием «Чернозем»: «Ну, здравствуй, чернозем: / будь мужествен, глазаст... / Черноречивое молчание в работе».

В «Воронежских тетрадах» гораздо зримее, нежели прежде, проявятся начала патриотические, исторические (вплоть до «Слова о полку Игореве»).



Осип Мандельштам
участвует в заседании
худсовета Воронежско-
го Большого театра
(фрагмент)

Социальные токи, чувство приобщенности к исполненной трагедийности народной судьбе, тяжелой, державной поступи страны, переломно выстраивающей мир социальной справедливости, явно проступают в них.

На Красной площади земля всего круглей,
И скат ее нечаянно раздольный,
Откидываясь вниз — до рисовых полей,
Покуда на земле последний жив невольник.

И пусть это состояние временное (поэтическое, а не житейское), поэт ощущает себя причастным к новому в советской стране, и люди в их созидательном порыве для него — явь и тайна.

Я не хочу среди юношей тепличных
Разменивать последний грош души,
Но, как в колхоз идет единоличник,
Я в мир вхожу, — и люди хороши.

Или:

Много скрыто дел предстоящих
В наших летчиках и жнецах,
И в товарищах реках и чащах,
И в товарищах городах...

Разумеется, есть контекст стиха и есть контекст реальной жизни. И поэта в губернский город сослали вовсе не за тяготение к эллинистической культуре. Были особые «читатели» стихов о «горце-мужикоборце» и по смыслу им близким, и неспроста у поэта в «Воронежских стихах» вырвется дерзкое и предвидящее исход собственной судьбы: «Где вы, трое славных ребят из железных ворот ГПУ?»

На открытии мемориальной доски в Воронеже в 1994 году автор этих строк посчитал необходимым сказать об отношении Осипа Эмильевича Мандельштама к языку, на котором он писал. В его статье «О природе слова» находим благодарно-высокие и точные строки о русском языке: «...Чаадаев, утверждая свое мнение, что у России нет истории, то есть, что Россия принадлежит к неорганизованному, неисторическому кругу культурных явлений, упустил одно обстоятель-

ство, — именно: язык. Столь высоко организованный, столь органичный язык не только — дверь в историю, но сама история».

А сегодня русский язык и мы вместе с ним — под очевидной трагической угрозой. «Для России отпадением от истории, отлучением от царства исторической необходимости и преемственности, от свободы и целесообразности было бы отпадение от языка. «Онемение» двух-трех поколений могло бы привести Россию к исторической смерти. Отлучение от языка равносильно для нас отлучению от истории...» Насколько честное, верное пророчание! Как никогда ранее, необходимое. Тревожно взывающее предупреждение.

Виктор БУДАКОВ

* * *

Пластинкой тоненькой жиллета
Легко щетину спячки снять —
Полуукраинское лето
Давай с тобою вспоминать.

Вы — именитые вершины,
Дубов косматых именины,
Честь рюисдалевых картин, —
А на почин — лишь куст один
В янтарь и мясо красных глин!

Земля бежит наверх. Приятно
Глядеть на чистые пласты
И быть хозяином объятной,
Семипалатной простоты.

Его холмы к далекой цели
Стогами легкими летели,
Его дорог степной бульвар,
Как цепь шатров в тенистый жар!
И на пожар рванулась ива,
А тополь встал самолюбиво!
Над желтым лагерем жнивья
Морозных дымов колея.

А Дон еще, как полукровка,
Сребрясь и мелко и неловко,
Воды набравши с полковша.
Терялся, что моя душа,
Когда на жесткие постели
Ложилось бремя вечеров,
И, выходя из берегов,
Деревья-бражники шумели.

15–27 декабря 1936. Воронеж

* * *

Эта область в темноводье —
Хляби хлеба, гроз ведро —
Не дворянское уголье —
Океанское ядро ...
Я люблю ее рисунок —
Он на Африку похож —
Дайте свет: прозрачных лунок
На фанере не сочтешь ...
Анна, Россошь и Гремячье —
Я твержу их имена —
Белизна снегов гагачья
Из вагонного окна.

Я кружил в полях совхозных,
Полон воздуха был рот,
Солнц подсолнечника грозных
Прямо в очи оборот.
Въехал ночью в рукавичный
Снегом пышущий Тамбов,
Видел Цны — реки обычной —
Белый, белый, бел покров.
Трудодень страны знакомой
Я запомню навсегда —
Воробьевского райкома
Не забуду никогда.

Где я? Что со мной дурного?
Степь беззимняя гола:
Это мачеха Кольцова —
— Шутись, родина щегла. —
Только города немного
В гололедицу обзор,
Только чайника ночного
Сам с собою разговор,
В гуще воздуха степного
Перекличка поездов —
Да украинская мова
Их растянутых гудков.

Декабрь 1936. Воронеж

* * *

В лицо морозу я гляжу один:
Он — никуда, я — ниоткуда,
И все утюжится, плоится без морщин
Равнины дышащее чудо.

А солнце щурится в крахмальной нищете —
Его прищур спокоен и утешен...
Десятизначные леса почти что те...
А снег хрустит в глазах, как чистый хлеб,
безгрешен.

16 января 1937. Воронеж

* * *

О, этот медленный, одышливый простор —
Я им пресыщен, до отказа!
И отдышавшийся распахнут кругозор —
Повязку бы на оба глаза!

Уж лучше б вынес я песка слоистый нрав
На берегах зубчатых Камы,
Я б удержал ее застенчивый рукав,
Ее круги, края и ямы.

Я б с ней сработался — на век, на миг один —
Стремнин осадистых завистник —
Я б слушал под корой текущих древесин
Ход кольцеванья волокнистый.

16 января 1937. Воронеж

* * *

На доске малиновой, червонной,
На кону горы Крутопоклонной,
Втридорога снегом занесенной
Высоко занесся санный, сонный
Полугород, полуберег конный,
В сбрую красных углей запряженный,
Желтою мастикой утепленный
И перегоревший в сахар: жженный.
Не ищи в нем зимних масел рая,
Конькобежного фламандского уклона,
Не раскаркается здесь веселая кривая
Карличья в ушастых шапках стая! —
И меня сравнением не смущая,
Срежь рисунок мой, в дорогу дальнюю
влюбленный,
Как сухую, но живую лапу клена
Дым уносит, на ходулях убегая.

5 марта 1937. Воронеж



Леонид Николаевич Завадовский (1888–1938). Родился в селе Преображенское Тамбовской губернии. Участник революционного движения. С 1918 года жил и работал в г. Усмань Воронежской губернии (ныне Липецкой области). Прозаик, член Союза писателей СССР с 1934 года. Делегат I съезда советских писателей от Воронежской области. В 1933–1935 годах был членом редколлегии журнала «Подъём». Автор книг всесоюзной известности «Вражда», «Песнь седого волка», «Золото» и др. Незаконно репрессирован в 1938 году, расстрелян. В 1958 году был реабилитирован.

Леонид Завадовский

ПЕСНЬ СЕДОГО ВОЛКА

Повесть

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Леснику Лясова кордона Игнату Шугаеву инструктор, по-старому объездчик, привез приказ узнать места скопления волков. Подвывая хвост лошади, он с любопытством поглядывал на огромного всклокоченного детину — знаменитого подвывальщика.

— Из города на облаву сам председатель обещал. Возьми всех на учет.

Игнат ничего не сказал. Тяжелым взглядом проводил забрызганные дрожки до поворота и, когда спина инструктора утонула в сизом, словно дым, кустарнике, угрюмо проворчал:

— Приезжайте и бейте, что я, хозяин им!

Худосочная, поблекшая Татьяна, слыша шаги в горнице, вскинула глаза и тотчас опустила в работу на коленях. Она заметила в глазах мужа тоску, которой боялась в нем больше всего.

Угрюмым он был всегда от жизни в лесу, но теперь сделался совсем чужим. Днями ни слова не услышишь от него, думает о чем-то; ляжет в постель, лежит неподвижно, словно лунатик, с открытыми глазами.

Подвывать волков Игнат научился с пятнадцати лет от отца, тоже лесника. Сначала при-

былых глупых щенят, потом переярка, а к призыву мог вызвать и матерого. На заре или ночью, стоя рядом с отцом, вслушивался в извивы его голоса и заучивал, как песню. Уходил один далеко от кордона, и до полночи разливался его голос, поднимая зверей. Охота с капканом и облава были его единственной заботой. К Лясову кордону каждую осень наезжали охотники из города. Он слыл лучшим подвывальщиком. Когда заступил лесником — с крестьянами-лесокрадами был дерзок, не давал увезти ни одного дерева из своего обхода. Во всякую ночь, хоть глаз выколи, — он в лесу. Его прозвали Волком. Этой кличкой он гордился.

И словно подменили его. По виду стал еще мрачнее, оброс, как пеня на болоте, все валится из рук, не присмотрит за скотиной и словно не его дело караулить лес. По просекам то и дело тарахтят телеги, — он и ухом не ведет. Кто побывал в его руках, рассказывает странные вещи. Заметит вора, подойдет, сядет на передок, посидит рядом, поговорит и вдруг уйдет прямо в лес без дороги. Кто посмелее — допилит дерево, навалит и айда, лесник уже не встретит на дороге, хоть песни пой.

— Это от германской в нем, — говорили люди.

В горнице было тихо. Тикали старые кособокие часы на стене. Баба вздохнула от горьких мыслей. Игнат подошел к окну и заглянул через потное стекло. Свинцовое небо под рыжим сумрачным лесом нахмурилось; близился вечер.

— Ужин собери, живо!

Татьяна торопливо поднялась, осторожно ступая по полу, прошла горницу и завозилась у печи.

— Ты что ж, аль нонче пойдешь кликать зверя? Дождь бы не собрался, — робко сказала она, подавая на стол ковригу и нож.

2

Придавленная тучами тесовая крыша кордона озарилась на мгновение последним лучом заката. Маленькое оконце сверкнуло бледным стеклянным взглядом. Игнат утонул в узком туннеле просеки. Мягко, едва слышно шелестела листва под ногами. Он делал углы по косовым тропинкам, шел целиком по осиннику и наконец вышел в давнюю порубку, поросшую ольхой вперемежку с саженым камышом. Низкое небо менялось, ни одного светлого пятна не осталось над лесом. Тучи тянулись мягкими валами, словно головастые мохнатые чудовища с многочисленными лапами. Лес потемнел и молчал.

Игнат опустил на одно колено, сделал ладони рупором и, как делал это всегда, нагнул голову, чтобы взять низкую ногу, но заволновался и тяжело затоптался, шелестя в темноте осокой.

Темная ночь и тишина вдруг напомнили ему такую же ночь на фронте. Однажды после боя он очнулся в воронке, вывороченной снарядом, оглохший и измятый.

Одежда была частью сорвана, частью висела ключьями. Тишина и темнота показались могильными; сделалось так страшно, что завыл он протяжным воем. Вой был волчий, тот, каким выл он с детства, подражая зверю. Попытался вылезти, но на краю метнулись светлые глаза. Это были волки. Они уселись вокруг, вытягивали шеи и терпеливо ждали всю ночь. Несколько раз принимались выть, словно убеждали покориться. Их бока были втянуты под самые хребты. Готовясь к смерти, он задал тогда последний вопрос: почему же человек, сытый, одетый, убивает и грабит?

Быстро темнело. Заросли сливались с тьмой, словно распускалось черное огромное крыло. Игнат встряхнул плечами, втянул в себя сырой воздух. Протяжный волчий вой разнесся по тихому лесу. Два раза повторил он свой призыв. Тяжело дыша от напряжения, ждал. Придавленный низким небом, наконец приплыл ответный вой, далекий, осторожный, едва слышный. Это выл матерый. Лесник снова позвал.

Волк был уже ближе. Он запел свою песнь с низкой хриплой ноты, раздал во все концы леса и вдруг оборвал, словно разрубил острыми зубами. Крепко прижавшись к осине, Игнат жадно слушал. В соседнем квартале заголосила волчица, прибылые щенята бестолково тявкали вслед за ней, но вой матерого не повторился.

3

Охотники из города понаехали с вечера. Татьяна хлопотала с самоваром и яичницей. Председатель и лесничий усадили Игната с собой за стол, старались втянуть в беседу об охоте, но из этого ничего не выходило. Он отказался пить водку, поднялся и надел куртку:

— Надо проверить сходить...

Лесничий поднялся тоже:

— Мы пройдемся с тобой: интересно послушать, как это ты делаешь.

Лесник упрямо сдвинул брови:

— Охота вам ноги трудить. Завтра будет день, находитесь, — проворчал он.

— Почему ты не хочешь, чтоб с тобой пошли? — спросил лесничий и махнул рукой. — Ну ладно, иди один, если так!

Игнат вышел из кордона и быстро зашагал по дороге. Пройдя с версту, выйдя в редкий сосновый бор, сбавил шаг и поплелся без цели по первой попавшейся просеке; он совсем не думал о проверке зверя. Наоборот, не знал, как отвертеться от предстоящей облавы, и служебная зависимость бесила его. Наехавшие люди с ружьями возбудили тревожные мысли и злобу.

По вершинам сосен с осенним большим трепетом прошелся ветер. Тучи разодрались, яркий свет струился от молодой луны. Ноги Игната вдруг запугались в мягкой сосновой ветке, брошенной поперек просеки, — едва не упал. В деревьях черной кучей стояла лошадь.

— Эй, кто здесь? Не прячься!

Из-за сосны с топором в руке шагнул мужик, снял шапку и, весь пестрый от теней на полушубке, кротко промолвил:

— Помилуй, Игнат. Не из озорства, как иные, по великой нужде заехал. Сам знаешь, какое наше жительство.

Игнат потянул лесокрада за рукав к лошади, сел на передок и усадил рядом.

Глаза вора исподлобья щупали лесника. Он знал Игната-Волка и готов был каждую секунду, преодолев трусость, хватить его по голове обухом. Игнат с жадностью вглядывался в лицо мужика и силился припомнить, на кого он так похож. И вдруг вспомнил: видел такие же глаза у волка, пойманного в капкан.

— Что, испугался? А был ты на германской? Видел, сколько положено? Как швырок на порубке, в стога клали. А мы, думаешь, железные? Так же распухнем. На что тебе сосна?

Мужик хихикнул.

— Известно — всем помирать. А все-таки живой об живом помысел держит. Жить не собирайся, а сеять поезжай, говорят старики.

Игнат приблизил свои глаза к немигающим, настороженным глазам.

— Вот никого на десять верст нету. Возьму и убью, чтоб лес не крал. Ехал — чтоб избу починить, а приехал за смертью.

— Их, дядя Игнат, волк не думает, где смерть застигнет, думает, где б овечку стибрить, — усмехнулся вор. — И человек одинаково. Может, она, смерть-то, и на след твой не ступала, а ты и жди ее, хлеба не ешь!

Игната возмутило спокойствие вора, он вскочил, вырвал топор из его рук и взмахнул над головой. Сталь зазвенела о тонкий сук.

— Вот и смерть тебе! — громко крикнул он. — Понял, про что говорю? Про волка

ты молчи, волк зря не тронет. А человек вот сейчас голову отмахнет. Так, для удовольствия своего!

Мужик прилип спиной к лошадиному заду.

— Батюшка, товарищ Игнат, пожалей деток невинных... — И вдруг упал на колени и рванул ноги Игната от земли. Лесник взмахнул руками и повалился навзничь.

Вор торопливо ползал, шарил по хвое и, найдя свой топор, встал за сосну.

— Поймал, так вел бы куда следует, без озорства. — На темном лице сверкала полоска оскаленных зубов. Он следил за каждым движением лесника. — То ись в самом деле хуже нет зверя, как человек. Не подступайся, засеку!

Игнат поднялся с земли.

— Понял, дурак! — сказал он и медленно зашагал по узорной дороге.

Мужик торопливо подвинул лошадь к сосне, подсунул важку под комель и, надрываясь, перевалил через колесо на передок.

4

Едва забелелись окна, Игнат разбудил охотников. Мимо кордона кучками шли мужики-загонщики. Он выбежал на крыльцо и кричал:

— В четырнадцатый ступай, в четырнадцатый. Поаккуратней, без шума!

После завтрака торопливо собрались. Утро было тихое, едва заметная морось оседала на ружейных стволах. Через час были на месте сбора, на горелой поляне. Игнат распорядился по старой привычке. В загон не пошел. Разобрав флажки из мешков, мужики разошлись по просекам, оставляя красные следы на сучьях и кустах. Поставил охотников на номера. В нетерпенье они вскидывали ружья, целились в деревья, пригнувшись, перебежали друг к другу закурить. Тянул утренний ветерок, заставляя передергивать плечами. Председатель, в длинных новых сапогах, с трехлинейкой в руке, приставал к леснику:

— А не лучше мне стать вон за ту толстую осину?

Вдали едва слышно закричали загонщики. На номерах присели и побросали папиросы. Хор накатывался, приближался спокойно и ровно. Вдруг в ровный гон врезались азартные ноты. Игнат дернул плечами, в глазах мелькнула растерянность и испуг. Уже различались отдельные выкрики и стук палок о деревья. Вспугнутые птицы с беспокойным чириканьем пронеслись мимо.

Лесник первый увидел волков. Они бежали тесной кучкой. Впереди шел седой, матерый, огромный зверь. Видимо, знакомый с облавой, он остановился, вглядываясь в куст, за которым сидел Игнат; на лобатой голове торчали уши. Волчица вздрагивала, суетилась, припадала к земле, туго подобранный хвост мотался под брюхом. Два прибылых толкались и путались перед мордами старых. Один прибылой полз в стороне; были ли еще — не успел разглядеть.

От громкого крика седой волк метнулся в сторону просеки, взвился на дыбы и, словно опрокинутый, упал обратно. Он наскочил на флажок. Волчица обезумела от ужаса и бросилась с прибылыми вдоль цепи стрелков. Раз за разом грохнули три выстрела. Матерый оцетинился и оскалил желтые тупые клыки, будто лапу его стиснули зубья капкана. Каждую секунду его могли заметить с соседних номеров. Лесник припал грудью к земле, чтобы сделаться незаметным и, не отдавая себе отчета, сквозь стиснутые зубы торопливо издал короткий, глухой вой. Зверь оцетинился и бросился через куст. Почувствовав под лапами человека, взвизгнул, как огромная собака, и, сделав новый прыжок, бешено скребнув задними лапами листву, утонул в сизом дыме порослей. Следом бросился переярок. Игнат видел, как он, трусливо стелясь по выцветшему папоротнику, рванулся к кусту, но слева громыхнул выстрел, и волк ткнулся мордой в двух шагах от него. В туманной тишине пасмурного дня тупо стукнуло еще несколько выстрелов.

Охота вышла удачной. Был уничтожен весь выводок: пять молодых и волчица. На поляне около добычи толпились охотники и загонщики. Присев на корточки, гладили густой мех, переваливали с боку на бок, разглядывали, куда попала карточка, тянули волчицу за хвост, отчего она казалась еще больше. Переярок с изуродованной мордой лежал в стороне. Завидев лесника, лесничий закричал:

— Ура, Игнат! Качать его!

5

Печальный, готовый к зиме, лес покорно ждал. Первый снег лег в тихую темную ночь. Наутро в лесу посветлело, многочисленные следы извивались меж деревьев.

Игнат забросил службу; понурый и молчаливый, каждый день таскался за десять верст в Боровки к тестю. Дряхлый старик с позеленевшей бородой, отложив с колен на скобленую желтую лавку недоплетенный лапоть и лыко, беззубым ртом шамкал:

— Чего это ты, Игнат, совсем переменялся? И Татьяна возле тебя засохла вся!

— Из человечьей шкуры, как змея, вылез, отец. — Игнат доставал черную большую бутылку с самогоном и пил. — Волчьим мехом обрастаю. Слышишь, отец? — Он хмелел и говорил отрывисто, словно лаял глухим, сиплым лаем.

Старик оттопыривал ухо и качал голой потемневшей головой:

— Слышу, слышу, а понять не могу, к чему ты это про волка. Зверь он зверь и есть. Человек бывает хуже волка, какая минута в нем, а в иную минуту он настоящий, правильный человек. Зверь этого не знает. Завсегда — зверь. Нет в нем никакой минуты.

Как ни уговаривали Игната остаться ночевать, он уходил из деревни. Кричали петухи под белыми крышами, дорога бежала в голубую даль и звала за собой. Он шел в низовые кварталы, заходил с наветренной стороны, чтобы дальше разносил звук. Мимо луны летели, словно лебяжьи перья, прозрачные облака. Было спокойно в белом лесу. Игнат подавал голос, садился на пенек и слушал волчий хор. Казалось — он слышал эту песню и у людей. Ее пели мужики на лугах. Тоскливая, протяжная, бесконечно длинная, будто цель ее — соединить начало и конец, — понять жизнь. Глухой, надтреснутый вой матерого плыл впереди и оставался последним. Наступало молчание в кварталах. Седой волк пел о вечной тоске по пище, по теплу, об одинокой жизни в белых равнинах под холодной луной, о вечном страхе. Грозил темной, кровавой ненавистью всем живым за свою волчью долю. Звал на бой своих братьев, голодных и беспомощных, на узкой звериной тропе. Сверлящей нотой прорезая хрустальный воздух, жаловался за всех, кому суждено, оскалив зубы, мчаться по пустыне от края до края, от рожденья до смерти.

Волк снимался с места и двигался к человеку осторожным кругом. Подойдя близко, трусливо и с любопытством выглядывал сквозь чащу, раздувал ноздри, шевелил ушами и не отзывался больше в эту ночь.

Утром лесник находил его следы на своих следах.

Татьяна встречала мужа молчаливо и испуганно. Плакаться на горькую свою долю уходила в сенцы. Не смела спросить, где он ходит долгими ночами.

Однажды, вне себя от отчаяния, она проследила Игната. По пятам проводила до самых Боронок, ждала до полночи у соседей у окошка, пока выйдет от отца, и от дерева к дереву кралась за ним по лесу. И когда, встав на колено, он завыл — без сил, с подкосившимися ногами, опустилась на снег. Не смея шевельнуться, слышала, как далекий голос волка приближался, становился звучным и полным, и уже не различала из двух голосов голоса мужа. В тени мелькнули бледные глаза. От куста оторвался огромный седой, почти белый волк и уселся на светлом голубом снегу. Видела, как Игнат поднялся с колена, но волк недоверчиво опустил голову и отступил в чащу.

С обласы острым чутьем волк четко запомнил запах лесника. Как лунные тени в ветвях, смутные и призрачные пути вели зверя к человеку. Человек с волчьим голосом звал его каждую ночь. Звериная душа томилась. На следу человека он злобно щетинился, каждая шерстинка дрожала от ненависти и страха, клыки обнажались, кровавая слюна вскипала в пасти; в то же время непобедимая сила поднимала и влекла его, когда слышал голос лесника. Мчался на бой, удивленный появлением соперника, но вдруг сжимался и полз сквозь чащу, пугаясь шороха. Трепещущими ноздрями тянул знакомый запах и выходил на поляну, где ждал его Игнат.

Но близко волк никогда не подпускал к себе лесника. Игнат мало спал, во сне стонал громко и тяжело. Однажды, сев в кровати, долго сидел с закрытыми глазами, к чему-то прислушиваясь, и вдруг спросил Татьяну:

— Ветер, кажись, на дворе? — и снова тревожно слушал.

Татьяна попробовала уложить его, но он отстранил ее и вдруг завыл волчьим воем. Это было особенно страшно в горнице при лампе. Жилы на его шее вздулись, грудь вздымалась, набирая воздух. Татьяна упала на колени, хватала его за руки, трясла за плечи, чтобы разбудить. Не выдержав, накинута платок на голову и бросилась с кордона.

В лесу было тихо. На повороте в просеку ей повстречался седой знакомый волк. Он чуть посторонился с дороги и побежал спокойной рысцой к кордону, волоча по снегу темную тень.

Был декабрь месяц, волки собирались в большие стаи. Однажды на зов Игната не сразу и неохотно откликнулось несколько голосов. Не дослышав матерого среди них, лесник пошел на поляну в камышовые трупцы.

Осины, ольховник и кустарник, спутавшись обледенелыми тонкими ветвями, светились, словно в паутине; закутанные в мягкие хлопья, спали темные ели. Снег под ногами переливался миллионами искр. Еще издали заметно было движение на поляне. Взад и вперед носились проворные тени. Стая играла вокруг волчицы. Заслыша скрип под ногой лесника, волки сгнули, исчертив светлыми глазами черную тень, упавшую от леса.

Седой волк внезапно появился из зарослей. Он не садился, нервно оглядывался, ежеминутно хотел уйти. Опустив хвост, расставив ноги под тощим хребтом, тяжело носил боками и лизал снег. Широкий лоб угрюмо висел над синей тенью. Игнат видел, что он явился от свадебных игр, и, тронутый привязанностью, ласково позвал, словно собаку:

— Поди сюда!..

Волк вздрогнул, но не отступил, как делал всегда. Упрямо нагнул голову еще ниже и, начав с рычания, завыл злобным воем. Блеск лунного света серебрился в его шерсти. Глаза сделались узкими и косыми. Грозно переливались в его горле нетерпение и злоба. Это был враг смертельный и вечный. Леснику стало холодно, он запахнул куртку и не спускал глаз с разъяренного зверя.

Волк медленно опускал зад, казалось — хочет сесть. И вдруг скакнул на лесника. Одним хватом сорвал с груди клочья куртки вместе с рубахой и живым телом. Игнат упал ничком в снег, но от внезапной злобы мгновенно поднялся на руки и очутился на четвереньках. Оба мерили друг друга горящими глазами. Волк наскочил снова. Чувствуя удары тупых клыков по плечу, Игнат душил и топтал коленами извивающееся костлявое и могучее тело. Набежавшая стая металась вокруг. Тощие проворные звери визжали и облизывали свои острые морды, готовясь напасть на борцов, чтоб уничтожить обоих. По-

няв смертельную опасность, седой волк вырвался из рук Игната и бросился на стаю. Хищные силуэты бесшумно метнулись по поляне и исчезли, словно во сне.

Игнат поднялся, выбросил из мокрых горячих рук клочья шерсти и ощупал плечо и грудь.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Стояли лютые морозы. Для больного Игната надо было потеплее топить печь. Раны от тупых волчьих клыков затягивались медленно.

— Надо б к доктору аль к фершалу, — говорила Татьяна, — не бешеный ли тебя искусал?

Игнат становился злым при напоминании о волке, ворочался и поднимался в кровати.

— Бешеный не выл бы каждую ночь, давно убежал бы или издох!

Каждую ночь слышал он вой седого волка. Обострившийся слух легко улавливал знакомый голос среди лесных звуков за стенами сторожки. Татьяна, лежа на печи, слышала, как он поднимался и, перебравшись на лавку к окну, подолгу сидел, прислонясь щекой к стеклу. Никогда вой не разливался так назойливо и громко. Звал на поляну, в камыши, грозил и торжествовал. Игнат укрывался с головой тяжелой шубой, чтобы не слышать, сжимал кулаки. Казалось — во что бы то ни стало надо уничтожить зверя, иначе не будет покоя и здоровья. Строил планы и днем делился ими с Татьяной. Баба радостно поддакивала:

— Да то разь оставлять его на расплод, такого окаянного зверя!

Часто, лежа один в горнице, Игнат громко звал бабу со двора:

— Поди добежи до десятого квартала, погляди — нет ли санного следа, будто едет кто-то.

Ему чудились лесокрады, казалось, мужики, пользуясь его болезнью, сведут весь лес.

— Пускай лесничий человека даст покамест, сходи попроси.

Завидев в окошко облезлую телушку, выпущенную на водопой к колоде, он бранился, словно впервые видел свою заморенную скотину. В нем пробуждался жадный хозяин и лесной служака.

На святки приезжали из Боровок тесть со старухой тещей на широких розвальнях. От их морщинистых розовых лиц и холодных крепких рук делалось совестно за свою болезнь.

За чаем старик лукаво глядел на зятя:

— Вот каким молодцом опять стал. Бабу теперь захочешь молодую. Вылечил тебя волк, лучше лекаря. Отворожил от глазу.

Игнат нахмурился; Татьяна сделала знак отцу — не надо об этом.

— С кем грех-беда не случалась, прошло, и слава Богу.

— Ну, не надо. Сам больше в себе понимает. Зверь он лют, да прост, а человек и лют и хитер. Разь я не понимаю. Только по волчьей тропинке тесно ему ходить, — вот про што я говорю.

Игнат вдруг отодвинул чашку с чаем, поднялся с табурета и, сняв со стены берданку, лязгнул затвором.

— Вот хорошую лавочную картечь теперь надо и больше ничего!

2

Ржавый ствол ружья и позеленевшие медные патроны Игнат чистил с утра до вечера. Зарядил три заряда. Надел залатанную на груди и плечах куртку и вышел в первый раз из сторожки.

В лесу было тихо и бело. Глубокий снег в просеках местами был изборожден ползьями. В одной просеке совсем свежий след был засорен сосновыми иглами и желтой чешуей коры. Лесник дернул плечом.

— Погодите, доберусь и до вас, — проворчал он и пересек след. Нужно было сделать главное — убить волка. План был простой: вызвать на голос и повалить картечью наверняка, без промаху.

Бор, засыпанный снегом, спал, словно закутанный в белое теплое одеяло. Ни синицы, ни дятла не было слышно. Холодная серебристая мгла стояла в даях меж стволами. На холме, за впадиной, за дубовым молодыком, светились красные стволы в лучах заходящего солнца. Через бор на просеку тянулась заячья тропа, ее пересекал глубокий волчий след. Стая гонялась за волчицей: борозда была свежая и широкая. Слабые и молодые волки брели по сторонам. Среди многочисленных следов выделялся один огромный — след матерого.

Краски на небе таяли, изумрудная даль туманилась морозной пылью. Лесник опустил на одно колено и подал голос. Чутко прислушиваясь, снял с плеча ружье, оттянул осторожно взводную пружину и замер.

Тишина не нарушалась, замигали звезды в разорванной густой хвое. Рассыпчатый легкий снежный ком упал на плечо. Уже волнуясь от нетерпенья, снова подал голос. В соседнем квартале завыл переярок, за ним враздробь — до пяти голосов. Коротко, торопливо, словно оторвались на минуту от важного дела. Матерый молчал.

Злой и иззябший лесник засунул руки в рукава. Ни малейшего шороха в тихом лесу. Вдруг он повернулся всем туловищем назад — в тишине скрипнули ползья, лесокрад, видимо, выехал на твердую дорогу. Рванулся от сосны и, разбрасывая снег ногами, побежал через чащу наперерез.

3

Всюду, куда б ни сунулся, Игнат наталкивался на неустройство и непорядок. В катухе — вместо двери, чтоб не вылезали овцы — расколотые солнцем колоды, коровник — полон навоза, дрова — в сугробе.

Принялся стучать и ладить. Баба, глядя на мужа, оживилась, помолодела. Как-то, стоя с ведрами у колодца, она сказала:

— Сено-то у нас в седьмом квартале. Косили боровские исполу с извозом, а потом не привезли. Что я, баба, с ними сделаю.

— Приедет какой-нибудь мужик за сосной — привезет возок, а потом сразу весь стог поднимем.

Дома, в Боровках, Татьяна не удержалась и похвасталась:

— Человеком стаёт Игнат, до всего доходит, каб не сглазить, — и плюнула три раза через левое плечо. — Уж так-то хорошо теперь, даже боязно.

Игнат стал снова настоящим лесником, У кордона останавливались мужики, предъявляли ордера на сосны и дубовые делянки. Кто без ордеров, почтительно ждал на крыльце.

— Хворостишку бы... не отпустишь, товарищ Игнат?..

— Ордер есть?

— Да нам самую малость. Слухом пользовались — сено у вас в седьмом не вывезено?

Но не совсем Игнат забыл недавнее. Оскаленная морда волка чудилась всюду. Сдерживал себя, старался выкинуть из головы, но не мог. Понимал — пока не убьёт его, не избудет своей тоски. Часто, отделавшись во дворе, собираясь лезть на печь, уже разувшись, вдруг натягивал снова валенки, брал ружье и уходил в лес.

— Да на кой он тебе ляд нужен, — пыталась отговаривать Татьяна, — ушел, поди, он, где ты искать его будешь!

— Тут он. След вчера видел свежий, после пороши прошел возле самого кордона. Возвращался угрюмый, снова тревожно спал ночами, выходил на крыльцо и слушал то далекий, то близкий концерт стаи. Но матерый волк словно притаился: ни разу не подал голоса.

— Молчит, ходит возле, — не к добру это, — поделился как-то с бабой лесник.

4

Однажды с вечера загудела метель над лесом, словно сотни зверей разинули голодные пасти. Ветер злобно гнал колючую снежную пыль всю ночь. Чуть ослабев к утру — с полден с новой яростью хлестал по стеклам. Деревья раскачивались, стонали и наклонялись друг к другу, словно сообщая беспокойную и жуткую тайну. В горнице было холодно, сторожку продувало насквозь. Рано загасили лампочку, чтоб поберечь керосин. Завывание в трубе мешало спать, Игнат ворочался с боку на бок на печи, слышал пенье петуха в сенцах, первое и второе.

«Не жить мне, если не убью волка», — думал он.

Татьяна спала, сопела носом и жалась во сне под бок. Вдруг она вздрогнула и села, испуганно бормоча «Господи Иисусе». Торопливо затрясла за плечо.

— Спишь, что ли? Спишь ты? Вставай, овцы бьются в хлеву!

Оторванный от своих мыслей, лесник недовольно проворчал:

— Увидела во сне, вот и бредишь, — но сам вздрогнул от жалобного, стонущего крика.

Что-то мягкое ударилось о стенку. Прыгнув с печки, всунул ноги в валенки, схватил берданку и выбежал во двор. Ветер дул тише, было светло от луны. Бросился к овцам, с трудом открыв дверь, утонувшую в сугробе, пролез боком в овчарню. В темноте споткнулся на лежащую овцу — она не вскочила и не шарахнулась прочь. Было тихо. Теплый запах крови ударил в голову. Игнат покрылся потом от страшной догадки.

Татьяна прибежала с фонарем, свет скользнул по хлеву: на притоптанной соломе в беспорядке валялись бездыханные, порезанные овцы. Одной не было совсем. В углу в плетне зияла дыра. Прыгающими губами баба прошептала:

— Всех порешил до единой... — застонала и опустила на соломенную постилку.

5

Чуть свет Игнат шагал по следу волка. Местами снег был забрызган и затоптан, — зверь останавливался, жрал добычу и снова, взвалив на спину, уносил дальше в глубину леса. Только к вечеру набрел на остатки овцы. Около в снегу была лежка. Зверь отдыхал. От раздувшегося брюха ямка была глубоко вдавлена и подтаяла. След вел в чащу, видно было — волк уходил неторопливо, шагом.

Наделав прорезы в мясе, Игнат засунул в них капсулы с ядом. Наутро приманка была съедена. Два прибылых, зарывшись глубоко в снег, валялись невдалеке, разбрызгав желтую пену из разинутых пастей. Седой волк не шел на приманку. Долго стоял лесник в раздумье. Оставалась одна надежда — на капканы. Придя домой, достал с чердака три стальных капкана, до полночи скоблил с них ржавчину, смазывал салом, чтоб отбить запах жилья, и, не дождавшись рассвета, вынес их в низовой квартал в камышовые заросли. Насторожил, затрусил снегом и посредине бросил стегно зарезанной овцы.

Три ночи лежала привада, на четвертую ворвался переярочек. Он сидел и клал зубы, боясь шевельнуться и дернуть зажатую в сталь лапу, пока выстрел не повалил его. Около капканов были следы и матерого, но он бродил возле и не подходил близко.

В тот же день Игнат был у лесничего и просил:

— Назначьте облаву, много развелось их, овец порезали всех. Пошлите за председателем, пускай из города охотники приедут.

Лесничий озабоченно перелистывал большую книгу:

— На ближайшее время не обещаю, а председателя того уже нет, назначили другого. Не охотник он.

Лесник снял шапку:

— Прошу вас, — и голос его дрогнул. — Ни об чем не просил, а об этом прошу...

— Да ведь идут они и на приваду, и в капканы идут, ну и лови. Пока соберется облава, ты их всех перетаскаешь из леса. Некогда мне этим заниматься. Ревизия будет на днях. У тебя там как, в обходе? Ты смотри, подтянись, брат...

На обратном пути лесник вглядывался в каждый пенек, засыпанный снегом, словно мог встретить седого волка. Ружье с взведенной пружиной нес в руках всю дорогу.

У Татьяны не просыхали глаза. Как войдет во двор, глянет на раскрытые двери в хлеву, залетит и убежит в горницу. И на этот раз она встретила мужа жалобой:

— Хоть парочку черных бы оставил, нечисть проклятый. Как берегла для шерсти, и приплод завсегда черный был — весь в ярку. Надо было тебе трогать его!

— Замолчи, ну тебя совсем, — не выдержал Игнат и обругался. — Кто его трогал. Сам как бешеный накинулся. Не бабьего ума это дело!

За своим горем Татьяна не замечала, что Игнат снова худеет, в глазах его снова горит беспокойный огонь, словно у лихорадочного. Однажды он ушел после обеда и не возвращался до утра. На расспросы только сказал:

— Опять подывал, в дальний обход ходил — думал, не слышит, а он по следу моему ходил всю ночь. — Махнул рукой и, склонив голову, просидел обед, не взявшись за ложку.

6

Ревизия, наряду с общими недостатками в лесничестве, обнаружила много жалоб на Игната Шугаева, будто он продает строевые сосны.

Осмотр его обхода подтвердил донос. Много свежих неклеяемых пней торчало из снега в бору.

Вызванный на допрос в контору, лесник, угрюмо насупившись, выслушал акт.

— Хотел по совести с ними. Выходит — нельзя. Теперь ловлю.

Ревизор шагал по комнате.

— Так нельзя, братец. Ты захочешь опять по совести — и весь бор сведешь. Тебе надо отдохнуть. В лесу нужен здоровый человек, который исполнял бы свою службу и днем, и ночью.

Через час Игнат был уволен со службы. Приходилось проститься со сторожкой, с лесом, где вырос сам, где родился и вырос отец. Куда теперь? Кроме леса и кордона ничего не знает.

Близился вечер, он едва плелся по дороге. Не хотелось видеть острой крыши сторожки и света в окнах. Татьяна ждет, прислушивается к каждому звуку: что скажет он на ее вопросительный взгляд? «Собирайся в Боровки»? И потом жить среди мужиков, которые ненавидят его, за которых выгнали со службы?

— Бить бы подлецов из ружья, — пробормотал он и зашагал быстрее.

Снег взвизгивал под ногой. Уже прошел просеку, ведущую в сосновый бор, но что-то толкнуло его повернуть. На кресте был свежий санный след по долевым просекам. Лошади лесокрадов брели по колена, передками саней бороздили снег, разваливая на обе стороны. Видно было — проехало не менее пяти подвод. Лесник сжал ружье, стиснул зубы, пригнулся, прыгнул с просеки и замелькал меж ство-

лами. В морозной тишине ясно слышались частый шорох поперечной пилы и осторожные удары топора: обрубали ветки.

Словно волк к добыче, подобрался он к мужикам. В стороне от просеки стояли лошади и спокойно жевали сено, брошенное на снег. Воры пилили крайнюю сосну. Пила шоркала торопливо, вдруг приостанавливалась, будто прислушивалась, и снова спешила. Игнат взвел курок и отделился от дерева. Раздался громкий лай собаки: воры были со сторожем. Послышался торопливый голос:

— Допиливай, пуцай подходит. — И снова задержалась пила. Сосна упала с гулким эхом.

— Подходи, волчина! — крикнул тот же голос.

Раздался выстрел, мимо лесника пропела картечь и щелкнула по стволам.

— Подходи ближе! — И снова грохнул выстрел.

Ногу ниже колена ожгло, словно ужалила осенняя злая муха или овод.

Игнат упал лицом в снег и ползком скрылся за ближнюю сосну. Вскочил и побежал по просеке. Добежав до дороги, хотел повернуть к лесничеству, чтобы заявить о крупной порубке, несколько минут стоял в нерешимости, но махнул рукой: пусть тащат, везут.

Поздняя луна выплывала за лесом, осыпая бронзовой пылью вершины сосен. И словно поднятый тусклым светом, по лесу вдруг проплыл волчий вой. Злобный, глухой, прерывающийся, будто зверь прыгал и падал, зарываясь мордой в снег. Игнат понял, что волк мечется в капкане, и побежал по лесу.

7

Камыш качался с жестким сухим шелестом, замыкая проложенную дорогу. До капканов оставалось несколько шагов. Игнат приостановился. Стояла тишина в лесу, сердце стучало громко и нетерпеливо. Вдруг, не веря слуху, услышал вой далеко в стороне.

На поляне вокруг капканов снег был натоптан и окровавлен. Стальная дуга держала в зубах волчью лапу. Зверь перегрыз себе ногу по колено и ушел. След, окропленный темными брызгами, скрывался в чаще.

В сверкающих лучах лесник стоял неподвижным силуэтом и слушал волка. Закинул ружье за плечи, хотел зашагать с поляны, но нога, тяжелая, как дубовый обрубок, лишь слабо шевельнулась. Внезапная боль промчалась по ноге до затылка и затуманила взор. Он стиснул зубы и ухватился за дерево.

Вой все звучнее разливался по белому тихому лесу, упругими волнами плыл над вершинами и трогал холодом спину. Лютой боли не было уже слышно в нем. Торжествующая песнь могучим родником лилась из глотки зверя. Он пел о непобедимой жизни, о шумном морозном дыхании в лунную ночь, о погоне и бегстве, о битвах, в которых он всегда победитель. «Без победы нет жизни. Безногому, но жить, ползти по окровавленному снегу, но жить... Жить!»

Лесник оттолкнулся от дерева и сделал тяжелый шаг. За ним другой, третий — и медленно пошел, вздрагивая от боли. Оглянувшись, увидел за собой темный след: кровь напитала тонкий войлок сапога и пятнала снег.

— Дойду, на руках доползу! — крикнул он и оскалил зубы от боли.

— Жить, жить! — приплыл издалека вой седого волка, и сделалось тихо в лесу.

Молчаливо и упрямо уходили с поляны и зверь, и человек, протягивая красную цепь своих шагов, и тени их беспокойно дергались и ковыляли по холодному голубому снегу.





Василий Михайлович Кубанев (1921–1942). Родился в селе Орехово Воронежской губернии. Поэт, публицист, эссеист. С 1938 года сотрудник острогожской газеты «Новая жизнь». Во время Великой Отечественной войны — курсант Борисоглебского авиаучилища. Умер от туберкулеза. Литературную судьбу Кубанева возродил редактор райгазеты, затем «Молодого коммунара» и «Коммуны» Б.И. Стукалин, ставший впоследствии Председателем Госкомиздата СССР. Сборник поэта «Идут в наступление строки» выдержал несколько переизданий. Премия им. В. Кубанева присуждалась победителям областного конкурса творческой молодежи.

Василий Кубанёв

ВЬЮГА ВОЕТ И СТАВНИ РВЕТ...

ПУШКИН В ССЫЛКЕ

Неужели и ты вдруг стал
Благопристоен и стар?
Твой тоскою искусанный мозг
Наплывает слезой к очам,
Словно этот вот постылый воск,
Словно эта слепая свеча.
Вьюга воет и ставни рвет,
Пушкин ворот руками рвет,
Пушкин в пальцы перо берет,
Пишет — черкает, пишет — рвет.

Если б этот вот скрип пера
(Он похож на сердечный стон)
Вьюга вынесла со двора
И до всех донесла сторон,
Если б в грозный рев перерос
Этот сдавленный скрип пера
И до всех бы людей донес,
Что чему-то пришла пора!
Если б этот вот стон пера
Обратился в набатный звон,
Возвестил бы, что встать пора
И встряхнуть с себя слабый сон,
И рассеять постыдный гнет...

Пушкин думает, мажет, рвет.
Неужели взаправду стар
Ты, мой буйный увалень, стал?

А в младенчестве как была
Снеговая гора крута!
Сани сами — без крыла —
Вылетали за ворота
И летели наперекор
Перевалам высоких гор,
И нечаянностью вдруг
Перехватывало дух.

Так зачем же, зачем же он,
Тот мальчишеский разворот,
Превратился в застольный стон!..
Пушкин лист исписанный рвет...
Через определенный срок —
Ну хотя б, например, через век,
Кто узнает, каких же строк
Не сберег этот человек?
Но затем-то и надо жить,
Но затем и годы прошли,
Чтобы те, кому после быть,
Уничтоженное прочли
В том, что к ним сквозь лета дойдет.
Пушкин пишет, пишет и рвет...

* * *

Ну, а если я обманут
Росписями и резьбой?
Ну, а если те, что станут
Навсегда моей судьбой, —
Не вояки, а виляки,
Не счастливы, а чтецы?
Ну, а если все двойки,
Ну, а если все льстецы —
Кем ты вынырнешь и крякнешь,
С кем ты дружбу поведешь,
Для кого над всеми якнешь
И окрестишь правдой ложь?
Что тогда ты прогорланишь,
Чем ты станешь речи шить,
Что подделывать ты станешь?
Неужели станешь жить?!



У СЕБЯ ДОМА

Рассказы

Юрий Гончаров

Гончаров Юрий Данилович (1923–2013). Прозаик, мемуарист. Участник Великой Отечественной войны. Лауреат Государственной премии РСФСР. Член Союза писателей СССР с 1949 года.

В ГОЛУБОМ БЛЕСКЕ АЛЬТАИРА

1

К рассвету холодало до нуля. Но палатка художника была из толстого брезента, спальный мешок из птичьего пуха, с капюшоном для головы. Художник забирался в него в шерстяном свитере, лыжных брюках из ворсистой байки, шерстяных носках, и спать было тепло. Вылезать из мешка на покалывающий морозными иглами воздух — вот это было неприятно. Вечером палатку кропили недолгие дождики, превращались в ледяную кору на двускатной брезентовой крыше. Когда художник, раздвинув дверной проем, выбирался наружу, палатка шаталась, ледяной покров трескался, прозрачные пластины со звоном осыпались на окаменевшую землю. «Как цыпленок из яйца!» — каждый раз с усмешкой говорил себе художник.

Карминной полоской тлела на востоке скупая осенняя заря. Казалось, в ней нет даже усилий разгореться смелее, ярче. Окружающую луговину покрывал сумрак, в котором тонули, расплывались все краски, как будто их и не было вовсе. Над озером, у которого стояла палатка, над окаймлявшими его сухими камышами медленно клубились на одном месте седые волны холодного липкого тумана.

Где-то далеко в стороне, за невысокими плоскими буграми, находилось позвякивание ведер пришедших из деревни доярок, их покрякивания на непослушную скотину. Сильный, чистый девичий голос запевал песню; ни слов, ни мотива было не разобрать, но художник замирал, слушал. Серый вязкий туман, мертвая тишина спящей, еще не пробудившейся луговины, оловянного озера без противоположного берега, словно бы не существующего совсем, робкая осенняя заря, далекий девичий голос, то взлетающий высоко, то пропадавший, неслышимый, — это

было так красиво, сказочно, будто сложилось не само по себе, а по воле и замыслу какого-то невидимого режиссера.

Пока звучала песня, сколько бы она ни длилась, художник, выбравшийся из ледяной скорлупы палатки, в объятиях сырого, пронизывающего холода, неподвижно стоял на одном месте, замороженно слушал — и не одним только слухом, но и всем, что только в нем было живого, весь распахнутый долетавшим до него звукам. Однажды ему захотелось пойти навстречу песне, увидеть ту, что творит это сказочное диво, но тут же он представил, что увидит на колхозном стане: обветренные, нажженные летним зноем лица преждевременно увядающих доярок, шелушащиеся, потрескавшиеся губы, щербатины и черные провалы в зубах, намозоленные руки с синевой под ногтями, — и сказка испарится, обернется грубой, отталкивающей реальностью. И он не пошел, не стал разрушать очарование, сложившееся в его душе.

На берегу, у самой воды, лежало втоптанное в грязь поленце, с которого было удобно зачерпывать ладонями воду и умываться. Художник плеснул из горсти в давно не бритое лицо, крепко потер лоб, щеки. Бодрящая свежесть побежала внутрь тела. Как ни колко покусывал утренний, словно бы наполненный иглами воздух, но художник решительно сбросил с себя свитер, рубашку и, обнажившись до пояса, пугаясь режущего холода и одновременно наслаждаясь им, фыркая, вскрикивая, стал охлестывать грудь и плечи ледяной озерной водой, разлетавшейся вокруг него сверкающим бисером.

В трех шагах от палатки на палке и воткнутой в землю рогульках висел закопченный чайник. Охалка хвороста из недалней рощицы, положенная возле кострища с вечера, за ночь стала сырой, сучья, как и палатку, покрыл тонкий ледок. Разжечь их было непросто, но художник любил эту ежеутреннюю непростую задачу — разжигание костра, приладилась с ней справляться, и через пару минут под чайником уже плясали язычки веселого рыжего пламени и косо тянул в сторону сизый дымок, растворяясь в тумане над луговиной, бесследно с ним сливаясь.

Пара кружек горячего чая с луговой мятой и щепотью сухого зверобоя в заварке еще более укрепили и подняли в художнике ощущение здоровья и крепости всего тела, настроение его духа. Он был молод, тридцати с небольшим лет, пока еще не знал ни с какими серьезными болезнями, порой, особенно вот в такие утренние часы, ему казалось, что хвори и слабость сил вообще никогда его не посетят, с таким запасом всего, что отпустила ему природа, жить ему долго, даже не до ста лет, — бесконечно...

Теперь в мягком розовом свете нарождающегося дня, в пожаре багровой зари, выплеснувшей в небо все свои богатейшие краски, художнику предстояло самое великое наслаждение, какое таил и мог дать этот озерный край с непроходимыми зарослями трав на бескрайних лугах, частым посвистом утиных стай над головой, тренирующих свой молодняк перед отлетом в теплые страны, с тихими малоллюдными деревеньками под камышовыми и обомшелыми соломенными крышами: ужение рыбы на поплавочные удочки из гибких ореховых прутьев.

Летом ловилась, в основном, плотва, плоские лещи, толстобокые караси в чешуе из золотых, старинной чеканки, монет. А сейчас, осенью, на приманку брали лишь одни полосатые окуни. Окуня прозвали так за то, что он, хватая наживку, сразу же резко и глубоко топит — окунает — поплавок. Но здешние окуни вели себя совсем иначе. Поплавок они не топили. Проглотив наживку с крючком и почувствовав, что их обманули, их окуневое дело плохо, они для чего-то описывали в глубине круг; поплавок на поверхности воды тоже описывал круг и останавливался. Окунь в глубине замирали и начинали ждать неизвестно чего. Может быть, того, что произойдет чудо: подплывет какой-то неизвестный избавитель и вынет крючок из пасти. Вот тут, когда поплавок, описав круг, останавливался — и надо было подсекать.

Художник давно разгадал повадки местных окуней и всегда бывал с добычей.

Сев в резиновую надувную лодку, он продрался по узкому, проделанному им самим рукаву в зарослях камышей на чистую воду, поставил лодку на якорь из камня с веревкой при выходе из рукава — и раскинул свои удочки.

Их было три. На крючки были насажены живые, шевелящиеся навозные черви, что ему почти ежедневно приносил из деревни его малолетний дружок Петька, а поплавки поставлены на разную глубину: никогда не знаешь, как, на каком «этаже» в этот раз ходят окуни. Две-три поклевки — и только тогда становится ясно, как следует отпускать в глубину крючки.

За полчаса художник на свои три удочки наловил с десяток полосатых окуней длиной с ладонь и больше удить не стал. Наваристая уха ему на обед обеспечена, а на ужин он подловит потом, ближе к вечеру. Новые рыбацкие радости и новые приятные удовольствия.

После полудня явился Петька. Он был подпаском у пастуха «общественного» стада — десятка бурых и бело-рыжих коров, ходил во взрослых сапогах с прилипшей к подошвам грязью, тяжело таская их на своих худых ножонках, в ватном треухе с торчащими из прорех клочьями ваты — тоже с чьей-то взрослой головы.

Петька принес художнику каравай хлеба, испеченный матерью; поселяясь у озера, художник оставил ей запас муки, деньги и договорился, что со своим хлебом Петькина мать раз в неделю будет печь и для него. И еще Петька принес с почты газеты, накопившиеся за неделю. Их получилась целая пачка.

От аппетитного, пахучего ржаного каравая художник тут же отрезал хрустящий на зубах бочок, а газеты бросил в палатку, чтобы посмотреть потом, без Петьки. Петька не дал бы ими заняться. Приходя к художнику, он беспрерывно разговаривал, каждый раз его о чем-нибудь пытливо расспрашивал. В этот раз мальчишку интересовало московское метро: как это сделано, что поезда ходят под землей? А куда же девается дым? Электрического поезда без дыма и жарко горящей топки Петька еще ни разу в своей жизни не видел и представить себе не мог.

Потом Петька долго выспрашивал про папанинцев, которых высадили на Северном полюсе. Ведь там только снег и лед, никакого подножного корма. А их четыре человека, да еще с ними пес, его тоже надо кормить. А собака ест даже больше взрослого человека. Сколько же надо папанинцам продовольствия, ведь их экспедиция запланирована на год! А кончится еда — тогда что? Лед и снег есть ведь не станешь...

Под конец Петька спросил: нарисовал ли художник новые картинки? Про них Петька спрашивал в каждый свой приход. Художник показывал, а Петька смотрел с жадным любопытством, и от каждого рисунка приходил в восхищение. Художник не раз предлагал Петьке карандаши и бумагу: попробуй нарисовать что-нибудь сам. Хотя бы избу, в которой живешь. Но Петька впадал в испуг, краснел, отрицательно мотал головой: нет, нет, у меня не получится.

Когда Петька ушел, шкрабая по земле тяжелыми сапогами, художник развернул принесенные им газеты. Во всех было то же самое, что и неделю назад, и две недели назад: «Советский народ единодушно клеймит подлых двурушников, наймитов мирового империализма! Никакой пощады врагам народа, смерть изменникам, шпионам и диверсантам!» — кричали глазастые заголовки с каждой газетной полосы.

На черном, с серебряным пеплом кругу кострища под слоем золы еще были живы, рдели красные угольки. Художник бросил на них всю увесистую пачку газет. Какое-то время они лежали, будто огонь не имел права их коснуться, был против них бессилен; потом все гуще, гуще потянулся из-под газет дым, и пачка вспыхнула, занялась, чтобы через минуту стать клочьями тонкого черного пепла, шевелящегося, словно крылья готовых вспорхнуть и разлететься бабочек...

Солнце сместилось к западу, к древнему возвышенному коренному берегу низины с лугами, озерами и протоками между ними, на котором стояла Петькина неказистая деревенька. Опускаясь, оно светило уже сзади палатки; от нее к камышам и озеру тянулась косая, узкая тень. Когда ее кончик достигнет воды — самая пора выезжать на вечерний лов.

Художник уже сдвигал на воду подкаченную, с положенными в нее удочками лодку, и в эту минуту за спиной его прозвучал хрипловатый басок: «Погодь, Макарыч, погодь, и я с тобой... Меня захвати!»

По дорожке, что вела к берегу из деревни, подходил Илья Мурашов, давнишний приятель художника. Они вместе кончали училище, вместе работали вот уже почти пятнадцать лет в художественных мастерских. Только Мурашов был шрифтовиком: великолепно выполнял таблицы, диаграммы, лозунги, всякого иного рода заказы, где требовалось владение всеми видами букв и надписей. Пейзажную живопись он любил больше своего ремесла, которым кормился, обязательно присутствовал на открытии всех выставок, был на них самым внимательным зрителем, в свободное время иногда набрасывал маленькие пейзажные картинки, и получались они очень даже неплохо, но дать их на выставку он решительно отказывался, говоря советчиком: «Бросьте, ребята, ну какой я живописец, нет во мне Левитана и на полкопейки. Только стыдиться...»

На Мурашове была ватная стеганка, резиновые сапоги, суконный картуз с козырьком, низко нависавшим над его картофельным носом. За спиной походный рюкзак, в руке — пара связанных тесемкой складных удилиц. Месяц назад, в еще теплую пору августа, он прожил с художником в его палатке целую неделю; удили плотву и лещей, на ужин выпивали по стопке-другой, после чего уха или кулеш с салом и луком казались объедением, без конца разговаривали. Убывая назад, в город, Илья Мурашов пообещал появиться ровно через месяц, — и вот месяц миновал, и он день в день здесь.

Как был — в резиновых сапогах, картузе, ватнике — Мурашов, только скинув на траву возле палатки заплечный рюкзак, залез к художнику в лодку, повозился, поудобней устраиваясь, и они отчалили. Первым поймал окуня Мурашов. Ему всегда везло, хотя он совсем не был страстным рыбаком, никогда не мечтал об улове и не хотел его так, как его друг Серафим, плохо знал рыбные повадки, какая нужна привада, однако же неизвестно почему всегда налавливал больше Серафима. Рыбачье дело, рыбацкие удачи совершенно непредсказуемы. Существует много примет, правил, советов, указаний, но большей частью на практике они не оправдываются; старый опытный рыбак — с пустым садком, а новичок, неуч, по какой-то прихоти избранный природой в счастливики, на зависть знатокам и специалистам тут же, рядом с ними, тягает одну рыбку за другой...

Провести на берегу в гостях у художника неделю, как в прошлый раз, терпения у Мурашова не хватило, ночью он страдал от холода, хотя спал, не раздеваясь, под двумя шерстяными одеялами, а сверху еще накрывался ватником. Но полных три дня Мурашов пробыл. Опять у них было, как прежде: ловили рыбу, варили то уху, то кулеш, ходили в рошу за сучьями, любовались на краски утреннего и вечернего неба — и разговаривали, разговаривали: в лодке, следя за поплавками, у костра, помешивая деревянной ложкой кулеш, в палатке перед сном, лежа рядом, художник — в своем арктическом спальном мешке, Мурашов — под шерстяными одеялами и ватником. Если бы изложить их разговоры подряд, как они звучали, получилась бы стенограмма в тыщу, а то и две страниц. А если бы отобрать самое главное, важное, то вышло бы, пожалуй, не так уж и много. Они перебирали судьбы знакомых обоим людей, постигшие их за истекший месяц. Этот

арестован за то, что когда-то, много лет назад, рассказал в компании коротенький анекдотец: почему Ленин ходил в ботинках, а Сталин ходит в сапогах? А потому, следовало разъяснение, что Ленин выбирал дорогу поровней и посуше, а Сталин прет напролом. Бог знает когда прозвучал этот анекдот, знакомый художников в ту пору был еще совсем желторотым юнцом, болтал, не думая, что носилось в воздухе, что говорили другие, но кто-то из слышавших этот случай запомнил и теперь мстительно, а может, выслуживаясь, стараясь показать себя бдительным патриотом, капнул куда следует... Другой изобличен в том, что «забыл» в анкете указать, что один из его ближайших родственников, а именно — брат жены, участвовал в восстании кронштадтских матросов, был за это отправлен на остров Мудьюг вблизи Архангельска и там вместе с сотнями других кронштадтцев расстрелян. Теперь этого «забывчивого» товарища будут разбирать на партийном собрании, из партии, конечно, исключат, а следом, несомненно, арестуют. За родственную связь с активным противником советской власти, пытавшимся ее свергнуть с оружием в руках; связь умышленно скрыл, чтобы пролезть в партию. А для чего пролез? Ясно, для чего: чтобы под маской коммуниста мстить за репрессированного шурина, вредить партии и государству. Третий...

— А Рита Куприянова, с ней-то как? — после очередной, десятой, наверное, истории спросил Мурашова Серафим.

Рита была их сокурсницей. Маленькая, шустрая, такой забавный круглый лобочек. Но талантлива чертовски. Природа дала ей дар портретиста. Черты лица она схватывала моментально, всего лишь раз посмотрев на человека. И писала потом уже не глядя. «Никто, — говорил, удивляясь, ее наставник — старый, все-российски известный художник Бучкури, — ни Репин, ни Серов так бы не сумели, а она может, у нее получается... Чудеса да и только!»

Ее мужа, газетного сотрудника, арестовали за проскочившие в газете опечатки. А она — член партии, должна реагировать соответствующим образом на такое событие в своей семье.

— Перед ней поставлен ультиматум, — ответил Мурашов, — или она публично, на собрании, отрекается от мужа и клеймит его как долго прятавшегося, а теперь наконец-то разоблаченного врага, или разделит его судьбу. Относительно таких жен имеется приказ Ежова: если своевременно на мужа не донесла — считать соучастницей его вредительской деятельности, восемь лет лагерей. Если имеются дети — отбирать, начиная с годовалого возраста. Постарше — тоже в лагерь, младенцев — в детские дома особого режима.

От такого рода известий в беседе художников наступала долгая пауза.

— Просто вакханалия какая-то. Безумие... — задумчиво произносил Серафим. — Нормальные люди не могут такое творить. Жены пишут доносы на мужей, мужья на жен, дети на отцов, отцы на своих детей... В ходу, в почете клевета на друзей, на самых себе близких... В душах людей словно открылись вулканы, бездны самой омерзительной дряни — и она хлещет наружу, затопила уже всех с головой...

— Ну, а Вероника? — спросил в одну из ночей своего друга художник. Это был самый трудный, самый болезненный для него вопрос. Вероника была его женой, большой, давней, всезахватывающей и непотухающей любовью. Познакомились они на первом курсе и сразу же стали неразлучны. Вероника специализировалась в области народного творчества, особенно увлекало ее изготовление кружев и вышивок. Оба они были членами комсомола, он — без всякого усердия и интереса, просто потому, что все вокруг были комсомольцами, так было принято, не вступать, отказаться — значило превратиться в белую ворону, навлечь на себя неприятности. Вероника с удовольствием активничала, участвовала во всем, куда звали, куда тянули: в художественной самодеятельности, в каких-то проверках и

комиссиях, была политинформатором для пенсионных стариков и старушек в многоквартирном доме, к которому ее прикрепили, пионервожатой у школьников младших классов. После окончания училища Серафима приняли в художественные мастерские исполнителем разного рода заказов, а Вероника осталась на прежнем месте, в училищных стенах, ей нашлась работа там. Он и оглянуться не успел, как она уже обзавелась партийным билетом, ее назначили заведовать учебной частью, она стала регулярно заседать в райкоме партии в разных комиссиях, а потом и в бюро. Пошел слух, что ее, возможно, возьмут в горком и не на какую-нибудь рядовую должность, а заведовать и руководить всей культурной жизнью города...

Серафиму, знающему уровень развития Вероники, ее кругозор, что и сколько она в своей жизни читала, ее суждения и оценки того, что существует и появляется в искусстве, такая должность для нее показалась невозможной, просто чья-то шутка или стопроцентная нелепость, нонсенс. Но сама Вероника несколько не сомневалась, что отлично справится с такой ролью, поведет культуру по верному пути. Выправит вредные и неправильные загибы и отсечет то, что, по ее мнению, надо решительно отсесть.

В частности, она собиралась запретить джазовые оркестры, игравшие по вечерам в садах и парках. «Это не наша музыка, — говорила она убежденно, а если ей возражали, то прибегала к цитированию Горького, его антиамериканских статей. — Зачем нам обезьянничать перед Западом, перенимать их растленные вкусы? Пусть они наши перенимают, здоровые, жизнеутверждающие. Разве это музыканты — эти джазисты, что у них за инструменты в руках, какие звуки! Мяукают, крикают, вопят, кривляются... Пусть «Катюшу» играют, какая замечательная, бодрая мелодия, как под нее весело танцевать!»

Если Серафиму было непросто спросить о Веронике, то Мурашову было так же непросто, затруднительно о ней рассказать. Он знал о трещине в отношениях его друга со своей женой, знал и о том, что все-таки друг его полностью к ней не остыл, и, скорее всего, это — никогда не случится. Вероника же Мурашову всегда не нравилась, а в последнее время он и вовсе испытывал к ней одну только антипатию. Мурашов долго молчал, потом все же заговорил, но замедленно, выбирая слова. Чувствовалось, что он говорил далеко не все, что знал и мог бы сказать.

— Вероника... Она, как всегда, в первых рядах, оправдывает возложенное доверие... Как представитель райкома выступает на горячих собраниях в разных коллективах, куда ее пошлют, клеймит, призывает... Выше бдительность, больше критики и самокритики, долой политическую близорукость!.. Провела чистку в нашем училище. Помнишь Мухину Антонину Павловну, старушку в пенсне, она нам древнее искусство преподавала? Так вот, теперь этой Мухиной в училище нет. А с ней убрали еще двоих или троих преподавателей. Не тот у них идейный подход к предмету своих лекций, не та классово-политическая направленность. А Мухиной всего полгода до пенсии оставалось. Теперь она безработная — и таковой останется. Тетка она знающая, ничего не скажешь, но кто ж рискнет ее на какую-либо работу взять с теми ярлыками, что на нее налепили: и политически близорука она, и подлинная марксистско-ленинская идеология у нее отсутствует...

— В мастерских у нас знают, что ты ко мне поехал? — спросил приятеля Серафим.

— Да ты что, конечно же, нет. Я в Боброве, на собачьей выставке. В газетах появилось объявление: в такие-то числа в Боброве выставка породистых собак с продажей щенков. Это объявление я вырезал, всем показал: выставка, продажа, еду за щенком, вы же знаете, как я давно мечтаю завести собаку...

— Ну, а мое долгое отсутствие как трактуется? Какие разговоры?

— Как прежде — на этюдах. Да по правде сказать — почти никто и не вспоминает. Такая катавасия, каждый занят самим собой, своими делами, заботами. Своими страхами.

— И даже Панков не интересуется мной?

— Не знаю. Может, интересуется. Но меня он про тебя ни разу не спросил. Ему сейчас тоже не сладко, себя надо спасать. Тронул он одного человечка, за выпивку, а тот кусачим оказался, сам на Панкова бочку: ты на себя оборотись, в твоём хозяйстве что творится — полный развал политучебы, за три месяца ни одного занятия! Коммунистическое воспитание коллектива в условиях обострения классово-борьбы — наиважнейшее дело, а ты хрен свой на него положил! Это с какой такой целью, позволь тебя спросить? Как это называется на настоящем партийном языке? Это тебя надо на собрании разбирать, а не меня, тебе политическую оценку давать. Я что, ну — напивался, есть грех, не отрицаю. Ну и что? Проплюсь — и опять я каков есть, моя рабоче-крестьянская личность чиста, вся на виду. А вот ты нутром какой — в этом еще хорошенько разобраться надо. И разберемся! Я тебе гарантирую, — разберемся! Панков аж побелел. Пьяная ахинея, Митька этот, столяр с подсобного цеха, едва на ногах стоит, а ведь не шутка — во весь голос, при людях. С такими обвинениями запросто можно вслед за другими загреметь...

Панков, парторг в мастерских, где работали Серафим и Мурашов, тощий длинноногий верзила, сутуло гнувший хилые плечи, с черной сальной гривой, свисавшей сзади на осыпанный перхотью воротник, с длинным, острым, как птичий клюв, носом, был похож на голодного грача, что ходят весной по чернозему за пахарем и жадно хватают выпавших им земляных червей. Он не был художником, ни к какому виду искусства не имел никакого отношения, никто не помнил и не мог бы объяснить, откуда и по какой причине появился Панков в художественных мастерских, какую имеет профессию, умеет ли он вообще что-либо делать своими руками, но кому-то из высокого начальства и для чего-то он был среди художников нужен и потому пребывал в их коллективе давно, много лет, и держался прочно. Если переставал быть парторгом, то становился председателем профкома или заместителем директора мастерских по хозяйственной части, а через какое-то время за неизвестные заслуги снова воцарялся во главе партийной организации.

Однажды, в начале лета, этот длинноносый обсыпанный перхотью грач зазвал Серафима в свой кабинетик, посадил в кресло перед столом, завел разговор о каких-то несущественных вещах. Серафим почувствовал, что приглашение в кабинет и пустяковый разговор — неспроста, это только мягкий подходец, а затем следует то, зачем, собственно, он и потребовался парторгу. И не ошибся. Так оно и оказалось. Покалякав о том, о сем пяток минут, Панков закрыл на ключ дверь, положил перед Серафимом лист бумаги и предложил написать о некоторых его товарищах по работе. Парткому известно, — с нажимом, вонзив в Серафима исподлобья колючий взгляд, произнес он, — что такие-то и такие-то часто собираются тесным кружком, выпивают, ведут разговоры о делах в деревне, о жизни колхозников.

Замечен в этой компании и Серафим. Так вот — надо подтвердить: в каких выражениях, кто именно критикует политику партии, проведенную коллективизацию. Один из участников этой компании нарисовал на вождя карикатуру: горят дрова, кипит котел, в котле корчатся человечки. На одном написано — Троцкий, на других — Каменев, Зиновьев, Рыков. Над ними повар в белом колпаке с черными усами, с черпаком в руке. И подпись: «Этот повар умеет готовить острые блюда». Слова Ленина о Сталине. Но то, что сказал когда-то создатель партии и государства, имел право говорить только он один, и не

должен повторять каждый, а сейчас, когда требуется тесное сплочение и единство, да еще с таким рисунком — это просто контрреволюция, охаивание и поношение вождя. Кто пустил по рукам эту карикатуру, кто ее автор? Партком это знает, но надо подтвердить. Серафим известен как честный, ничем дурным не запятанный человек, именно поэтому и обращается к нему партком за помощью...

Писать что-либо на листе положенной перед ним бумаги, подтверждать собранную Панковым информацию Серафим категорически отказался, сославшись на то, что никогда не сталкивался с антипартийными настроениями в кругу художников. Про карикатуру же он вообще слышит в первый раз: никто такого рисунка ему не показывал, ни в чьих руках ничего подобного он не видел.

Через несколько дней Панков позвал Серафима в свой кабинетик снова и повторил предложение — теперь уже напористо, заявив, что свое свидетельство Серафим все равно придется дать, но только беседовать с ним будут уже другие люди, в других стенах и другой обстановке. Серафим снова ничего не написал, а на следующий же день уехал из города, попросив передать начальству, что уезжает на этюды, и только одному Мурашову сказав — куда именно...

В последнюю ночь Мурашов решил спросить друга: долго ли он намерен вот так робинзонить: в брезентовой палатке, на берегу, с удочками, кормясь, в основном, собственным уловом? Надо возвращаться в город. Все равно рано или поздно придется возвращаться к оставленной работе, прежней жизни, людям, среди которых он все время жил...

— И что — смотреть в лица и думать: этот меня уже предал, что-то про меня написал и что-то наговорил, а этот, если потребуют, прижмут, не устоит, подпишет все, что подsunут, подтвердит, что прикажут... А ночами не спать, прислушиваться: вот едет, тарыхтит за окнами автомобиль. Уже не «ворон» ли? А если «ворон» — то за кем? Остановился как раз возле дома. За мной?.. Призовут на собрание. Не пойти — сразу же полезут в потроха: почему уклоняетесь, как это понимать? А прийти — значит, быть свидетелем, как хорошему человеку или сразу нескольким кости в муку дробят. Молчать — подло, а заступиться, выкнуть — тебя тут же самого в муку...

— Так уж тогда в деревню перебирайся, к той хозяйке, что тебе хлеб печет. Здесь же ты долго не выдержишь. Сентябрь на исходе. Еще малость — и снег повалит.

— Да вот думаю, что предпринять, — уклончиво ответил художник. — Что-то предпринимать надо...

Они отсидели в лодке еще одну утреннюю зорю, поймали по паре крупных окуней. Потом выпили у костра чаю с запахами мяты, молодой ивовой коры. А потом Мурашов связал свои удочки, уложил рюкзак, и в том же точно виде, в каком пришел к Серафиму гостевать, пошел в сторону деревни. Шесть верст до нее, там — на попутную машину, еще сорок верст по грейдеру до станции железной дороги, и часов через пять — город с громом и звоном проезжающих трамваев, гудками автомобилей, суетой людского муравейника. С его бурными страстями, которых не избежать, от которых никуда не скрыться, они достают даже вот на таком далеком пустынном озерном берегу, где стоит одинокая брезентовая палатка...

Серафим отдал другу всю рыбу, что наловили они вместе, завернув ее в широкие листья лопуха. Пусть привезет с собой в город, пусть подольше сохранится у него память об озерной воде, прозрачной до самого дна, о золотых, высушенных до звона камышах, что-то тихо шепчущих даже в полное безветрие, о свежести лугового воздуха с запахами бесчисленного множества трав...

В ковриге хлеба, принесенной Петькой в последний раз, было не меньше трех килограммов. Солидный запас. В одиночку художнику его хватило бы надолго. Но вдвоем с гостем они уничтожили ковригу полностью, и когда появился Петька, художник велел ему передать матери, чтоб прислала хлеба.

— По-моему, она вроде сегодня печь собиралась.

— Сегодня. Но теперь не будет, повестили, чтоб все в правление на собрание шли, осуждать председателя Василия Кузьмича.

— Чего-чего? — переспросил художник, полагая, что ослышался.

— Василия Кузьмича, председателя, осуждать.

— Осуждать? За что?

— Так он же арестованный. Ночью из района приехали и увезли.

— Что же он сделал?

— Враг народа оказался. Матерый вредитель. И еще он ставленник этого... ну, самого главного, что в области был. Которого еще раньше арестовали.

— Рябцева, секретаря обкома?

— Этого самого.

— Ставленник?

— Так парторг сказал. А ему из райкома сказали.

— Ну и ну!.. — только и смог выговорить художник. Василию Кузьмичу, председателю колхоза, было за пятьдесят. Седой, тяжеловатый, неторопливый. Два года назад его за успехи колхоза наградили орденом Ленина.

Хозяин он был действительно хороший. Все планы — и по зерну, и по молоку, и по развитию поголовья скота — выполнены раньше других колхозов в районе, по-честному, без приписок. Народ его любил: не самодур, не ругатель, не запивоха, как многие другие председатели, всегда помнит о людях, их нуждах. Оплата трудней у него самая высокая в районе, построил детский садик, отремонтировал школу; без препятствий в правлении можно выписать на топку солому, навозные кизы, сепарированное молоко с фермы. Не один раз бывал в Москве на съездах передовиков сельского хозяйства, гордость и слава района, портрет его не сходит с доски почета в районном центре. И теперь вот, значит, ставленник врага народа и сам заклятый враг...

Петька помог художнику подкачать воздух в резиновую лодку, ему нравилось действовать насосом, слышать, как шипит впускной клапан, нажимать рукой на резиновые борты и проверять — качать ли еще, или хватит, они уже тугие.

Как всегда, он захотел посмотреть новые рисунки художника. Пока гостил Мурашов, художник почти не прикасался к кистям и краскам, но пару этюдов все же набросал. Один был проработан детально, выглядел вполне законченным: береговая полоса, камыши, наполовину вытащенная из воды лодка, из нее торчат удочки, а на траву брошен улов — те самые окуни, что поймали они с Мурашовым.

— Ух ты! — сказал про окуней Петька с восторгом в глазах. — Как живые... Сейчас хвостами шевельнут...

Он захотел посмотреть и старые рисунки. Помялся в затруднении, поспел носом, и все же высказал одолевавшее его желание:

— А можно мне какой-нибудь рисунок на память взять?

— Можно, — сказал художник. — Ты когда домой стадо погонишь?

— Да сегодня поздно. Все же в правление пойдут, доить некому.

— Вот как стадо гнать — забеги и возьмешь. Отнеси домой всю папку. А дома выберешь, что тебе по душе.

— А папку-то всю зачем? — удивился Петька.

— Пусть она у тебя в избе будет. Тут сыро, бумага портится.

В оставшееся до вечера время художник лежал на траве возле палатки, подставив небу и солнцу лицо; солнце грело жарко, но чувствовалось, это последние его силы, последнее тепло. Скоро начнется пора, когда о солнце люди говорят: «Светит — да не греет...»

Потом он жег на костре сучья, хворост, что были припасены. В палатке среди его провианта еще оставались пшено и перловка, со стакан гороха, было и чем приправить, скрасить варево, но он ничего не варил, не собирался обедать.

Сизые нити дыма поднимались от кострища отвесно вверх, и только на высоте, вспухая пышными султанами, начинали плыть в сторону, почти не меняя очертаний. Художник долго смотрел на сизую дымную пряжу от истлевающих, с тихим, едва слышным звоном распадающихся на мелкие кусочки углей, на уплывающие клубы дыма, несущие в себе очертания каких-то фигур, точно все они только что были какими-то загадочными реальными существами, вели какое-то бытие, но вот оно пришло к концу, исчезает и уже никогда не повторится. И никакой памяти, никакого следа не останется от этих существ в земном мире с его животворным солнцем, зеленью лесов и трав, всегда таинственной, непонятной Лунной, ночными, еще более таинственными, звездами...

Жизнь — великая тайна, кто знает, может быть, вот так же улетают с Земли в простор Вселенной души людей, завершивших свой краткий земной срок, только никому этого не дано видеть...

В косых лучах опускающегося солнца художник стал торопливо собираться. Вынул из лодки удочки, прислонил их к палатке. Вытряхнул на траву из консервной банки неиспользованных червей, которые сейчас же стали зарываться в землю. Пусть живут, плодятся, радуются своему существованию. Счастливые, у них совсем другой мир, ни в чем не схожий с человеческим, есть чем быть довольными, есть чему радоваться...

Столкнув лодку с береговой полосы на воду, он шагнул в нее, сел на резиновую перемычку между бортами, и, лицом к озеру, действуя парой весел в уключинах, поплыл в его ширь, серебристую пустынную безбрежность.

Он плыл долго, а когда вместе с лодкой повернулся к оставленному берегу — увидел только рыжую каемку камышовых зарослей. Где-то за ними осталась его палатка, рассмотреть ее было уже невозможно. Вдали, за луговиной, тянулась возвышенная холмистая гряда. Солнце уже опустилось за нее, гряда выглядела плоской лиловой стеной, небо над нею пылало расплавленным золотом, а выше в нем разливалась нежная зеленца; в небесном куполе над головой густела синь, и в ней снежинками посверкивали уже проступившие, редкие звезды.

Художник опустил руку за борт. Вода показалась тугой, плотной, как ртуть, обожгла холодом.

Отсюда, на расстоянии километра до берега, да еще в одежде, не доплывет ни один пловец. А уж в такой, почти ледяной воде, и подавно... Через несколько минут она превратит кровь в сосудах в вязкий вазелин, парализует сердце.

Художник достал из кармана куртки складной нож, бывший ему много лет верным спутником и помощником. Этим ножом он подтачивал свои рисовальные карандаши, вырезал из тростника дудочки, а из орешника — узорные палочки, чистил пойманную рыбу, картошку на уху, на пшенную похлебку. Раскрыв его, он ударил лезвием в тугой борт лодки. Зашипел воздух, хлынул из резинового нутра.

Больше от художника ничего не требовалось, только сложить руки. Он посмотрел вверх. Звезды прибавлялись. Даже проступила, зажглась крохотная блеска в ярком золоте над черно-фиолетовой холмистой грядой.

Когда художник был маленьким, еще ребенком, отец показывал ему на небе

звезды и называл их имена. Все они были звучные, как музыка. Про одну из них отец сказал: это Альтаир. Ты родился под вечер. Из родильного дома прибежала мама с сестрой и сказала об этом. А я мыл в саду дубовые бочки. В эту осень случился богатый урожай антоновки, и я хотел намочить побольше яблок. На всю зиму. И вот — известие: мальчик! А мы с мамой как раз мальчика и хотели! У меня и руки, и глаза сами собой к небу: господи, услышал наши молитвы! А в небе — Альтаир. Вроде еще не время ему — но он уже сверкал. Словно в твою честь, по случаю твоего рождения. Вон он, видишь, голубой, яркий. Звезда первой величины, таких в небе немного. Ты запомни эту звезду. Это твоя звезда...

Художник не знал, какая звезда зажглась в расплавленном золоте над черным силуэтом далеких холмов. Отец, сельский учитель, увлекался астрономией, смотрел по ночам в телескоп. Но сын не перенял его знаний. Может быть, в небе горел тот самый Альтаир, что когда-то приветствовал его появление...

Василий Белокрылов

Белокрылов Василий Алексеевич (1938–1996). Прозаик, публицист. Публикуется с середины 1960-х годов. Яркий представитель «деревенской» прозы. Член Союза писателей СССР с 1972 года.

У СЕБЯ ДОМА

В. Черниковой

— За огородами, внучек, сплошь, помню, кислица была, терники, а подальше чуть, где голызины теперь, дерева росла. А уж под кручью...

Бабка вздохнула, сожалеючи покачивала головой и на миг прикрывала глаза, видя давнее, изжитое, но в памяти такое же текуче-неизбывное, как вода в Дону...

Анатолию она вовсе не бабкой, а прабабкой была, но звал он ее бабой, бабушкой, бабулей, потому как при ее жизни и слова-то такого — прабабка — не знал, да и нянькалась она, возилась с ним дни напролет, не в пример иной истинной бабушке.

Будучи еще мальцом-несмышлеником, до легкого испуга удивлялся он, если слышал, как старушки, завидя их с бабкой на скамеечке у ворот, звали: «Митревна! Да иди ты с нами хоть часок посиди!»

Он встревоженно замирал и заглядывал ей в лицо, не понимая, как это его бабушку, бабулю зачем-то Митревной называли.

К старушкам, чтобы не обидеть их, они шли, но долго с ними не засиживались.

— Ой! — посидев, спохватывалась бабка. — Пойду-ка я, девки, чеборка сорву, — говорила она старухам. — После дождичка в самую пору он вошел, да и цикорек теперь силу набрал...

Редко когда бабка ходила с ним по улице. Чаще вела по стежке через огород на выгон, по выгону — к круче, где и усаживалась в ложбинке над самым урезом обрыва. Внизу в тихую погоду покоился Дон.

Вот тут-то и начиналось!

— Под кручью, внучек, — умиляясь дорогим ее сердцу воспоминаниям, рассказывала бабка, — под кручью и липняк, и ольховники росли, и тополевых пород дерево — белый да черный тополя. Черный у нас осокорем зовут. На белом не кора, а прямо кожа девичья — такая она тонкая и нежная. А у осокоря, у этого

кора толстая, шершавая, с накрапами черными и, как бородавки, наросты у него по коре...

Вряд ли смог бы он отличить тогда белый тополь от черного, да и неважно это для него было. Успокоительный бабкин голос, казалось, втекал в него, и вместе с ним проникало во все его существо что-то такое, что было куда значительнее распознавания белого и черного тополей. То было сладостное и чуть жутковатое ощущение беспредельности того, что начинали видеть его глаза, что, волнуя, уже брезжило в нем смутным желанием определить свое место в бесконечности жизни.

— Не голыми, внучек, были кручи, а лес держался на них, — неспешно вела рассказ бабка. — Под селом еще туда-сюда... Кто на колья, кто на жердины лесинку срубит, чтобы за Дон не плыть, но обредили, обнизили лесок. А ниже села меня, помню, прямо жуть брала, когда груши ходили трясти, — такой, внучек, лес стоял. Глянешь вверх, с берега-то, и оторопью тебя так и окинет. Вот-вот, ждешь, зеленой тяжестью тебя накроет. Кручи-то — крутизна ведь страшная, и вот мнится, что заваливается лес, падает и уже в воздухе завис. Небушко высоко-высоко, а шпильки меловые в зелени этой, как мятные пряники, белеют...

Бабка задерживала вздох, не глядя на него, находила рукой его голову и прикрывала макушку ладонью.

— Груши, внучек, всем миром ходили трясти. Бог знает, сколько их меж ярами по дубняку да вязам росло! Не считал их никто. Яры-то эти и потеперь Грушевыми называют, а леса и в помине давно нет... — Бабка вздыхала о чем-то своем, продолжала: — Так вот, никто их, внучек, эти грушины не считал, и охраны никакой над ними не было. А ближе к Покрову, как только лист на дереве маломало поредел, опал, обсказывают по дворам: «Бабы, девки! Назавтра иди груши бить...» И вот на другой день мужики, само собой, подворно на подводах верхом едут, а бабы с девками — такая уж тогда доля женская была — эти своим ходом, бережком. На место пришли, а там уже на каждую улицу, честь по чести, своя доля отведена...

Это было для него совсем уж чудом — грушевые деревья на меду! Сады в селе тогда только-только начинали разводить. Сразу после войны их повырубали, и хотя годы после войны прошли, но все равно не до садов было. Больше под картошку огороды занимали.

А груши он любил, но в селе они редко у кого водились. Груши под осень — вот-вот в школу идти — привозили из степных хуторов. Покупали их за деньги, брали в обмен на рыбу. Отец хоть и безногий был, но рыбу ловил, и засаливали ее на зиму много. И вот доставала бабка из погреба широченных чебаков, заворачивала их в холстину и шла к тетке Акульке, у которой обычно останавливались смуглые хохлушки из степных хуторов. Домой бабка приносила ведро-два груш...

— А за Грушевые яры, внучек, почти никто и не ходил. Боялись, — с напряжением в голосе продолжала бабка. — Там, говорили, еще в татарские времена долбленная лодка с золотом была закопана, а когда я маленькой была, там Акимка Бердан себе пещеру вырыл...

В этом месте бабкиного рассказа на Анатолии словно кто рубашонку до самых плеч на спине заголял — таким холодком прохватывало. «Могилу вырыл...» — слышалось ему почему-то в последних словах.

— В пещере этой Акимка Бердан и скрывался. Наш он, местный был. А Берданом за то прозвали, что с берданкой — ружьецо такое было — по ночам шкочил. Разбойный был человек. Бычков, какие от стада отбились, Акимка прирезал, запоздалых угольщиков по дороге из города, случалось, перехватывал, богатеньких поборами донимал. Не дюже чтоб, но что ему надо, то брал. Чаще через пастухов наказания свои передавал. Вылезет, пастухи-то говорили, из яра и пальчиком к себе зовет: иди-ка, мол, сюда. И наказывает: скажите, мол, Гришке Нечаеву, чтоб

его баба или из мальцов кто назавтра к вечеру шмат сала с хлебом, меду и рубаху со штанами под камень на Лысом мысу положили. Не то, грозит, я Гришке ноздри набок заверну! Скажет вот так, и никуда не денешься, кто-нибудь из Нечаевых гостинец Бердану на Лысый мыс и несет. Да тайком, чтоб не увидел кто, иначе Гришку же потатчиком Бердана объявят, а Гришка крупорухке и мельнице хозяин, негоже ему к Бердану касательство иметь. Так вот Бердан и озоровал. Пытались его словить, но так и не словили. Где его пещера — никто не знал, а сам он, по слухам, от пули да опасных людей заговорен был...

Бабка умолкает, задумывается и, словно преодолев в себе что-то вздохом, как тайну, доверяет:

— А дед мой, не тем будь помянут, царство ему небесное, тот по молодости тоже с нехорошими делами по ночам на степные хутора ходил. К деду, вышло, Акимка Бердан и наведывался. Проснулась я как-то ночью и слышу: гу-гу-гу, гу-гу... Гляжу, с дедом какой-то мужик за столом сидит. Четвертинка водки меж ними. Мужик деду и говорит: «Скушно, дядь. Особливо днем. Ночью-то я вольно хожу...» Мать моя тоже, чую, не спит, слушает. Потом мужик стал у деда пороха просить. Дед отказал. И посоветовал: «Бросай ты, Аким, баловство! Подавайся туда, где тебя не знают, и живи, пока срок наказания пройдет...» Тут и поняла я, кто у нас был. Узнала, и страшно сделалось. Перед глазами Акимка Бердан так всю ночь и стоял. Лицо узкое, жесткое и сам сухой, верткий, как из прутьев свит...

Позже Анатолий узнал, что Акимка, будучи в солдатах, за какую-то провинность был осужден, но бежал; узнал, что никакой пещеры он себе не рыл. Пещеры были задолго до него. Появились они в меловых кручах больше чем за полтора десят лет до Бердана, и копали их беглые монахи Задонского монастыря. Но тогда, слушая бабу, он испуганно жался к ее ногам, а ночью не спал, видя эту пещеру, похожую на глубокую вымоину в круче напротив их пристани. В этой вымоине после полой воды мужики варили в ведрах смолу и смолили лодки, но именно такой представлялась ему пещера Бердана. А сам Бердан сидел, опустив к коленям голову, глядел с высоты кручи на Дон и без конца тянул: «Скушно...»

— Бердана-таки не то словили, не то он по совету деда куда-то исчез, а потом и лес пропал, — с горечью продолжала рассказ бабка. — Году этак в третьем или четвертом, перед тем как бунты против богатых начались, зачастил в наше село какой-то Козлов, из купцов. Я уже балаяхная, годков шести была, когда этот Козлов на бричке по улицам раскатывал. К слову сказать, не он козлом, а мужики наши козлами оказались. Как уж там было, не знаю, но стал он к лесу, что по кручам, приценяться, а лес-то не казенный был, а миру принадлежал. И сторговался, сукин кот! Выборных миром мужиков водкой напоил, выгод всяких наобещал, те и стали другим торочить: на кой, мол, черт нам этот лес, только берега, дескать, застит. А на деньги, что Козлов за лес давал, порешили Дон в узких местах гатями гатить, чтоб, значит, потек он по-над селом, где в те времена от Дона рукав метров в пятнадцать шириной тянулся. По протоке этой байдаки, водяные мельницы, стояли. Плотины лет семь, если не больше, строили, ну а лес козловские наемщики в тот же год стали кромсать. К ним, козловским, и наши подпряглись. Заработным делом оказалось — лес искоренять. Валили его подряд и на уголь жгли. В городах, стало быть, нужен был уголь, и куда только тот уголь не везли! Но больше в безлесные места, на юг, по степям, путь держали. Так лес на кручах и пропал, извели...

Восьмидесяти семи лет умерла прабабка. Но рассказы ее не забылись.

Анатолий грезил лесами по придонским кручам.

Взрослел, прикидывал, бывая на рыбалке, где бы он деревья рассадил, чтобы меловые шпиль-голяки прикрылись зеленью. Занялся даже чепуховым делом,

как сказал ему сосед Николай — человек молчаливый, жадный до работы и до всего того, что можно было завезти и занести во двор.

Как-то пришла Анатолию мысль рассадить барбарис по кромке кручи, куда он по вечерам ходил полюбоваться Доном. Барбарис (в селе его называли кислицой, кислицей) в обилии рос ниже села, по скатам шпилей и оврагов. Туда он и отправился с лопатой после занятий в школе.

Выкопать барбарис оказалось делом нелегким: метров на пятнадцать расплозились во все стороны корни кислицы! Стараясь их не разрубить, не повредить, часа три промаялся с маленьким кустиком. На второй не хватило духу, но, чтобы не идти назад с одним лишь саженцем, решил выкопать березку, думая, что с нею управится легко. Но и с березкой попотел. Как и у кислицы, корни березы были неглубоко, вширь же захватывали порядочное расстояние да еще переплетались с корнями других берез. Тут впервые узнал он секрет того, как приспособляются деревья на мелу расти. Они не пускают корни вглубь, а разбрасывают их вширь под пластом дернины, питаясь соками земли за счет длины корней...

Вот тут-то, когда он притаптывал землю вокруг посаженной березки, позади услышал кашель. Николай подошел, покривил в усмешке рот, хмыкнул и сказал:

— Чепуховым ты делом занимаешься, парень!

— Это почему? — обиженно спросил он.

— А потому, что на лысой голове два волоска — смех, а не волосы...

Через два дня барбарис повалили овцы, оставив на его колючках шерсть; вокруг же березки земля была овцами густо примочена, усеяна катышками. А через день березка совсем исчезла: ее кто-то выдернул...

К концу десятого класса Анатолий о лесе уже кое-что знал. Попалась ему как-то в школьной библиотеке книга Огнева «Жизнь леса» с фотографиями и рисунками зверей и птиц. Боясь обнаружить радость, Анатолий попросил библиотекаря записать книжку на него и держал ее дома добрых полмесяца. Нашлась потом в библиотеке и другая книга — «Как растут новые леса» Семенов-Тянь-Шанской. С особым интересом читал он о байрачных лесах, которые, он был уверен, держались бы еще и в их местах, не будь они срублены предприимчивым куццом Козловым.

Рассказы бабки о лесе на меловых придонских кручах не давали ему покоя и все три года учебы в лесном техникуме. Он лишь о том и думал, как бы ему попасть на работу в свой лесхоз. И что только ему не вспомнилось! Много из того, что он делал, было скорее чудачеством, но именно эти свои чудачества он и вспоминал.

В одну из весен, в большую полую воду, в лесные озера непонятно откуда попал белый карась. Узнали о нем уже под осень, когда карась вымахал почти в полукилограммовых ломтей-рыбин. Брался он на червя, на хлеб, на мушек — чего бы ни наживили на крючок.

Анатолий не ходил на большие озера, а облюбовал одну из ямок, как называли сельчане небольшие, но глубокие, плотно затененные деревьями и подлеском озера. Карась оказался и в ямках, хотя и было его меньше, и цветом чешуи выглядел он чуть потемней.

Дорога к озерцу была узка, давно заброшена. Перетянутая нитями паутины, она так затравенела, что только шорохом нападавших листьев отзвывалась на шаги.

Он шел не спеша, изредка срывал ежевичины по обочинам и никак не мог свыкнуться с тишиной, каким-то сладостно-тревожным покоем и испытывал желание стать неприметным, раствориться в тиши, слиться с запахом листвы, с неподвижностью деревьев, в молчаливости которых улавливалось что-то человечески живое...

Услышав впереди женские голоса (он знал: шли с вырубок, где собирали ежевику), Анатолий, чувствуя ненужность встречи с людьми, свернул с дороги и, отыскав чистую круговину, оставшуюся после когда-то спиленного дуба, уселся у пня. Было так тихо и хорошо, что он решил подольше посидеть. Разложив на пне сверток с яйцами, помидорами и сливами, стал есть. Первая же сливовая косточка, когда он к сливам приступил, дала толчок какой-то пока неясной мысли, и он не отбросил косточку, а вглядываясь в нее, подержал, поподбрасывая на ладони и неожиданно понял, что и сливовые косточки он обязательно должен здесь рассадить и место это запомнить. Охваченный волнением при мысли, как придет сюда, когда сбудет вешняя вода, он уже видел пробившиеся сквозь землю и прель листьев зеленоватые с прожелтью побеги будущих сливовых кустов. Покончив с последней лункой, он долго сидел, взволнованно притихший...

Сливы, конечно же, не взошли...

И вот теперь он, молодой специалист, лесовод, снова дома. За три дня до начала работы в лесхозе обошел все памятные места, яруги исколесил, по шпильям поднимался, межовражные ложбины исходил, прикидывая, какая где порода может прижиться. Много раз сам удивлялся, что на той самой круче, где когда-то Акимка Бердан скрывался, отыскал он среди орешника и берез робко прижавшиеся к сползшим сверху меловым валунам три маленькие сосенки. Сначала подумал, что занесла сюда какая-нибудь птица сосновую шишку и расклевала здесь, выронив несколько семечек, но, увидев, что иглы на сосенках почти круглой формы и чуть тронуты синью, обомлел. Он понял, что перед ним реликт — меловая сосна, которая на всем протяжении Среднего Дона давно исчезла и сохранилась лишь в одном месте, где-то под Нижним Карабутом, как говорили им в техникуме. Надо, конечно, проверить, уточнить, а пока...

И совсем непрощено проплыло в памяти одно за другим: бабка, ее неспешный рассказ, пахнувший чебрецом выгон, где когда-то росла дреза, и меловые кручи, местами словно бы простроченные травяной зеленью.

...Долго в этот вечер стоял Анатолий на круче, смотрел на подернутые вечерней дымкой пойменные леса, на крутые скаты правобережья, изрубцованные множеством теклин, и не пытался унять щемливую тревогу, охватившую его от сознания того, что не гостем, не охотником, не рыбаком и не любителем природы пожаловал он в родные места...

Иван Евсеенко

Евсеенко Иван Иванович (1943–2014). Прозаик, публицист. Главный редактор журнала «Подъём» (1997–2006). Член Союза писателей СССР с 1976 года.

БЕЗУТЕШНЫЙ ГЕНИЙ

На перекрестке трех дорог недалеко от города Курска в деревне Новожиловке объявился гений. В какой области человеческих деяний он был гением, никто точно не знал, но все чувствовали, и, главное, чувствовал он сам, — что гений, человек незаурядный и отмеченный Богом. Звали его, как и водится в России, Ваней.

Где бы ни появлялся Ваня, всюду оставалась печать его гениальности и величия. Если он приходил в контору колхоза к председателю правления Василию Ивановичу Дерюгину, то останавливался еще у порога и тыкал в него пальцем:

— Вот сколько раз ты бывал в Москве?

Василий Иванович, человек твердый, решительный, под его указующим перстом терялся и, словно школьник, отвечал:

— Трижды.

— А я, — ликовал Ваня, — считай, из Москвы не вылезаю.

Василий Иванович конфузился окончательно, отводил взгляд в сторону, чувствуя себя обреченным и никому не нужным, хотя точно знал, что Ваня дальше районного центра никуда уже лет пять не выезжал.

Закончив разговор с председателем, Ваня переходил через коридор в бухгалтерию и точно так же тыкал пальцем в главного бухгалтера, мужчину пожилого, стареющего:

— Ты сколько раз прыгал с парашютом?

— Нисколько, — чистосердечно признавался главный бухгалтер. И тоже конфузился, и по старой привычке начинал щелкать костяшками на счетах, забывая, что рядышком стоит новенький заграничный компьютер.

— А я восемнадцать раз! — добивал его Ваня и хлопал дверью.

Где и когда Ваня мог прыгать с парашютом, для всех оставалось тайной. В армии он не служил. Во-первых, потому, что был одним-единственным сыном у больной и довольно уже престарелой матери, а во-вторых, потому, что, по слухам, самым точным и достоверным, таких способных и гениальных людей в армию не берут. Говорят, у военных есть на этот счет какой-то тайный, секретный приказ, запрещающий брать гениев в армию. Они там могут повредиться умом и навсегда утратить свою гениальность. А государство допустить такого расточительства не может...

И тем не менее, все верили, что Ваня с парашютом прыгал и даже, может быть, не восемнадцать, а значительно больше раз, но из врожденной скромности это утаивает.

Если же собиралось общее собрание колхоза, Ваня опять был тут как тут. Дождавшись, пока Василий Иванович закончит доклад, он первым поднимался на трибуну и, выбросив далеко вперед твердую, непреклонную руку, озадачивал колхозников:

— Сергей Александрович Есенин! «Анна Снегина»! — и начинал декламировать:

Село, значит, наше — Радово,
Дворов, почитай, два ста.
Тому, кто его оглядывал,
Приятственны наши места.

Те, кто помоложе и пообразованней из дождавшихся кино, пробовали остановить его, кричали с мест:

— Кончай, Ваня!

Но те, кто постарше и посдержанней, обрывали молодежь:

— Дайте послушать!

Ваня пережил минуты три-четыре, пока народ успокоится, а потом продолжал дальше без роздыху и перерыва целых полтора часа до самой последней печально-возвышенной строчки, которая в его устах, между прочим, почему-то звучала с укором:

Далекие милые были!..
Тот образ во мне не угас.
Мы все в эти годы любили,
Но, значит, Любили и нас.

После такого чтения Василий Иванович нередко добровольно отказывался от заключительного слова. О кино же и вообще не могло быть речи. Это понимали даже молодые и образованные. Народ расходился по домам грустный и обеспокоенный, не зная, чему больше дивиться — то ли необыкновенной этой истории, ко-

торая в старые годы вполне даже могла произойти и в их селе Новожиловке, то ли цепкой, гениальной Ваниной памяти...

За свою короткую двадцатитрехлетнюю жизнь Ваня работал в самых разных местах. Нанимался учителем пения в новожиловской восьмилетней школе, но вынужден был оттуда уйти, потому что директор не понял его, когда Ваня начал разучивать с первоклассниками знаменитую песню:

На просторах Родины чудесной,
Закаляясь в битвах и труде,
Мы сложили радостную песню
О великом друге и вожде.

Потом он работал в районном центре инструктором по стрельбе в местном отделении ДОСААФ. Но опять оставил выгодную эту и престижную службу, поскольку, говорят, на спор с бывшим заведомом райкома партии, своим односельчанином Алексеем Степановичем Воскобойниковым, с расстояния в пятьдесят метров стрелял и промазал в значок «50 лет в КПСС».

После этого Ваня года два вообще нигде не работал, а разводил дома какую-то особую породу уток, кормил их отборным пророщенным зерном. И опять не очень удачно, потому что по весне утки вдруг поднялись на крыло и исчезли в неизвестном направлении.

Ваня немного погоревал, искал уток в соседских дворах и на дальних городских дачах, а потом плюнул на все и ушел работать в колхозную пожарку. Неожиданно для новожиловцев именно здесь он наконец-то обрел свое настоящее призвание. С его приходом в пожарную часть дело с пожарами в Новожиловке заметно наладилось.

Вначале сгорел двухэтажный коттедж председателя колхоза Василия Ивановича Дерюгина, потом родовой дом со всеми надворными постройками главного бухгалтера, потом дача Алексея Степановича Воскобойникова, хотя и стояла она поодаль от села на берегу реки. После этих знаменитых пожаров стали гореть усадьбы и подворья поменьше, поскромнее: завхоза, кладовщика, директора школы, который когда-то не понял Ваню. На пожары у Вани было просто какое-то чутье. Иной раз он приезжал на место возгорания со всей своей надежной дружиной даже минут за десять-пятнадцать до начала стихийного бедствия.

Перепуганный хозяин, глядя, как пожарный расчет разворачивает рукава и шланги, выбегал со двора и пробовал остановить несчастье:

— Так вроде бы не горит, Ваня?!

— Ничего, — успокаивал его тот. — Должно бы загореться.

И, действительно, не успевал хозяин сбегать в дом за бутылкой водки и какой-никакой закуской, чтоб откупиться от дорогих и столь предупредительных гостей, как его подворье загоралось со всех четырех сторон. В сердцах хозяин сам хватался за брандспойт, но Ваня останавливал его:

— Не спеши, дай разгореться, а то здесь и тушить нечего. — Когда же пожар наконец разгорался во всю свою силу и мощь, грозясь перекинуться на другие подворья, Ваня нехотя поднимался с бугорка, откуда любил наблюдать непревзойденное это зрелище и подавал команду расчету:

— Ну, теперь можно и попробовать!

Пожарники дело свое знали отменно, не щадили ни себя, ни машину, включали брандспойты на всю мощность и в считанные минуты разносили в щепки остатки стен и заборов, которые по какому-то недоразумению пожар пощадил...

На тяжелой этой пожарной должности авторитет и гениальность Вани еще больше выросли и укрепились. Даже те из горделивых и высокомерных односельчан,

которые в прежние годы относились к Ване с некоторым предубеждением, теперь смирили свою гордыню и при встрече с Ваней на всякий случай снимали шапку:

— Здравствуйте, Иван Данилович! В гости не собираетесь?

— Да нет пока, — прикидывал что-то в уме Ваня и шел себе дальше, оставив счастливого односельчанина стоять посреди дороги с обнаженной головой...

* * *

...И вдруг Ваня стал задумываться. Выйдет рано поутру из дому и вместо того, чтоб немедленно отправиться в пожарку, сядет на крылечко, опустит низко голову и в молчании и одиночестве сидит так вот и час, и другой, и третий...

— Думаешь все? — осторожно затронет его кто-либо из прохожих.

— Думаю, — ответит Ваня, вздохнет и опять обронит на грудь свою многострадальную голову. — Надо же кому-то и думать...

Мать его стала не на шутку тревожиться, переживать. Несколько раз подступала к нему с заветным своим разговором:

— Может быть, тебе бы жениться, Ваня? — Но он неизменно отвечал на это:

— Пока еще рано, — и опять задумывался, да так крепко, что иной раз даже не мог подняться с крылечка, и его приходилось уводить в дом силой.

Слух о том, что Ваня стал задумываться, быстро побегал по всему селу и даже по всему району. Народ притих и стал ожидать чего-то непредвиденного, потому что когда задумываются такие люди, как Ваня, обязательно случается что-либо непредвиденное, а может быть, даже и страшное...

Но, к счастью, ничего особо уж непредвиденного не случилось. Ваня посидел на крылечке еще несколько дней, несколько недель, все такой же молчаливый и неприкаянный, а потом вдруг взял и исчез из села...

* * *

...Не было его ровно три года. Изболевшаяся душою мать подавала на розыск, ходила к разным гадалкам и ворожеям, обращалась даже за помощью к Василию Ивановичу Дерюгину и Алексею Степановичу Воскобойникову. Но все было напрасно. Ваня словно в воду канул, не подавал о себе никакой весточки и никакого знака. Кое-кто из новожилковцев втайне, наверное, даже подумал, что Ванины косточки давным-давно уже сгнили где-либо в дальних местах и странах...

Но все-таки Ваня вернулся. Ранней весной, когда только начали пахать огороды, он неожиданно появился возле родительского дома в линялом, выгоревшем донельзя на солнце полувоенном обмундировании, с таким же линялым полуармейским рюкзаком за плечами. Правая рука у Вани была на перевязи.

Мать, завидев его, выскочила из дома в одной кофточке, заплакала, обняла его, по-матерински горестно дивясь, что голова у Вани наполовину седая. Он обнял ее тоже нежно и сильно, прикрыл от ветра и сказал так, как в былые годы никогда не говорил:

— Простудитесь, мама.

Их тут же окружили соседи и подошедшие на шум даже из дальних домов односельчане. Глядя на Ванину израненную руку и военную форму, кто-то не выдержал и спросил:

— Ты что же на войне был, Ваня?

— На войне, — тихо и печально ответил тот.

Все ожидали, что сейчас он по прежней своей привычке начнет рассказывать да, может, немного и привирать о войне, на которую, Бог знает, как его занесло, о своих там геройствах и подвигах. Но Ваня ничего рассказывать не стал, а лишь

умылся из материнских рук, побыл немного в доме и снова вышел на свое излюбленное место, на крылечко, сел на самую нижнюю ступеньку и задумался.

Никто из прохожих и проезжих теперь не останавливался возле него, не затрагивал, не интересовался, думает ли Ваня о чем или сидит просто так, греется на майском утреннем солнышке. Все обходили его стороной, оставляя Ваню в одиночестве и молчании, кто из опаски и предубеждения: как-никак человек был на войне и поди догадайся, что хранится у него в вещмешке или за широким солдатским ремнем, — а кто из деликатности и сомнения, помня еще, что Ваня все же таки житель необыкновенный, гениальный и лучше его по мелочам не беспокоить...

Когда рука у Вани немного зажила, он изредка вроде бы начал отвлекаться от своих дум, брался за топор и пилу и принимался ремонтировать то совсем повалившиеся заборы, то сараюшки и повети, то крышу родительского покосившегося дома. Но и здесь у него сплошь и рядом получалась заминка. Вдруг Ваня останавливался на замахе топор или молоток, откладывал в сторону пилу и гвозди и опять крепко задумывался, сидя где-нибудь в тенечке за забором или на крыше дома.

Несколько раз к нему незаметно подходила соседская шестнадцатилетняя девочка Настенька в беленьком специально для этой встречи выглаженном платице, смотрела на него снизу вверх и спрашивала:

— Может, слезешь?

— Зачем? — удивлялся Ваня и смотрел вовсе не на Настеньку, не на ее платице, а куда-то поверх деревенских крыш в поля и небо...

Настенька совсем не по-детски вздыхала, печалилась, стояла еще несколько минут возле Ваниного дома, а потом круто поворачивалась и через сад бежала к себе во двор, чтоб больше до самого вечера нигде уже не показываться...

Так промелькнули весна и лето. А осенью с первыми дождями и непогодой Ваня исчез из села во второй раз...

* * *

...И опять его не было три, а может, даже и четыре года. Теперь его мать на розыск не подавала, не ходила ни к гадалкам, ни к ворожеям, ни даже к Василию Ивановичу Дерюгину, за эти годы заметно раздобревшему и построившему себе новый трехэтажный коттедж, рядом с новой же дачей Алексея Степановича Воскобойникова на берегу реки. Не ходила и к самому Алексею Степановичу, который ныне живет в областном городе и служит там каким-то новым большим начальником. Скрепив сердце, она стала терпеть и ждать неприкаянного своего Ваню домой.

И он действительно вернулся. Но на этот раз не в военном обмундировании, а в какой-то серенькой фуфаячке с не споротыми еще тайными отметинами и в грубых рабочих ботинках. Мать опять выбежала к нему простоволосая, заплакала, запричитала, крепко прижала к своей груди его совсем уже седую голову. А он, опять прикрывая ее от ветра и холода, сказал так, как никогда не говорил в детские и юношеские свои годы:

— Не плачьте, мама. Не надо...

Односельчане, как и в прошлый раз окружившие его плотным кольцом, настойчиво поинтересовались:

— Ты, что же, в тюрьме сидел, Ваня?

— В тюрьме, — печально улыбнулся тот.

— Убил кого или как? — не унимались односельчане.

— Нет, не убил.

— Так за что же тогда сидел?

— А за что можно сидеть в России, — поднял на них вопрошающие глаза Ваня и сам же ответил: — За правду.

Больше он ничего не сказал, обнял мать и ушел с ней в свой опять крепко порушившийся дом.

Несколько дней Ваня нигде не показывался, отходил душой и телом от долгих лет заточения, а потом, переодевшись в свое домашнее одеяние, стал наводить на подворье кое-какой порядок: ремонтировать сараи, заборы и изгороди. Когда же он взобрался на крышу, чтоб поменять там подгнивший конек, к нему, как и в прошлое возвращение, подошла Настенька. За четыре года, пока Ваня сидел в тюрьме, она превратилась из хрупкой длинноногой девчонки в красивую, но почему-то очень печальную женщину. Одета Настенька теперь была не в белое почти воздушное платье, а в обыкновенную рабочую юбку и кофточку, отчего казалась гораздо старше своих двадцати лет.

Ваня не стал дожидаться, пока она его окликнет, а сам спустился с крыши и сел рядом с Настенькой на лавочку. Она нежно взяла его за руку, несколько мгновений подержала худую, изможденную Ванину ладонь в своих очень горячих легонько вздрагивающих ладошках, а потом вдруг сказала просто и обыкновенно, как могла сказать только она:

— Так, может, женишься на мне?

— Женюсь, — неожиданно легко отвлекся от своих дум и дал согласие Ваня.

Через неделю они отнесли в сельсовет заявление, а еще через неделю сыграли свадьбу. Настенька опять достала свое белое платье, надела на голову высокий украшенный бусинками и разноцветными блестками кокошник и сидела рядом с Ваней очень счастливая. Он тоже был счастлив, обнимал Настеньку за плечо, пробовал петь песни и даже плясать на радость гостям и матери. Но потом он вдруг снова задумался, оглядел все застолье каким-то тревожным, непонимающим взглядом, посмотрел с сочувствием на мать и Настеньку и отпросился у них в сад покурить. Там он действительно закурил, постоял минуты две-три возле старой засыхающей груши и неожиданно для самого себя в третий раз исчез из села...

* * *

...Снова побежали год за годом, а от Вани не было ни единой весточки, ни единого письма. Мать терпела, выглядывала его за селом на перекрестке дорог, а Настенька, когда та встречалась ей, неизменно говорила:

— Не жди его, он не вернется...

— Но вы же ждете? — укоряла ее Настенька.

— Так я — мать...

— А я — жена, — отвечала ей Настенька. — Я дана ему от Бога.

И Ваня, словно подслушав их разговоры, вернулся и на этот раз. Пришел он под вечер в каком-то совсем обветшалом, наспех во многих местах залатанном одеянии, босой и, чувствовалось, опасно болен. В руках Ваня держал сучковатую березовую палку, заменявшую ему посох, а через плечо у него висела холщовая, тоже залатанная сумка...

Мать по своей старости и немощи выбежать к нему навстречу уже не смогла, а лишь с трудом выбралась на крылечко. Ваня сам подошел к ней, осторожно, словно боясь причинить боль и неудобство, обнял, прижался к ее плечу горячим, воспаленным лбом и вдруг сказал так, как не говорил никогда прежде:

— Я вам принес гостинец, мама.

Он открыл холщовую свою полупустую сумку, достал оттуда ломоть ржаного земляного хлеба и передал матери.

— Спасибо, Ваня, — сказала мать, приняла подарок, отломилась, попробовала

от него совсем маленький кусочек и улыбнулась Ване чистой материнской улыбкой: — Подают еще люди?

— Подают иногда, — так же светло и радостно улыбнулся ей в ответ Ваня. — Бог пока милостив...

Он еще теснее прижался к материнскому плечу и затих, отдыхая после дальнего тяжелого перехода. Мать гладила его худые, опавшие плечи, целовала в лоб, дивясь, какая у Вани светлая, прозрачная кожа, сквозь которую проступает череп, показавшийся ей почему-то холодным и неживым. Потом мать, словно спохватившись, отстранила Ваню от себя и сказала:

— Ты бы сходил к Настеньке. Она тоже ждет...

— Сейчас схожу, — ответил Ваня, поднял с земли оброненный посох и пошел через сад к Настенькиному дому.

Шел он медленно и тяжело, с трудом переставляя в пыли босые искоженные ноги. Но все-таки дошел и взялся уже было за щеколду, видя, что Настенька бежит к нему через все подворье в белоснежном утреннем платье, и вдруг покачнувшись, неловко задел плечом за калитку и упал бездыханным на весеннюю, только начавшую отходить от зимних холодов землю...

...Так закончилась его земная жизнь...

Похоронили Ваню на краю деревенского кладбища на перекрестке трех дорог. В пасхальные дни к нему на могилу приходят многие односельчане — и знавшие его, и уже не знавшие — поднимают на помин его души по рюмке водки, молчат, и в этом горестном молчании все понимают, как тяжело им, как невыносимо одиноко без Вани, без гения...

Тяжело и им в деревне Новожиловке на перекрестке трех дорог, тяжело и во всей России, тяжело и во всем бесконечном мире...

Валентин Семенов

Семенов Валентин Васильевич (1934–1995). Прозаик, публицист, литературный критик. Многие годы возглавлял отдел критики журнала «Подъём». Начал печататься с 1963 года. Член Союза писателей СССР с 1982 года.

ГАЛКА

Через год после Победы мы вернулись в родной мамин город. Я устал от длинной и мучительной дороги, и, сонного, внес меня отец в наш новый дом, в нашу новую квартиру. Я спал весь вечер и всю ночь, хорошо выспался, а когда проснулся, отец уже был на новом заводе, и слышно было, как гудят самолеты на аэродроме, а на кухне возится мать и пахнет оттуда чем-то вкусным. Все было привычно, и я даже не сразу сообразил, что мы уже живем в новом городе.

А сообразив, вскочил с постели, быстро позавтракал, надел свои теплые бурки, старый отцовский летный шлем и шубу, сшитую из летной американской меховой куртки. Мне было сытно, тепло, радостно от предстоящей встречи с новым и неизвестным.

На улице по обледенелым камням мостовой мела поземка. Трамвайные рельсы холодно блестели под солнцем.

Напротив стоял дом, похожий на наш, а больше домов на улице не было. Не было и улицы, а только стояли два дома — один против другого. А слева и справа возвышались обожженные, с отбитыми углами, полые кирпичные коробки с пустыми окнами. А дальше, во все стороны, сверкало под солнцем голое засне-

женное поле, и на краю его стояли такие же скелеты домов, освещенные солнцем.

И было пусто на улице, морозно и тихо, лишь гудел вдали завод. А когда я пошел потихоньку вдоль каменных коробок, то отчетливо услышал, как свистит и поддывает внутри них ветер и скрежещет где-то оторванный лист железа. Такого я еще никогда не видел. Я знал, что все это — война, но ее угрюмые следы на земле я видел впервые. Мне стало тоскливо, одиноко, я повернул обратно домой.

И тут он появился передо мной, как бы возникнув из этой гнетущей морозной пустоты. Мальчишка был моего роста, коренастый, из-под вытертой шапчонки торчали льняные мягкие волосы. Длинная лоснящаяся телогрейка свисала до заплат на коленях. Обут он был в большие солдатские ботинки. Руки прятал в рукавах телогрейки. Пританцовывая, шмыгая покрасневшим на морозе носом, он с любопытством разглядывал меня.

Это мне не понравилось.

— Ну, чего уставился?

Он смутился, потоптался, подтянул штаны.

— Да я так, ничего... А ты новенький, да?..

— Вчера вечером приехали. С Дальнего Востока. А из Москвы на самолете лети.

— На самолете?! Здорово!... А у тебя отец летчик, верно? Мне мать говорила, что новый летчик на завод определился...

Он посмотрел на мою шубу, сказал:

— А я по твоей шубейке догадался... У нас летчики тоже в таких ходят. Теплая, поди?..

— Как в печке! Хотя сейчас на Северный полюс... А тебе ведь холодно в этой... Взглянула бы мать и сшила тебе такую же шубу...

Он настороженно взглянул мне прямо в глаза: не смеюсь ли я над ним? Потом тихо сказал:

— Эх ты, а еще большой. На что ей шить-то? Уборщица она. А нас двое, ртов-то. Я и сестренка. Та все болеет. В самый сорок первый родилась. А отца немцы порешили тоже в сорок первом. Мне тогда семь лет было. А тебе сколько лет?

— Двенадцать.

— И мне тоже.

— В пятом?

— Ага...

— Значит, вместе учиться будем. Школа далеко?

— Да нет. Там она, за аптекой, на пустыре...

Мы постояли еще, приглядываясь друг к другу и чувствуя, как все проще и легче нам разговаривать, как доверие приходит на смену настороженности.

— Меня звать Серегой.

— Меня — Галка.

— Галка?!

— То есть не Галка, звать меня Петькой. Да вот ребята Галкой прозвали. Галка да Галка. Все из-за фуфайки.

Он взмахнул длинными рукавами своей телогрейки и каркнул неожиданно звонко и так стал похож на черную птицу, что я рассмеялся.

— Точно, галка!

Он тоже засмеялся, довольный своей шуткой и тем, какое впечатление она произвела на меня.

— Пойдем на каток, там ребята сейчас играют.

— Подожди, я сбегаю за коньками.

Я влетел домой, быстро собрал коньки и клюшку, побежал было на улицу, по-

том вернулся, схватил со стола только что испеченные матерью, еще горячие пирожки с мясом, выскочил на улицу, сунул пирожки Галке, и мы побежали на каток...

Так началась моя жизнь в новом городе, разбитом войной, среди его развалин и пепелищ. Так началась наша дружба с Галкой.

Галка охотно подчинился мне, наверное, потому, что я был на виду у всех ребят нашего района; я лучше многих играл в футбол и хоккей и не робел в драках с придачинскими мальчишками.

Галка почти каждый день бывал у меня дома, в нашей большой двухкомнатной квартире. Мы вместе учили уроки, а потом играли в шашки. И обедали. Вкусные борщи, супы, макароны с котлетами, пирожки, кисели и компоты и даже хлеб со сливочным маслом Галка ел вместе с нами с удовольствием, не смущался, потому что ощущал нашу с мамой искренность и сердечность.

С робостью и восхищением он поглядывал на моего отца, который, ловя свободный часок-другой между полетами, иногда прибегал домой днем, чтобы «подавить ухо минут шестьсот». Рядом с диваном отец сваливал в кучу всю свою летнюю амуницию, от нее пахло бензином и еще морозом, ветром и небом; на спинку стула отец вешал планшетку и шлем. Он спал, бурно храпя, накрыв голову бархатной, расшитой матерью подушечкой, а Галка заворуженно, удерживая дыхание, рассматривал и осторожно трогал его романтические одежды.

— Твой батя — сталинский сокол, — говорил он мне. — Счастливый ты, Сережка.

Галка подружился и с матерью. Смущался всякий раз, но брал пакет, который мать передавала его сестренке. Это она стала делать, когда заметила, что Галка не все съедает, а то ли котлету, то ли пару пирожков, то ли хлеб с маслом или еще что-нибудь из своего обеда у нас старается спрятать и унести домой.

Когда мама увидела, как он сует, обжигая руку, жирную котлету в карман, она засмеялась. Громко и весело.

— Смотри, Сережа, — сказала она мне, смеясь. — Смотри, как твой друг заботится о своей больной сестренке.

Я ничего не понимал. Галка покраснел и опустил голову.

— Что же ты, Петя, делаешь? — продолжала мама. — Во-первых, штаны себе жиром испортишь, а ведь их у тебя не так уж много... Во-вторых, котлета остынет, будет холодная и невкусная. Почему ты прячешься от меня? Ты считаешь меня жадной, да?

— Ну что вы, тетя Маш?!

— Тетя Маш, тетя Маш... Почему же не сказать своим друзьям прямо: я, мол, для сестренки хочу котлету приберечь... Обижаешь ты меня, Петя...

С тех пор Галка неизменно уходил домой с пакетом для сестренки. Однажды мать хотела подарить ему сапожки, такие же она мне купила на толкучке. Была злая, пронзительно-холодная весна, Галка ходил с мокрыми ногами и отчаянно мерз.

После традиционного обеда мать, вдруг покраснев, сказала, что вот, мол, сапоги лишние оказались у нас, что Петя может их взять и носить на здоровье.

Галка поблелел, посмотрел исподлобья на мать, отчего она совсем смутилась, тихо сказал: «Что вы? Спасибо! Не надо!» — поблагодарил за обед и ушел, осторожно прикрыв за собой дверь. Потом он мне сказал, что больше не будет у нас обедать. И ни разу после этого не обедал с нами. Однако дружба наша продолжалась.

Играли мы в разные игры. Среди прочих была и такая: мы лазали и бегали, как обезьяны, по мертвым коробкам домов. Каких-либо правил эта игра не имела. Мы просто лазали, и все: вверх, вниз, по уцелевшим лестничным клеткам, по оголен-

ным переплетам балок, по стенам и потолкам. И не было ничего в этой игре, кроме ощущения преодоленного страха перед высотой и гулкой пустотой обугленных пространств.

...Мы с Галкой сидели на опустошенном взрывом тяжелой бомбы потолке четвертого этажа, свесив ноги в зияющий провал, отвесно обрывающийся вниз рваными кирпичными уступами до самой земли, на которой валялись груды обугленных кирпичей.

Над нами было небо и солнце, внизу ходили по улице маленькие люди. Свистел в перекрытиях ветер. Тяжелый самолет, сотрясая воздух и землю ревом, пронесся прямо над нашими головами.

— На посадку пошел батя, — сказал я и бросил вниз камень.

— Скажи, Сереж, а вот я, например, могу стать летчиком? — спросил Галка.

Он задумчиво смотрел в ту сторону, куда опустился самолет.

Таким я запомнил Галку. Не лицо его, а выражение его лица, как будто неясные видения своего будущего он старался увидеть там, откуда доносился гул севшего на аэродром самолета; и фигурку его запомнил, в черных трусиках и в ситцевой выгоревшей рубашонке, напряженно подавшуюся вперед.

— Ты? — удивился я. — Откуда я знаю... Надо смелым быть и сильным.

— А что, я трус, что ли?..

— Да нет, не трус...

Я смотрел на кирпичную отвесную стену перед нами, метрах в трех. На нее еще никто не забирался. Я приблизительно уже знал, что для этого нужно было сделать. Нужно было разбежаться по потолку четвертого этажа, на котором мы сейчас сидели с Галкой, прыгнуть через трехметровый провал, попасть ногой в небольшой выем стены напротив, одновременно уцепившись руками за вбитую в эту стену скобу. Потом подняться по уступам — и ты наверху. Там, где еще не ступала нога ни одного мальчишки! Заманчиво? И я сказал:

— Никто еще на эту стену не залезал. А ты залезешь?..

Галка посмотрел на стену, потом на меня.

— Не знаю... Боязно...

— Ну, вот видишь... А хочешь летчиком быть...

Галка помолчал, потом сказал:

— А ты, Сережа, залезешь?

Я растерялся и не знал, что ответить Галке. Но, конечно же, я сказал: «Да!», потому что просто не мог сказать: «Нет!», хотя смутно представлял себе возможность прыжка через эту каменную бездну.

— Да! — твердо сказал я.

Галка посмотрел на меня, и было в его взгляде сожаление, что я поторопился с ответом, он хорошо уже знал меня и понимал, что раз я сказал «да», то буду прыгать. Он испугался за меня.

А я уже встал у края провала, пробуя толчковую правую ногу, прикидывая расстояние до выемки и до скобы на противоположной стене. Я не смотрел вниз, старался не смотреть и все же один раз заглянул в бездну, и голова моя закружилась.

— Сережа, не надо! — умолял меня Галка. — Я так просто сказал. Не надо прыгать...

— Почему не надо? — бормотал я сквозь зубы. — Надо! Еще как надо! — твердил я себе, медленно отступая назад для разбега. — Отойди! — грубо крикнул я, потому что Галка пытался взять меня за руку и остановить. — Не мешай!..

Я ощущал тоску на душе, злость и отчаяние сжали мне горло; я отчетливо видел зияющую глубину этого провала с острыми краями выступов до самой земли, а на ней — груды битого кирпича.

И я понял, что не прыгну. Это было неожиданно, я никогда не думал, что могу

испугаться, и еще больше записиховал, у меня задрожали колени, и мольбы Галки уже были не нужны. Я вяло подбежал к краю каменной пропасти и остановился. Шатаясь, отошел от края, сел, уткнув голову в колени.

— Сереж, что ты, Сереж! — Галка растерянно суетился около меня.

— Да уйди же ты! — заорал я на него, и злые слезы выступили у меня на глазах. Я ненавидел свидетеля своего позора.

Наверное, Галка это понял, побледнел от обиды, растерялся совсем, не зная, как подступиться ко мне, заметался и вдруг прыгнул через провал, рубашонка парусом вздулась за его спиной; он точно попал правой ногой в выем стены, крепко схватившись за скобу.

— Сережа-а-а! — ликуя, закричал он. — Смотри, я перепрыгнул. Смотри же, я перепрыгнул!

Его лицо сияло. Я криво улыбнулся, вяло сказал:

— Молодец!

— Протяни мне вон ту палку, Сережа...

С помощью палки он легко прыгнул обратно и стоял теперь передо мной, возбужденный.

— Это совсем не страшно, Сережа... Ты только не смотри вниз, смотри прямо перед собой, смотри на скобу. И все! Ты прыгнешь, обязательно прыгнешь! Раз уж я прыгнул, то ты...

Он смущался, суетился и заискивал передо мной.

А я совсем разозлился и снова приготовился к разбегу.

— Да ладно тебе, не учи ученого! — Оттолкнул Галку. — Не мешай!..

Но снова этот проклятый страх, этот тоскливый ужас! Он стремительно вполз в мое сердце, стеснил дыхание и сделал ватными ноги.

Я не мог сдвинуться с места, стоял и стоял, застыв, как бревно, в напряженной позе и был уже просто смешон, очевидно; но ничего не мог с собой поделать — я кожей чувствовал холод, овевающий меня из бездны, и точно знал, что не попаду левой ногой на выем стены, сорвусь и...

— Сережа, смотри, Сереж, — залепетал Галка. — Это не страшно. Это совсем просто. Не смотри вниз и беги. Смотри на скобу...

Я не двигался. И Галка снова побежал вперед, легко оттолкнулся, перелетел через провал, ударился всем телом о красную кирпичную стену и беззвучно исчез в провале.

— Галка-а-а! — в ужасе заорал я и, обдирая руки и колени о камни и рваное железо, ринулся вниз. — Помогите! Помогите, люди! Да помогите же! — кричал я, стоя на коленях подле Галки, распростершегося на битых кирпичках. Кричал, пока не прибежали люди...

...Я много ночей кричал во сне, потом заболел и надолго слег. Врач сказал, что это от сильного нервного потрясения.

— Он у нас очень впечатлительный мальчик! — сказала врачу мама и заплакала. — И Петю жалко, доктор, очень славный был мальчишка, но как представляю себе, что на его месте мог быть Сергей... О ужас! — Мама снова заплакала.

— Благодарите случай! — утешал маму врач. — А может быть — судьбу?.. Да нет, наверное, случай. Он вам оставил сына, а ту мать осиротил... Никто не виноват!

На похоронах Галки я не был. Мальчишки, когда пришли проведать меня, рассказывали, что много народу его хоронило, многие плакали...

После выздоровления я сразу полез на потолок четвертого этажа этой мрачной каменной коробки, не колеблясь, прыгнул через провал, четко попал ногой в выем противоположной стены, цепко ухватился за скобу. Потом прыгнул еще несколько раз кряду, глядя вперед, а не под ноги. Так, как учил меня Галка.



Алексей Тимофеевич Прасолов (1930–1972). Родился в селе Ивановка Михайловского района ЦЧО. Окончил Россошанское педагогическое училище. Работал школьным учителем, корректором, литературным сотрудником в районных газетах Воронежской области. Автор поэтических сборников «День и ночь», «Лирика», «Земля и зенит», «Во имя твое». Среди посмертных книг — «Стихотворения», «И душу я несу сквозь годы», «Я встретил ночь твою» (роман в письмах), «На грани тьмы и света». Член Союза писателей СССР с 1966 года.

Алексей Прасолов

МАЛЬЧИК С ЯСНЫМ ОТСВЕТОМ НА ЛБУ

* * *

А. С.

В эту ночь с холмов, с булыжных улиц
Собирались силы темных вод.
И когда наутро мы проснулись,
Шел рекой широкий ледоход.

Размыкая губы ледяные,
Говорила вольная вода.
Это было в мире не впервые,
Так зачем спешили мы сюда?

А река — огромная, чужая,
Спертая — в беспамятстве идет,
Ничего уже не отражая
В мутной перекошенности вод.

От волны — прощальный холод снега,
Сочный плеск — предвестье первых слов,
И кругом такой простор для эха,
Для далеких чьих-то голосов.

Нет мгновений кратких и напрасных —
Доверяйся сердцу и глазам:
В этот час там тихо светит праздник,
Слава Богу, неподвластный нам.

* * *

Я губ твоих не потревожу...
Дремли, не злясь и не маня.
Огнем небес и дрожью кожи
Мой день выходит из меня.

Необожженной, молодой —
Тебе отрадно с этим телом,
Что пахнет нефтью, и водой,
И теплым камнем обомшелым.

* * *

Одним окном светился мир ночной,
Там мальчик с ясным отсветом на лбу,
Водя по книге медленно рукой,
Читал про чью-то горькую судьбу.

А мать его глядела на меня
Сквозь пустоту дотла сгоревших лет,
Глядела, не тревожа, не храня
Той памяти, в которой счастья нет.

И были мне глаза ее страшны
Спокойствием, направленным в упор
И так печально уходящим вдаль,
И я у черной каменной стены
Стоял и чувствовал себя как вор,
Укравший эту тайную печаль.

Да, ты была моей и не моей...
Читай, мой мальчик! Ухожу я вдаль
И знаю: материнская печаль,
Украденная, вдвое тяжелей.

* * *

Листа несорванного дрожь,
И забытые травинки тощих,
И надо всем еще не дождь,
А еле слышный мелкий дождик.

Сольются капли на листе,
И вот, почувствовав их тяжесть,
Рожденный там, на высоте,
Он замертво на землю ляжет.

Но все произойдет не вдруг:
Еще — от трепета до тленья —
Он совершит прощальный круг
Замедленно — как в удивленье.

А дождик с четырех сторон
Уже облег и лес, и поле
Так мягко, словно хочет он,
Чтоб неизбежное — без боли.

НА РАССВЕТЕ

Снегирей орешник взвешивал
На концах ветвей.
Мальчик шел по снегу свежему
Мимо снегирей.

Не веселой, не угрюмою,
А какой невесть,
Вдруг застигнут был он думою
И напрягся весь.

Встал средь леса ранним путником —
Набок голова —
И по первоснежью прутиком
Стал чертить слова:

«Этот снег не белый — розовый,
Он от снегиря.
На рассвете из Березова
Проходил здесь я...»

И печатно имя выставил
Прутиком внизу,
И не слышал, как высвистывал
Некий дух в лесу.

Снегирей смахнув с орешника,
В жажде буйных дел,
Дух над мальчиком —
Над грешником —
Зычно загудел:

— А зачем ты пишешь по лесу
Имя на снегу?
Иль добрался здесь до полюса?
Иль прошел тайгу?
Снег ему не белый — розовый..
Погляди сперва!
И под валенками россыпью —
Первые слова.

Но едва спиной широкою
Повернулся дух,
Мальчик вслед ему сорокою
Прострочил их вслух.

Первый стих, сливая в голосе
Дерзость, боль и смех,
Покатился эхом — по лесу
И слезами — в снег.



**Общая
тетрадь**

ОКОПНЫЙ СОН

Геннадий Лутков

* * *

*Памяти
солдата В. Дьячкова*

Яблони помнят отца —
Так, как умеют деревья.
В старенькой тихой деревне
Яблони помнят отца.

В тысячах снах наяву
Шел он и шел повидаться.
Яблочком побаловаться
Некогда было ему.

Много у война дел:
Вечно он в огненном деле.
Сколько он рек одолел,
Сколько его одолели!

Будто не будет конца
Этой войне распроклятой.
Возле все помнящей хаты
Яблони помнят отца.

Он похоронен не здесь,
А на берлинской околице,
Каменной дымной околице,
Первой узнавшей ту весть.

...Сад в легкой роздыми. Сыро.
Роса тяжелей свинца.

У сына теперь два сына,
И оба в его отца.

Писк цыпляков у крыльца
Возле размоченных корок...
Яблоням этим — за сорок,
Яблони помнят отца.

* * *

Не всех нас мучили вопросы.
Нас век запутанный ковал.
Мы так любили папиросы
С названьем «Беломорканал!»

Мы восторгались главным классом.
Он твердости давал урок.
У пачки с голубым окрасом
Мы отрывали уголок.

И плотно, как патроны в пачке,
Там красовались мундштуки.
Нам разве снились в глине тачки?
Решетки, пайки и штыки?

Мы папиросой франтоватой
В кино дышали горячо.
И плыл дымок голубоватый
И у щеки, и за плечо.

Курить такое было лестно.
Мерк огонек, прозрачно ал...
Курил, как помню, в день ареста
Я этот «Беломорканал».

Виктор Поляков

ПРОПУСК № 7002

*Тов. Полякову В. М. разрешается
хождение по городу Сталинграду
после 24 час. 00 мин.*

Комендант гарнизона
майор Демченко

Как сохранился этот пропуск,
теперь припомнить —
выше сил.
Я прибыл в Сталинград не с войском,
я там в милиции служил.

Не беда,
 что не успел проститься:
закружил
 и разлучил вокзал, —
для тебя приберегла мучицу,
а ушел —
 и коржика не взял...»

Михаил Тимошечкин

СТАРЫЙ ТАНЦОР

Нам объявили: будет танец.
Мы приготовились встречать,
Как выйдет юный новобранец
Нас перестуком забавлять.

Усмешку кинули друг другу,
Когда увидели в упор —
Сосредоточенно по кругу
Прошелся старенький танцор.

Видать, чудака неисправимый,
Коль удивить надумал нас —
Под гомон неостановимый
Исполнив легкий па-де-грасс.

Он долго по дощатой сцене
Неторопливо колесил,
Как будто разминал колени,
А может, набирался сил.

По кругу сдержанной походкой
Прошелся и в середке стал.
И вдруг пошел на нас чечеткой,
Враз разбудив дремавший зал.

И бил то «яблочко», то «польку»
И лихо, как казак-удал,
Не отдыхаячи нисколько,
По-русски барыню плясал.

Взлетал и снова опускался,
Ногой, обутою в чулок,
На миг лишь пола прикасался,
Чтоб взмыть под самый потолок.

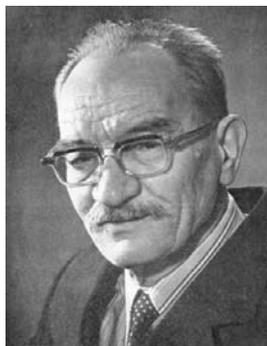
Баян, отчаянно рыдая,
Спешил за ним, свистя в мехах,

И только удаль молодая
Светилась в голубых глазах.

Танцор никак не унимался
И снова дробью шел на нас.
И кто-то шумно восхищался:
«Вот это да! Вот это класс!»

И мы, забыв субординацию,
Ответили ему овацией.
И вместе с нашими руками,
Как знак сердечной чистоты,
Над стриженными головами
Взметнулись белые бинты.

А он лишь за сердце держался,
В поклон сгибаясь пополам,
И, улыбаясь, задыхался
От счастья, отданного нам.



Гавриил Николаевич Троепольский (1905–1995). Родился в селе Новоспасское Тамбовской губернии (ныне Воронежской области). Работал учителем, агрономом, занимался селекцией и сортоиспытанием. Прозаик, публицист, драматург. Лауреат Государственной премии СССР. Член Союза писателей СССР с 1954 года. Автор всемирно известной повести «Белый Бим Черное ухо», романа «Чернозем», повестей «Кандидат наук», «В камышах» и других книг прозы.

Гавриил Троепольский

ПРОХОР СЕМНАДЦАТЫЙ, КОРОЛЬ ЖЕСТЯНЩИКОВ

Повесть

1

Спрашивается: какое отношение к запискам агронома имеет король, да еще семнадцатый? Вношу ясность.

Прохор семнадцатый — это и есть тот самый Прохор Палыч Самоваров, который еще до Петра Кузьмича Шурова был председателем колхоза; что же касается королевского титула, то это люди ему прилепили такое — беру только готовое.

Общий вид Прохора Палыча, конечно, резко выделяется среди всего населения колхоза. С этого и начну.

Комплекция плотная, рост выше среднего, животик изрядно толст, ноги поставлены довольно широко и прочно; голова большая, лоб узковат, но не так уж узок; нос узловатый, широкий и тупой, слегка приплюснутый, с синим отливом; нижняя губа приблизительно в два с половиной раза толще верхней, но не так уж толста, чтобы мешала; две глубокие морщины — просто жировые складки, а не то чтобы следы когтей жизни; глаза на таком лице надо бы ожидать большими, а они, наоборот, полу-

чилились маленькие, сидят глубоко, как глазок картофелины и цвета неопределенного, будто подернуты не то пылью, не то марью. Прохор Палыч не брюнет, не блондин, но, однако, и не полный шатен.

Одевается он с явным подражанием работникам районного масштаба: темная суконная гимнастерка с широким воротом — зимой и летом, широкий кожаный желтый пояс, ярко начищенные хромовые высокие сапоги и широкие синие галифе. Голову на плотной шее Прохор Палыч держит прямо и, проходя, ни на кого не смотрит (если поблизости нет кого-нибудь из работников района).

Вот он какой представительный!

Знакомы мы с ним уже порядочное время, довольно хорошо знаем друг друга, давно я хочу о нем написать, но все-таки каждый раз, как возьмешь перо, думаешь: что о нем писать?

Писать о том, что у него огромный клетчатый носовой платок, в который свободно можно завернуть хорошего петуха и в который он сморкается трубным звуком, так что телята шарахаются во все стороны, — это же неинтересно.

Сказать о нем, что он блудлив, нельзя, так как у него было только три жены: первая после развода вскоре умерла, вторая живет с двумя детьми где-то не то во Владивостоке, не то во Владимире, а с третьей он живет и сейчас (пока еще не регистрировался и, наверно, не думает).

Ну что еще? Сказать, чтобы он не делал ошибок, тоже нельзя. Ошибки он делает и всегда их признает рьяно, признает, даже если этих ошибок нет, а начальство подумало, что ошибки есть. Иной день даже ему в голову приходит такое: «А какую бы мне такую ошибку отмочить, чтобы и взыскания не было, и весь район заговорил?» Но для признания своих ошибок он всегда оставляет, так сказать, резервы. Вот он, например, как мы уже заметили, не регистрируется с последней женой — это тоже резерв! А ну-ка да скажет вышнее начальство: «разложение» или что-нибудь вроде того? Тогда можно признать свою ошибку и скрепя сердце вернуться к прежней жене; так что в конце концов получается — жена у него однаединственная, а эта теперешняя — так, ошибка.

Или, скажем, написать, что он много водки пьет, — клевета, оскорбление личности! Ничего подобного! Он никогда больше пол-литра в один присест не выпивает. А разве, спрошу я вас, нет людей, которые выпивают больше? Есть. И здесь Прохор Палыч прав, говоря, что он норму знает. Ну не без этого, конечно, праздник там большой или свадьба в колхозе случится, тогда выпьет вдвое больше или около того; в таком случае в конце процедуры у него появляется непонятное головокружение, душевные переживания всякие, даже тоска какая-то, и он плачет. Прохор Палыч прав, говоря, что когда он пьян, то становится смиренным настолько, что и курицу не обидит.

Еще о чем же? Разве о характере? Можно. Характер у него таков: с одной стороны прямой и твердый, а с другой — мягкий и податливый, как воск. Внутри же ничего не видно; тонкое дело — заглянуть внутрь человека! Может быть, со временем и выяснится, что там, внутри, а пока буду писать о том, что видимо как факт и что подтверждает сам Прохор Палыч.

Например, что значит «прямой и твердый с одной стороны»? Это значит, если он что-либо надумал, а кто-то из людей ниже его по должности перечит, то Прохор Палыч найдет способ доказать твердость характера и прямоту. Быками не своротишь — найдет! Собственно, прямота проявляется чаще всего под конец собеседования, и он не моргнет глазом сказать возражающему: «К черту! Не выйдет потвоему!»

Теперь: «с другой стороны — мягкий». Тут надо примером. Допустим, заехал из района в колхоз председатель райисполкома, или заведующий райзо, или кто-либо — упаси боже! — выше, тогда Прохор Палыч, заходя в кладовую, делает сле-

дующее: сначала складывает колечком большой и указательный пальцы и произносит мягко, обращаясь к кладовщику: «Ко-ко — двадцать» (яиц, значит, двадцать). Затем покрутит пальцами около лба, завивая рожки, и говорит еще ласковее, со вздохом: «Бебе — четыре» (это означает — четыре килограмма баранины). Таким же шифром он передает мед (жужжит), ветчину («хрю-хрю») и, наконец, щелчком слегка бьет себя по горлу сбоку, подняв шею, и изрекает: «Эх-эх-хе! Маленькие мы люди. Ничего не попишешь: сама жизнь того требует».

В общем, о своем характере он так и говорит: «Я если залезу на точку зрения и оттуда убеждаюсь, тогда я человек твердый и прямой, как штык; а если руководителя уважить или угостить, то я человек мягкий и податливый: не могу, говорит, покойно видеть начальника, если он не ест и не пьет, аж самому тошно... А тут... — и он легонько постучит кулаком по груди. — Тут! Эх, товарищи, товарищи!» Просто даже интересно становится: а что же все-таки у него внутри? Я не говорю там о кишках, о печенках, о ложечке, под которой у него болит после выпивки, о катаре, который, по словам Прохора Палыча, есть в желудке каждого человека и который, собственно, и урчит-то всегда, — это все вещи известные и местоположение их ясно, — я говорю о характере: снаружи — человек как человек, а вот внутри — загадка.

И тем более, уж если бы он не читал совсем ничего, тогда можно было бы подумать о плесени, о наслоениях прошлого, о пережитках капитализма внутри и тому подобном... Но он же все-таки читает! Ежедневно, каждое утро читает отрывной календарь. Иногда чтение вызывает у него неожиданные эмоции: сидит на кровати, еще не обувшись, оторвет листок календаря, прочитает о восходе, заходе солнца и долготе дня, прочитает о восходе луны, подумает, подумает и скажет: «Эх вы, календарщики, календарщики! Знали бы вы нашу нагрузку! Не тем занимаетесь, товарищи!..» Но какие предложения конкретно он вносит, остается неясным. Думаю, что речь идет об изменении долготы дня, а неопределенность замечания в адрес календарщиков объясняется, надо полагать, тем, что у него все-таки возникают сомнения: зависит ли это мероприятие от них? Прохор Палыч, конечно, не дурак!..

Правда, насчет астрономии у него в голове довольно большая туманность, что объясняется очень сильной нагрузкой; по этой же причине и сведения о химии ходят на колбу с бесцветным газом: а черт же ее знает, есть там что, в этой колбе, или нет! Может быть, там и действительно ничего нет, а один обман природы! Недаром же Прохор Палыч говорит про всех землеустроителей: «Знаю я этих астрономов! Мошенники!» И об агрономах отзывается презрительным языком: «Ох, уж эти мне химики: то не так, это не так! Вот они мне где! — И постучит ладошкой по заливку. — Спрашивается: за что зарплату получают? Нет, пусть бы он сел у меня в правление да писал или диаграммы какие-нибудь чертил, а я бы посмотрел, чем он занимается, а то уйдет в поле на весь день — и до свидания! Химики!»

И тут, конечно, Прохор Палыч прав, когда говорит, что насчет теории ему требуется только вспомнить кое-что, но пока сильно некогда.

Больше того. Он определенно имеет склонность к философскому мышлению. Право, редкому человеку удастся из одного-единственного слова построить длинное предложение с глубокой мыслью, а он может, да еще как может! Как-то вытащили его чуть не за шиворот в кружок заниматься. Там-то он и сказал такое умное, что облетело весь район. Когда у него спросили, как он усвоил материал и что думает по этому вопросу, он сказал: «План — это, товарищи, план. План до тех пор план, пока он план, но как только он перестает быть планом, он уже не план. Да. А наши планы были планы, есть планы и будут планы. Точнее, не может быть плана, если он не план...» Но тут его вежливо перебил руководитель кружка и, вытирая со лба пот, выступивший как-то сразу, сказал: «Мне теперь все ясно. Садитесь!»

Видите! Даже руководителю ясно стало все, так умеет сказать Прохор Палыч.

Нет, Прохор Палыч положительно интересный человек! Во всякий вопрос вносит он свое. Взять, к примеру, оценку своих знакомых. Он разделяет их на четыре группы: на беспартийных, кандидатов партии, членов партии и... кандидатов из партии. При этом он иногда скажет: «Вперед не забегай, сзади не отставай и в середине не толпись!» Но тут-то Прохор Палыч и допустил большую ошибку: не туда причислил себя и думал совсем не так, как оно получилось. Правда, у него всего только три выговора с предупреждением (или четыре? Нет, три; четвертый — это не выговор, а одно только предупреждение в развернутом решении), но чисто-сердечное раскаяние всегда и у всех вызывало сочувствие, которое заливало туманом его светлый разум, не давало возможности разобраться в том, куда везет его кривая. Он даже иногда, бывало, скажет: «О! Наш председатель райисполкома — человек! С этим не пропадешь!» Но... ошибся. Ой, как ошибся! Ошибся потому, что не учел, что и районные работники сменяются.

И уж если нечего писать о Прохоре Палыче, как сказано выше, то я подумал: «А дай-ка напишу насчет этой самой роковой ошибки жизни!» Однако ясно, что человек приходит к ошибке не сразу, хотя он ее и признает, поэтому и написать коротко, одним скоком, не удастся, тем более, мы еще совсем не знаем, что у него там внутри.

План моих записок таков:

А. Какими кривыми путями привела кривая Прохора Палыча до председателя колхоза и насколько кривы были кривые пути его.

Б. Как он руководил колхозом, и что из того получилось, и получилось ли вообще что-нибудь.

Когда-то давно Прохор Палыч работал в мотороремонтной мастерской. Работал хорошо, старательно, заработки были хорошие. За старательность и силу его уважали. Линия жизни у него была прямая, а сам Прохор Палыч был тогда совсем не таким: и нос не такой, и синевы на лице не было, так как норма подпития была совсем другая, не та, что сейчас.

Но случилось однажды так. Вызвали его и говорят:

«Работник ты хороший. Пора к руководству привыкать: пойдешь заведующим складом «Утильсырья». Никак не подберем туда кандидатуру». Прохор Палыч возражал, очень сильно возражал, но он многого тогда еще не знал о товарище Недошлепкине. А товарищ Недошлепкин был тогда председателем райисполкома. Если он, Недошлепкин, сказал: «Я думаю», то это все должны понимать: «Так будет»; если он сказал: «Я полагаю», то это значило: «Будет только так»; если же сказал: «Мне кажется», то надо было понимать: «Так должно быть, так и будет». Только много спустя Прохор Палыч приспособился к такой манере руководителя района изъясняться, а тогда еще не понимал ее по неопытности и простоте своей. Товарищ Недошлепкин не дослушал возражений и сказал:

— Я, Недошлепкин, думаю, полагаю, и мне кажется, что ты, Самоваров, пойдешь в утильсырье.

Ах, если бы вдумался тогда Прохор Палыч в эти слова! Да где там вдумаешься, когда председатель повторил твердо, с пристуком ладонью по столу:

— Я высказался. Принимай работу!

Не понял тогда Прохор Палыч, что было сказано. Через несколько лет Прохор Палыч с улыбкой вспоминал: «Какой же я был тогда дурак! Не понимал самых простых вещей. Вот что значит неопытность в руководстве!» Понемногу он перенял тон и приемы Недошлепкина, появилась смелость, уверенность в своих силах и так далее, но это много после, а в то время он принял склад «Утильсырья» и приступил к работе. И пошло!

Трое его подручных были люди опытные, деловые, вороватые. Делали все чисто. Сначала сверх зарплаты Прохор Палыч почему-то получал немного денег, а потом — больше. Поработал год. Вдруг откуда-то, не то из области, не то из центра, следствие: в тюках шерстяного тряпья, в середине, заложены отходы мешков, пакли, кострики, а вместо цветного металла где-то кому-то всучили какой-то черный. Кто туда положил не такое тряпье, Прохор Палыч не знал, но сколько денег он положил себе в карман, он все же знал — всучили-таки, жулики! — и сознавал свою ошибку. И только хотел было изучить утильдело, как его сняли. И снова он у Недошлепкина. Тот сказал: «Я думаю...» Прохор Палыч понял его уже с одного слова и мигом очутился на складе «Заготзерна». Дело новое, надо подучиться, расспросить, вникнуть в теорию: все-таки хлеб, а не утиль. Но Прохор Палыч был уже куда смелее и в первый же день по совету Недошлепкина проверил лабораторию. Походил, походил по ней, посмотрел в зерновую пурку одним глазом, как в микроскоп, потрогал влагомер, надавил пальцем на технические весы (отчего лаборантка даже вскрикнула, испугавшись за их целость) и сказал:

— Работу перестрой!

По личному горькому опыту на утильскладе он знал, что с подчиненными надо строже, иначе влипнешь, что подчиненный — не совсем полноценный человек (убеждения приходили постепенно, но довольно прочно). Кладовщиков он собрал под навесом. Сам сел на ящик, а им велел стоять и сказал:

— Я, Самоваров, много не говорю. Коротко: если замечу, что кто-нибудь насыплет ржи в пшеницу или овса в кукурузу, — прощайся с родными: тюрьма! Мне так кажется.

Помнил Прохор Палыч, как подкузьмили его подчиненные на утиль-складе, и предупреждал ошибку. Опыт расширялся и углублялся медленно, но все-таки расширялся.

Проработал он год.

И кто же знает, откуда беде взяться! Недостаток обнаружился в девяносто тонн зерна. Какого зерна — толком сразу и не поймешь, но только недостаток обнаружился. Кто брал зерно, когда брали, куда девали — Прохор Палыч, истинное слово, не знал. Он, правда, знал, что конюх привозил ему откуда-то муку-первач, но ведь не девяносто же тонн! Еще вспомнил, что в какой-то не то ведомости, не то отдельном списке он расписывался в получении денег и что бухгалтер говорил насчет этого списка: «Мы его со временем чик-чик — и нету!» А черт же его знал, как это «чик-чик»! Но только следствие было, кое-кого судили, а Прохора Палыча защитил Недошлепкин. Написал отличную характеристику, напомнил, что Самоваров только начинает руководить, что имеет мало опыта, что жулики его обвели вокруг пальца, — много написал Недошлепкин, много беседовал с прокурором, звонил куда-то, хлопотал, и все сошло.

Но ведь и оставить после этого у руководства нельзя. Сняли. Походил, походил Прохор Палыч вокруг районных организаций и учреждений и пошел к своему покровителю. Приходит. Спрашивает его Недошлепкин:

— Ну как?

— Да так, — ответил Самоваров неопределенно.

— А все-таки?

— Так себе!

— Значит, ничего?

— Да как сказать...

Недошлепкин, как видно, изучал собеседника и мыслил про себя: «Не ошибся ли я в нем?»

— А точнее?

— Обыкновенно! — вздохнул Прохор Палыч, ожидая слов «я думаю» или, что еще лучше, «мне кажется».

— Как так — обыкновенно? — недоумевал председатель. А Прохор Палыч видит, что тот в недоумении, и осмелел.

— Убил бы!

— Кого? — Недошлепкин привстал в полном испуге, так как был не очень храбр.

— Эх! — замотал головой по-бычьи Прохор Палыч. — Убил бы!

— Кого? — уже шепотом произнес председатель и стал за спинку кресла.

Прохор Палыч молча понурил голову. Начальник продолжал испуганно смотреть на него и не мог, конечно, в таком случае сказать ни «я думаю», ни «я полагаю», ни, тем более, «мне кажется». Так получилось, что Прохор Палыч ушел из себя, а Недошлепкин, наоборот, вышел из себя.

И третий раз спросил глава района, еле выдавив из себя:

— Кого?

Прохор Палыч поднял голову, еще раз покрутил ею, ударил себя в грудь (тихонько, слегка!) и, наконец, с надрывом выкрикнул:

— Себя! Ошибку допустил!

И сразу после этого все вошло в норму: Прохор Палыч вышел из себя, а Недошлепкин ушел в себя — сел в кресло, поднял острый носик вверх, поправил громадные роговые очки и нахмурил брови. Покатая лысина заблестела матово-желтым цветом. Он застучал пальцем по столу, продолжая дальше изучать Самоварова. Глаза у Недошлепкина были настолько узкими, к тому же заплывшими, что создавалось впечатление, будто он ничего не видит даже около своего носа. Но он видел, изучал, задавал наводящие вопросы:

— Ну так как же?

— Да так.

— А все-таки?

— Да как сказать...

— Значит, признаешь?

— Признаю.

— Каешься?

— Каюсь!

— Ну так что ж ты скажешь?

Прохор Палыч совсем осмелел и выпалил, жестоко бия себя в грудь:

— Ошибка моя вот тут! — и сделал совсем жалобное лицо. Недошлепкин расчувствовался — высморкался, плюнул тихонько и так же тихо произнес:

— Вот черт возьми!

Прохор Палыч тоже высморкался, но трубно, громко. Конечно, начальник уже был готов произнести чарующие фразы, которые начинаются с буквы «я», но Прохор-то Палыч еще не понимал, что тот готов. Лишь позже он научился догадываться о течении мыслей начальства, но тогда еще многого не понимал.

И вот, наконец, Недошлепкин говорит:

— Что же тебе сказать?

А Прохор Палыч изрекает, уже оправившись от сморкания:

— Я думал, товарищ Недошлепкин, что вы полагаете и вам кажется.

— Да, братец ты мой! — восхищенно воскликнул тот. — Таких пронизательных людей я первый раз встречаю. Вот это — да! Самородок! Кусок народной мысли, как говорил какой-то писатель или историк. Да ты знаешь, какая перед тобой линия открывается? Да ты сам не понимаешь, кем ты можешь быть!

И пошел, и пошел! Хвалил, хвалил, а напоследок напутствовал:

— Держись за меня! Со мной кривая вывезет. Помогу, поддержку, научу.

И стал после этой беседы Прохор Палыч торговать керосином в магазине райпотребсоюза. Но не это важно, а важно то, что Прохор Палыч уже понял — точно понял! — что такое признание ошибок, как к их признавать, когда признавать и перед кем признавать; важно еще, что после этой беседы он понял себя: кто он есть и кем он может быть, то есть оценил себя так же высоко, как оценил его Недошлепки. И пошел после этого расти и расти! Вот он уже пробует произносить речи, — его поддерживают, выдвигают по рекомендации Недошлепкина. Вот он уже критикует небольших начальников, от которых ему ни жарко, ни холодно, критикует громко, смело, со всей прямоотой своего нового характера. Пошел человек в гору!..

На керосине он, правда, прогорел (не то недостача, не то излишек, но больше года и здесь не работал), однако стал директором райтопа и числился уже в районном активе.

Наконец к переменам должностей и профессий он так привык, что считал это вполне нормальным для актива, считал, что настоящий-то актив и перебрасывается «для укрепления»: укрепил в одном месте — крой на следующее, укрепляй еще; не укрепил — признавай ошибку, плачь, сморкайся и валяй дальше — укрепляй в другом месте! Для вытирания носа он завел большой, темного окраса клетчатый платок, о котором мы уже заметили, что он якобы интереса не представляет. Но это только кажется. Действительно, большой платок неинтересен, когда он есть, а вот когда его нет... Попробуйте с полным чувством признать четырнадцатый раз двенадцатую ошибку без платка. Не получится!

На каких только должностях не был Прохор Палыч! И в «Сельхозснабе», и на кирпичном заводе, и в лесничестве, и в «Конволоесе», и по дорожному делу, и по заготовкам сена и соломы, и по яично-птичным делам, и завхозом в МТС... Накопил громадный опыт! Наконец после двух выговоров с предупреждением в его послужном списке значилось: «Председатель артели жестянщиков». А Прохору Палычу перевалило за сорок пять.

И до этого ему учиться совсем не надо было в связи с частой переменой мест, а тут — каждый поймет — жестянщики: кружки, ведра, половники... Чепуха! Опыт руководства большой — Прохор Палыч принялся смело укреплять отстающую артель. Это было по счету шестнадцатое место за пятнадцать лет руководящей работы в районе. С таким багажом укрепить артель — раз плюнуть!

И он приступил.

2

Первым делом он обнаружил полное отсутствие кабинета для председателя артели и задал вопрос:

— Как же вы могли так работать, товарищи? Это же полный развал! Мне кажется, работу надо перестроить.

Счетовод, маленький, щупленький старичок с пушком на лысой голове, осмелился спросить вежливо:

— А какой же кабинет в такой маленькой комнатке, как наша контора?

Прохор Палыч ответил:

— Я думаю, что так необдуманно думать нельзя.

Все было ясно.

В артели было двенадцать человек мастеров разного возраста, тринадцатый — счетовод, четырнадцатый — председатель. Делала артель большей частью кружки, которые иногда протекали. Требовалось укрепить артель, чтобы кружки были полноценными. Задача Прохора Палыча, собственно говоря, и заключалась в том, чтобы кружки не протекали, но он уже имел размах, умел вникать, он уже думал, полагал, ему казалось.

Целый месяц половина членов артели во главе со счетоводом работала на «стройкабе», а половина — на кружках. (Объясняю новое слово в русском языке — Прохор Палыч их сотворил немало — стройкаб — стройка кабинета.) Конечно, кружек сразу стало недостаточно, и домохозяйки начали протестовать: дескать, и так протекают, да еще и недостаток. Прохор Палыч, чтобы успокоить всех, вывесил объявление: «Происходит преобразование производства на новые технические рельсы увеличенного плана». Успокоились, стали ждать.

Тем временем кабинет закончили: он занял две трети маленькой комнатки, а одна треть осталась счетоводу со всеми членами артели, которым уже ни покурить, ни газетку почитать стало негде. Но не в этом дело. Какой кабинет выстроили! Блестящий кабинет! Блестящий потому, что стены и потолок обшили белой жостью, на письменный стол, сверху, положили белую жость; над креслом Прохора Палыча, чуть выше головы, соорудили полку во всю длину стены, обшили ее латунию и поставили в один ряд предметы производства артели настоящего времени и будущего, причем экспонаты были вдвое больше нормального размера: кружка, ведро, половник, таз умывальный, таз стиральный, умывальник, две ложки, совершенно различной конструкции, зерновой совок, керосиновая лейка и... чего-чего только не было на этой полке! Любому смертному, вошедшему в кабинет, становилось ясно, что Прохор Палыч уже вник в сущность производства и освоил детали такового достаточно глубоко.

Вторым шагом по прошествии двух месяцев со дня вступления было ознакомление с массой. Вызывал Прохор Палыч по одному человеку, толпиться в передней запретил, курить велел по норме, обсуждать что-либо шепотом, чтобы не мешать работе. И начал прием. Вопросы он задавал каждому примерно одни и те же:

— Фамилия?

— Мехов.

— Лет?

— Сорок девять.

— Как?

— Точно так.

— Молодец! Отвечаешь правильно. Та-ак... Воруешь?

— Да что вы, Прохор Палыч! Дети у меня есть взрослые, а вы... такое... У нас и красть-то нечего: ну украду я кружку — куда ее денешь?

— Во-первых, я тебе не Прохор Палыч, а товарищ Самоваров. Во-вторых, не притворяйся: знаю я вас — все воры! Развалили артель, сукины дети, а теперь... Ишь ты!

Мехов попятился к двери, разводя руками.

— Перестроишься?

— Да чего перестраиваться-то? Давайте материал, делать будем. А то вот два месяца сидим без дела, а у нас семьи... Я за эти месяца и полставки не выработал.

— Во-во-во! Я и хотел сказать: лодыри, бездельники!

— Да я же не про то!

— Хватит! Я думаю, я полагаю, что ты перестроишься! Следующий!

За перегородкой все было слышно, и артельщики очень быстренько смекнули, что к чему. Особенно быстро сообразил Вася-слесарь, мальчишка лет семнадцати, молодой, а ушлый.

— Давайте, — говорит, — отвечать одно и то же, а я пойду последним!

Переглянулись жестянщики: так и так. И в кабинете началось. Почти все, как один, повторяли одно и то же, с небольшими отступлениями по ходу дела. Прохор Палыч к концу дня устал, вспотел и, развалившись в кресле, задавал вопросы уже нехотя, подумывая о том, не перенести ли ознакомление с массой на следующий

четверг, но вот вошел Вася-слесарь, юркий узколицый парень с прищуренными, смеющимися глазами, — и объявил:

— Я последний.

— Фамилия?

— Щелчков! — отчеканил Вася так, что жесть на стенах отозвалась зловещим звяком.

— Щелчков! Ну, брат, и фамилия! Лет?

— Семнадцать.

— Ишь ты, молодой! Ну, ты-то не воруеть.

— Ворую, товарищ Самоваров!

— Как, как? О! Самокритика молодежи! Ну, молодец!

— Ворую, говорю! — выкрикивал Вася, как молодой петушок.

— Что воруеть?

— Жесть ворую, латунь ворую.

— От брешет, свистун, так брешет! Этот не пропадет, нет! С кем же ты воруеть?

— С вами, товарищ Самоваров! — ответил Вася так же громко и тем же тоном, как и начал.

— Что-о-о? — Прохор Палыч встал.

— С вами ворую, — повторил Вася и сел, проявив высшую степень невежливости. — Сто листов жести на кабинет из кладовой кто принес? Я, Щелчков. Кому? Вам, Самоварову. Латунь кто принес? Я. Кому? Вам. Куда списали жесть? На кружки. Где кружки? Нету. Квартальный план выполнили на двадцать процентов, значит, годовой план уже сорвали.

Прохор Палыч встал. Потом встал. Потом еще раз сел. И еще раз встал.

— Как ты смеешь, щенок! — Он схватил с полки умывальный таз и так стукнул им об стол, что весь кабинет заныл жестяной жалостью. — Мы такое загнем, что два квартальных плана в два месяца выполним. Раз плюнуть! Не твоего ума дело! Я думаю, что...

Тут Вася прыснул со смеху, зажал фуражкой рот и нагнулся, содрогаясь от беззвучного хохота.

— Что тебе смешно? Что? Что, спрашиваю? (За перегородкой — сдержанный, но дружный смех.) Кто там мешает работать? — загремел Прохор Палыч и снова обратился к Васе:

— Ты думаешь, кто я есть? Отвечай!

— Там, — смеялся Вася, — там написано! — И указал пальцем на дверь.

После этих слов за перегородкой затопотали и, давя друг друга, вывалились со смехом на улицу. Выскочил бомбой и Вася. Прохор Палыч поставил таз на место и, потный, в возбуждении, вышел медленно за дверь. Осмотрел стены, пронзил счетовода взглядом и ничего не увидел. Но вот он повернулся к двери кабинета, чтобы войти обратно, и... увидел! Трудно выразить словами состояние Прохора Палыча: это было сплошное переживание от пяток и до носа, ибо пятки сразу зачесались, а нос потребовал неотложно сморкания. И он высморкался дважды подряд и без передыху. А на новой табличке — «Председатель артели тов. Самоваров» — красовалось добавление: «король жестянщиков».

Вот откуда и появился королевский титул у Прохора Палыча.

Сам я, правда, при этом не присутствовал, но мне так подробно все рассказывал Вася, так усердно дополняли его Мехов и другие, что я не могу не посочувствовать Прохору Палычу. Не буду описывать терзания его души, не буду останавливаться на том, как Прохор Палыч по полночи не спал двое суток подряд, не буду вдаваться в подробности колебаний психики и переливания тоски через край — это очень трудно. Но Недошлепкин настойчиво, очень настойчиво реко-

мендовал Прохору Палычу приступить к самокритике и ни под каким видом не наказывать Васю, а если возможно, прижать его впоследствии, чтобы понимал твердость характера. При этом он сделал для Прохора Палыча назидание жестом: ногтем большого пальца надавил на стол так, как (простите за натурализм!) давят некоторых насекомых, и добавил:

— Понимай — для самокритики момент наступил, а для того самого, — и он снова надавил пальцем, — еще нет. Подождать надо...

Э, да что там учить Прохора Палыча, когда он сам уже не меньше знает!

На общем собрании артели Прохор Палыч сказал:

— Критика ваша, товарищи, дошла до середины. Дошла! Всем нам надо перестроиться, углубить производство и расширить во все стороны. Все, как один, — в одну точку! Кто отступит — не позволю! Я признаю критику, но не допущу нарушения дисциплины. Переходим, товарищи, с кружки на ложку новой конструкции — модель «Л-2». Потребуется напряжение. Я полагаю, что трудовой подъем будет.

В городе заговорили: «Король жестянщиков разворачивается».

Так и прилепился к Прохору Палычу этот титул.

А тем временем в артели дела пошли по новым рельсам. Трое поехали в командировку за формовочной глиной, трое работали над ящиками-станками для отливки ложек, трое вели экспериментальные работы, имея под руками пять килограммов алюминия, и переливали алюминий из пустого в порожнее, а остальные трое переоборудовали горн и меха. Сам Прохор Палыч выехал в Москву на поиски алюминия, пробыл там два месяца, прислал оттуда двадцать четыре телеграммы и получил двадцать девять. В артели вскоре уже была закончена перестройка, и все ждали председателя. Наконец прибыл Прохор Палыч и привез только двадцать килограммов алюминия.

— Ну что ж, — сказал Прохор Палыч, — начнем, а там видно будет.

И начали. Сначала выходило плохо: ложки получались ломкие, с драными краями. Наконец все-таки наладили дело: ложка модели «Л-2» пошла в ход. Но... запас алюминия иссяк.

Кончался год. Ложки делать перестали из-за нехватки материала, а к кружкам не приспособлено производство, перестраивать надо. Так и не получилось в том году ни кружки, ни ложки.

Ну, а дальше что? Дальше Прохор Палыч пятнадцатый раз раскаялся, получил третий выговор и остался без работы. Секретарь райкома вызвал Недошлепкина и говорит:

— Кажется, Самоваров никудышный руководитель — неуч и зазнайка. Он стоит на пороге из партии, случайный человек.

Но нет! Недошлепкин — уже постаревший, облысевший, уже беззубый — защитил, не дал в обиду. Не исключили. Три месяца или, может быть, четыре Прохор Палыч был без работы. Несколько раз заходил к Недошлепкину, ожидал, как в прежние счастливые годы, волшебных слов, но тот указывал пальцем на райком и говорил шопотом:

— Не велит.

— Так, значит, как же? — спрашивал Прохор Палыч.

— Да так...

— А все-таки как?

— Так себе.

— Значит, ничего?

— Да как сказать...

— А что «как сказать»?

— Обыкновенно! — вздыхал начальник. И каждый раз на этом кончалось. Казалось, попал в тупик Прохор Палыч.

Но внезапно что-то случилось с секретарем райкома по семейным обстоятельствам, и он уехал из района. Ведь и с ним все может случиться, как с любым человеком. Это ведь в романах только секретари райкомов не страдают, не любят, не хохочут, а только знай руководят. А в жизни они такие же люди, и с ними все может случиться: может и жена заболеть, и сам даже может заболеть, и даже — даю честное слово! — может и влюбиться. Конечно, мне скажут: «Не может быть, чтобы секретарь райкома да влюбился! Не бывает!» Вот и поговори с ними!.. Бывает, товарищи, что там греха таить! Бывает и так: напихают полный роман либо железа, либо дров, либо машин всяких, а читатель ходит-бродит, бедняга, меж всего этого и ищет людей: не читатель, а искатель какой-то получается. Не спорю, иной читатель, конечно, с первого прочтения находит тропки, делает зарубки для приметы, чтобы не заблудиться обратным ходом; потом вернется назад, прочитает еще другой, третий раз — смотришь, разберется, что к чему.

А насчет секретарей райкомов повторяю: все с ними бывает, как с любым человеком, а не только так, как в романах.

Убедил я или не убедил — как хотите! — но только старый секретарь райкома уехал, а новый приехал. Был он такой: в коричневом костюме и при галстукe (обратите внимание: без черной гимнастерки и без желтого широкого пояса), росту обыкновенного, среднего, русский, круглолицый, веселый, любит в городки поиграть и в шахматки сыграть; ребятки у него есть (двое), и мальчишка его забегает к нему прямо в райком, посмотрит, нет ли заседания, и сообщает: «Папа, мы чижа поймали».

Одним словом, Попов Иван Иванович приехал.

Недошлепкин — к нему. Так, мол, и так: в колхозе «Новая жизнь» шестнадцатый по счету председатель оказался не того, заменять надо. Для укрепления.

Поехал Иван Иванович туда раз, поехал два, посмотрел, посмотрел: правда, заменять надо. И говорит Недошлепкину:

— И ваша вина есть в том, что в колхозах такая свистопляска с председателями: что ни год, то новый председатель. Большая вина!

— Признаю, — соглашается Недошлепкин. — Каюсь! Ляпсус. Все силы брошу на исправление ошибки. Все, что от меня лично, приму... Действительно, ляпсус... Но без председателя колхоза не может быть колхоза, ибо колхоз до тех пор колхоз, пока он колхоз, но как только он перестает быть колхозом, он уже не колхоз. (Подобный способ мышления — явное влияние его ученика Прохора Палыча. Ясно.)

Задумался Иван Иванович: видно, не верит Недошлепкину. Но что поделать, если кадров района еще не знаешь, а требуется председатель колхоза! Конечно, приходится обязательно советоваться пока с Недошлепкиным. А тот разгадал мысль секретаря и говорит:

— Моя ошибка тяжела... Но мы можем быстро выправить: есть у нас толковый, опытный товарищ, повезет! Правда, у него в артели жестянщиков — не того, но причина все же в неплановом снабжении артелей, и вопрос не нам решить — надо ставить гораздо выше, так как в районном масштабе алюминия нет, а ложка «Л-2» требует алюминия чистого, как слеза грудного младенца.

— Кто же это такой? — спрашивает Иван Иванович.

— Товарищ Самоваров, — сообщает Недошлепкин. Так на первых порах Иван Иванович и допустил ошибку.

Вызывают Прохора Палыча в райком.

— Говорите честно, — обращается к нему Иван Иванович, — справитесь ли вы с работой председателя колхоза? Работа трудная и ответственная.

Прохор Палыч думает и сморкается: ждет, когда будут произнесены заветные

слова, единственные, которые он сразу понимал. Нет этих слов! А вопрос висит в воздухе!

— Ну так как же? — повторяет секретарь. И Прохор Палыч, руководствуясь чутьем, развитым многолетним опытом, проделывает следующее: смотрит вниз и в сторону, глубоко-глубоко задумавшись, вздыхает, несмело поднимает глаза на секретаря и говорит тоже задумчиво:

— Товарищ секретарь райкома! Слишком мне тяжело сознавать, что я имею три выговора... (В этом месте он чуть-чуть взвыл.) Я понимаю, что четвертый выговор столкнет меня с кривой. Со всей ответственностью беру на себя колхоз и, я думаю, выправлю его, и вправлю ему линию в передовые...

Иван Иванович, не ведая дипломатии, сказал:

— Мне кажется, что чистосердечное признание своего положения прибавит вам силы.

Все! Для Прохора Палыча было все-все понятно.

А Иван Иванович сомневался, что-то его скребло внутри, и он подумал: «Кадры! Не могу я за две недели узнать кадры».

Недошлепки так разукрасил Прохора Палыча на общем собрании колхоза, так расхвалил, такие гимны пропел его талантам, а Никишка Болтушок такую речь закатил, что даже шапку потерял и ее растоптали в лепешку, — так они оба воспевали Прохора Палыча, что того и в колхоз приняли, а потом и председателем выбрали.

Так Прохор Палыч занял свой семнадцатый пост и стал семнадцатым председателем в колхозе, а отсюда и полный титул пошел: «Прохор семнадцатый, король жестянщиков».

3

Теперь уж я видел Прохора Палыча почти ежедневно. Мы все ближе и ближе сходились с ним и, наконец, сошлись настолько близко, что он однажды мне сказал:

— Фу, ты! Обязательно ему надо культивировать пар за двенадцать-пятнадцать дней до сева! Небось и после закультивируем — денька за два-три.

Я возражал, горячился, целую лекцию об озимых ему прочитал, книгу академика Якушкина ему совал в руки.

— На, прочти!

— Лично я не видал твоего Якушкина. Я, Самоваров, думаю — за два-три дня.

Я не сдавался.

— Не позволю! (Это я-то так позволил себе сказать Прохору Палычу, и откуда смелость взялась!)

— Что-о-о? — закричал он. — Пошел к черту, химик!

— Не оскорбляйте!

А он отвечает:

— Характер у меня такой прямой. Как штык. Помогать — вас никого нету, а раздражать человека у руководства вы можете.

— Да я же и хочу помочь вам понять агротехнику?

— Пошел бы ты с такой помощью! У меня свиньидохнуть начали, а тебе вот выложи: за пятнадцать дней! Тьфу!

— Вы ж, — говорю, — не понимаете агротехники! Нельзя так!

Прохор Палыч отвернулся, не желая продолжать разговор, и куда-то в сторону буркнул:

— Столько, сколько ты знаешь, я давно забыл больше.

Что должен делать после этого агроном? Конечно, ехать в район.

Запрягли Ерша в линейку, приезжаю к Недошлепкину. Так, мол, и так, говорю, ничего не понимает, оскорбляет непотребными словами... Угробим осенний сев...

— А вы добейтесь своего, — отвечает Недошлепкин, — и закультивируйте, если действительно надо! Если же можно обождать дня два-три, то уступите по-человечески! У Самоварова мало опыта в руководстве колхозом, ему надо помогать. Правда, прямота у него в характере есть, за словом в карман не полезет. Постарайтесь помириться с ним, он человек сходчивый и самокритичный.

— Так он же меня слушать не хочет!

— Постарайтесь сделать так, будто между вами ничего не было: общее колхозное дело дороже личных отношений. Мы, безусловно, должны забыть все личное.

Ехал я обратно тихонько, шажком и пробовал пробрать себя самокритикой до корней, но, как ни бился, даже Ерша останавливал несколько раз, ничего не получилось. Наверно, все-таки не освоил еще самокритику на всю глубину. Тут бы и надо мне Недошлепкину сказать: «Признаю ошибку!», потом приехать в колхоз и — к Прохору Палычу: «Признаю», и руку ему подать: «На! Держи! Навечно! Пошли мировую выпьем по двести!» А вот не умею. Но зря! Именно тогда бы меня подняли на щит и говорили бы: «С таким работать можно — сходчивый и самокритичный агромишка».

Пар все-таки закультивировали: воровским путем, ночью.

А еще раньше, весной, получилось даже чище. Приезжаю в бригаду, а там сеют кормовую свеклу. Не там сеют, где намечено производственным планом, — не по глубокой зяби, а по весновспашке.

— Кто позволил? — спрашиваю я.

— Председатель приказал, — отвечает бригадир Пшеничкин. — Целый час спорил с ним. Тьфу!

Смотрим, Прохор Палыч мчится к нам: жеребец — в лентах, тарантас — в ветках. Подъезжает и сразу грозно:

— Почему простой механизма допущен?

— Я запретил, — говорю.

— Тебя убеждать надо или не надо?

— Говорите!

— Как ты думаешь, — снисходительным тоном начал он, — ходить женщинам полоть лучше за три километра от села или за полкилометра? Тут, — потопал он ногой по земле, — тут — полкилометра, а зябь — за три километра. В организации труда ты что-нибудь смыслишь или нет?

Я стараюсь объяснить ему поспокойней:

— По весновспашке свеклы не будет. Не бывает никогда хорошей свеклы по весновспашке нигде, а у нас, в засушливом районе, никакой свеклы на этом месте не будет. Не взойдет она, и полоть-то нечего будет.

Пробовал растолковать, как устроено семя свеклы, говорил, что всходы ее очень слабые, рассказывал, сколько воды требуется для семени свеклы, но Прохор Палыч до конца не дослушал, подошел к трактористу и сказал:

— Я думаю, сеять будешь.

— Нет, — вмешался я, — сейчас надо ехать на зябь и посеять там.

— Ка-ак! — вскричал Прохор Палыч. — Подменять руководство? Кто позволит? Приказываю!.. А из тебя, — обратился он к трактористу, — щепки сделаю! А тебя, — повернулся он к бригадиру, — как бог черепахе! А... — и он круто повернул ко мне весь корпус.

— Меня, — говорю, — ни боже мой! Я химик!

— Хуже! — воскликнул он, ударив себя обеими руками по галифе. — Астроном! Мошенник!

Так я понял, что астрономы гораздо хуже химиков.

И зачем, собственно, я все это записываю? По плану обещал описать, как Прохор Палыч руководил колхозом, а пишу черт знает что! Хотя нет: постепенное сближение и содружество Прохора Палыча с агрономией тоже заслуживает внимания. В общем, и агроном с бригадирами к нему приспособились: они просто обманывали его для пользы дела.

Меня спросят: «А свекла как же? Где посеяли?» Отвечаю: по зяби посеяли. И очень просто. Подхожу я к нему и говорю:

— Характер у вас сильный... Сказал — крышка!

— Я так: надумал — аминь! — и улыбается. Отошел, значит, нутром.

— Езжай, — говорю я трактористу, а бригадиру подмаргиваю, так как тот всем видом протестует против продолжения сева на этом месте.

Прохор Палыч благополучно отбывает и скрывается из виду, а мы... переезжаем на зябь.

Заметил он это не скоро, через месяц, и сказал:

— Ну и ловкач! Ну и мошенник! За этим смотри да смотри!

Так пришло к Прохору Палычу убеждение, что все агрономы — мошенники, все бригадиры — жулики, а он один-единственный руководит и ему никто не помогает. Трудно все-таки быть председателем колхоза!

Но все это произошло несколько спустя после начала руководства Самоварова колхозом. Это отступление сделано потому, что вопросы агрономии превыше всего, с них и надо начинать. Дальнейшее описание жизни Прохора Палыча в колхозе пойдет уже по порядку.

Еще в первые дни пребывания на посту председателя Прохор Палыч собрал бригадиров и изрек:

— По вечерам нарядов давать не буду.

— А как же нам быть? — спросили все сразу.

— Утром — наряд, вечерами и ночами — заседания. Что я, Самоваров, не знаю разве, как руководят районные работники? Не первый год! С кого пример брать? С вас, что ли?

Попервоначалу стали возражать, перечить, да еще вздумали доказывать. Потом и бригадиры, конечно, вошли в понятие, а тогда, представьте себе, упирались. Прохор Палыч для доказательства твердости характера даже выражаться стал всякими черными словами, а в заключение обмяк и завершил:

— Соображение-то у вас есть или нет? Как можно с вечера давать наряд? А вдруг да умрет кто за ночь — допустим, тетка какая, — а на нее наряд дали: что это будет? Срыв, полная анархия. Я думаю и полагаю, что наряд давать будем только утром.

Когда же бригадиры разошлись, он говорит мне:

— Вот они, работнички! Видал? С первых шагов на подрыв пошли. Ну, я перестрою — выбью из них дурь. Не первый год на руководящей! С этими, верно, руководишь... — Он будто задумался, а потом добавил: — Менять надо, всех менять! Вот маленько разберусь и поменяю. А эти, видать, жулики и воры. Видал? Тот, чубатый, все улыбается, а тот все волком смотрит.

Ну, раз уж сам Прохор Палыч заговорил на первых порах о бригадирах, то и нам следует с ними поближе познакомиться, иначе описание жизни председателя не будет ясным.

Бригадиров в колхозе трое: Пшеничкин Алексей Антонович, Катков Митрофан Андреевич и Платонов Яков Васильевич. Все они очень старательные, хозяйственные, хорошие руководители бригад, почти непьющие, но характеры у них разные. Пшеничкин живет так, будто радуется вечно и полон радужных надежд; Платонов — человек критического ума и иногда говорит: «Надо изживать недо-

статки, а не только говорить о хорошем»; Катков — это человек быстрый и в работе, и в мыслях: он в уме может моментально такие цифры помножить, что диву даешься!

И возраста все трое разного: Пшеничкину — двадцать семь, Платонову — шестьдесят, а Каткову — сорок два.

Пшеничкин — белокурый, кудрявый, голубоглазый, фуражка — набок, чуб над виском, и всегда верхом в седле: с самого раннего утра и до позднего вечера, а в уборку — и ночью.

Платонов, несмотря на почтенный возраст, ни бороды, ни усов не носит, всегда чисто выбрит, волосы, совсем седые, зачесывает назад, ездит только на дрожках.

У Каткова — лоб высокий, нос тонкий, лицо симпатичное, веселое, с шустрыми черными глазами. Этот никаких средств передвижения, кроме мотоцикла, не признает и признавать не желает.

И вот смотрите! Разные люди, совсем-совсем разные, во всем разные, а как они одинаково сильно любят свое дело, сколько работают! Летом по семнадцать-восемнадцать часов в сутки в труде.

Где-то вы теперь, мои дорогие друзья-бригадиры? Радостно мне услышать ранним утром, перед восходом солнца, песню Алеши Пшеничкина; больно вспомнить, как он плакал над просом, которое побил град; приятно вспомнить, как его голубые глаза внимательно смотрели на меня на зимних занятиях по агротехнике! С благодарностью помню и наши беседы на отдыхе, и мудрость Якова Васильевича Платонова. Вихрем бы промчался теперь с Митрофаном Андреевичем Катковым по шляху на его мотоцикле, а остановившись у комбайна, вместе помогли бы молотому комбайнеру пустить в ход машину. Все знает этот Катков! Умница!

Урчат ли тракторы, грохочут ли комбайны «Сталинцы», мчится ли юркий самоходный «С-4», слизывая на ходу пшеницу, ворочает ли плуг пласты чернозема, гремит ли молотилка, полют ли посевы, сеют ли, веют ли — везде, везде они, бригадиры. Мои верные соратники, с какой охотой написал бы я сейчас и о вас, но — что поделаешь! — пока приходится писать о Прохоре Палыче. Это очень-очень нужно!

А дни у Прохора Палыча пошли беспокойные.

Утром он встал, прочитал листок календаря, оделся и пошел в правление давать наряд.

— Все в сборе? — спрашивает он, чинно усаживаясь за стол.

— Все, — отвечают бригадиры хором.

— Та-ак. С чего начнем?

— Да у вас небось план имеется, — улыбается Катков.

— Имеется: все в поле, как одна душа! Кто нарушит трудовую дисциплину — дух вон!

— А мне надо подвезти корм лошадям: три подводы, — говорит Пшеничкин.

— Мне надо в лес за дубками для крытого тока: две подводы, — заявляет Платонов.

— У меня в поле сегодня пойдет только десять человек, а остальные — на огород, — подает голос Катков.

— Так. Я, Самоваров, выслушал и говорю: борьба за урожай — первое дело. Меня, Самоварова, избрали выправить, а не распылять. Все в поле!

И началось! Спорить, кричать, доказывать! Пшеничкин, красный, как вареный рак, кричал, что лошади подохнут, что он отвечать не будет, что лошадь — не мотоцикл и не автомобиль, в нее бензину не нальешь, что ей требуется не бензин, а рацион зоотехники и что он вообще не понимает, как понимать непонятное. Катков скороговоркой резал, что огород — это деньги колхоза, что все надо делать планоно.

Платонов молчал и думал.

Прохор Палыч слушал, слушал все это, да ка-ак стукнет кулаком по столу:

— Всем в поле! Во всех справочниках и календарях написано — борьба за урожай, борьба за хлеб и тому подобно. А вы с капустой, с дубками, с лошадьми своими лезете! На подрыв пошли! Не позволю!

Платонов молчал и думал. Потом все трое сразу вышли. Алеша Пшеничкин с досады настегивал себя по сапогу плетью. Катков выскочил пробкой и стукнул дверь, а Платонов вышел спокойно, будто ничего особенного не произошло.

Время шло. Уже одиннадцатый час дня, а народ слонялся по двору вокруг правления, многие сели на травку, курили и балагурили; волы и лошади стояли запряженными, ездовые сидели, свесив ноги и греясь на солнышке, как заправские лентяи. Никогда такого не было в колхозе «Новая жизнь», а тут получилось. Вот вышли бригадиры из правления, а народ — к ним: что ж, мол, это такое? Какой наряд?

— Не знаю, — сказал Пшеничкин.

— Черт его знает! — сказал Катков.

— Все в поле! — сказал Платонов, увидев выходящего Прохора Палыча.

Раздались возгласы:

— А чего всей бригаде делать в поле? Капуста пропадет.

— Убирать скоро, а в нашей бригаде крытый ток не закончен. В лес надо.

Прохор Палыч все это слышал. Он сразу понял, откуда ветер дует, и сказал бригадирам:

— Вот полюбуйтеесь на вашу дисциплину! Двенадцатый час, а у вас люди лодырничают. Развалили колхоз, проходимцы вы такие! Да еще и массу подстроили на меня, слова-то говорят ваши! Слышь: о капусточке да о дубочках. Это-то мы учтем!

Тем временем, пока народ волновался, Платонов сказал двум другим бригадирам:

— Зайдемте-ка в конюшню да посмотрим, что там сделать: пора, наверно, мазать ее.

Прохор Палыч упер руки в бока, расставил галифе во всю ширину крыльца и решил наблюдать, будет ли выполнен его наряд, а бригадиры вошли в конюшню. Там Платонов и говорит:

— Алеша! Ты садись на меринка — и за село: встречай и направляй своих куда следует; а ты, Митрофан Андреевич, садись на мотоцикл — и на огород: встречай своих и моим скажешь, а я догону помаленьку на дрожках. Но из села выходить всем только в поле. Понятно?

— Есть! — ответили оба и повеселели.

А Катков, проходя мимо председателя, успокоил его:

— Все будет исполнено в точности по вашему наряду!

Прохор Палыч был очень доволен, что он повернул руль руководства на полный оборот, и, возвратившись, сказал счетоводу:

— Ничего-о! Повернем еще круче! А тебе вот что скажу: ты мне приготовь сведения к вечеру.

— Какие сведения?

— Сколько коров, лошадей, свиней, птицы разной и прочих животных; и притом на малюсенькой бумажечке, чтоб на ладонь улеглась. Понял? Случаем, если доклад — все под рукой. — И Прохор Палыч накрыл ладонью воображаемую бумажку.

Счетовод был человек пожилой, лет пятидесяти пяти, в очках с тоненьким блестящим ободком, полный, но очень живой и подвижной и весьма сообразительный, как и все колхозные счетоводы. Зовут его Степан Петрович. Он пережил уже

шестнадцать председателей и толк в них знал очень хорошо. Спорить с Прохором Палычем он не стал, а заверил:

— Будет исполнено в точности!

— Во! Это по-моему! Люблю!

Микроскопическими цифрами исписал Степан Петрович листок из блокнота и, передавая его Прохору Палычу, почему-то улыбался.

— Тоже, наверно, жук! Чего ухмыльнулся?

— Никак нет, не жук. Херувимов Степан Петрович.

— То-то, что Херувимов... М-м-да... Фамилия — того... — Один раз, правда, удалось Прохору Палычу отчитаться по животноводству с этой шпаргалкой, но потом засыпался: о чем ни скажет — всего, оказывается, на самом деле больше, а в бумажке, что под рукой, — меньше. А дело в том, что свиньи поросились, коровы телились, лошади жеребились — всего прибавлялось. Задумался он: как же наладить учет? Степан Петрович советуется искренне:

— Каждый раз надо брать у меня новые данные и проверять в натуре.

Хоть и подозрительная фамилия у этого счетовода, но Прохор Палыч попробовал делать так. Все-таки счетовод, а не агроном какой-нибудь.

Однажды вызывают Прохора Палыча с докладом по животноводству. Выписал ему Степан Петрович все, как полагается, и пошел он проверять в натуре. Приходит на свиарник.

— Сколько свиней?

— Сто одна.

— Так. Правильно. А сколько поросят?

— Двести.

— Бреешь! У меня записано сто восемьдесят два.

— Так ночью две свиноматки опоросились.

— Фу, черт! И надо им пороситься тут, в самое это время, будь они неладны! Пошел в телятник.

— Сколько телят?

— Семьдесят.

— Бреешь! У меня — семьдесят два. Почему, спрашиваю, меньше на два годоводня? Зарезали телков, мошенники!

— Да нет же, нет, — взмолилась телятница. — Двух бычков-то сдали, а документа нет целую неделю, вот они и не списаны. Степан Петрович без документа не спишет. И списать невозможно: должны числиться, мы понимаем.

— Документ, документ! — перебил Прохор Палыч. — Я вам покажу документ! А ну, давай считать в натуре!

Накинули перегородку поперек телятника, как при ревизии, и стали выпускать во вторую половину по одному.

— Раз, — считает Прохор Палыч, — два, три... десять, пятнадцать... Кажись, один проскочил... Двадцать... Будь ты неладно, в носу зачесалось. Не к добру... Двадцать пять... Воздух тут — того... В носу свербит...

Он вынул платок и высморкался по своему обычаю: ка-ак ахнет во всю трубу! Что тут сотворилось! Телята шарахнулись, сбили перегородку, взревели испуганно, истошно — и все перемешались.

Теленок — животное нервное, хотя он и дитя коровы, теленок совершенно глуп и ровным счетом ничего не понимает насчет руководства, но Прохор Палыч обиделся и, плюнув, выразился так:

— Чтоб вы попередохли, губошлепы! Телятся, телятся без удержу, никакого стабилу нет, да еще и не сморкнись. Подумаешь! Дермо!

И ушел.

Но надо же вникнуть в животноводство, в самую глубь? Надо. Пришел он в

правление, сел в кресло и задумался: «Обязательно им надо пороситься, жеребиться, тельиться... куриться!» Тут что-то такое мелькнуло в голове Прохора Палыча, какая-то не то мысль, не то блоха. «Что же такое у меня мелькнуло? — Думает. — Вот мелькнуло и нет... Никогда в голове ничего такого не мелькало, а тут вдруг — на тебе. Уж не помрачение ли у меня?.. А мелькнуло все-таки... Ага! Догадался! Слово неудобное: куриться! — И дальше думает: — Как это куры: курятся или как? Оптичиваются? Нет. Петушатся? Не слышал. Этого слова при людях говорить не надо!»

В самом деле, черт их знает, как они — куры, когда Прохор Палыч сроду с ними не имел никакого дела! И вообще в сельском хозяйстве чепуха какая-то! Другое дело какой-нибудь завод или мастерская — там так: есть станок — есть, есть сто станков — есть. Крышка, эти уж отелиться не могут! Мысли, конечно, тяжелые, но правильные. Но как найти выход? Ужели ж самому за всем и следить, проверять, ходить по этим телятницам, поросятницам, курятницам?

Однако выход он нашел: при всяких отчетах и докладах просто прибавлял поголовье на несколько десятков: «Небось отелились! А не отелились, так отелятся, — эта чертова скотина, она такая». Так что с этим вопросом Прохор Палыч вышел из положения, как и подобает человеку, имеющему опыт руководства.

Но дни наступали все беспокойнее и беспокойнее. Что и говорить — это не у жестянщиков! Тому подпиши, тому выпиши, тот с заявлением лезет, этому усадьбу дай, тот аванс просит, а тот лезет: «Прими телка под контрактацию», будто своих мало. Там на свиней болезнь напала, там, говорят, какие-то суслики где-то что-то едят, тут трактористы донимают, агрономы не дают покоя, землеустроители... Все завертелось. Где там в поле попасть, когда тут пропадешь! И Прохор Палыч уже подписывал на ходу, не глядя, что подписывает, совал заявления в карман и отвечал: «Сделаем — я сказал»; но заявления накапливались пачками. А тут — еще новости! — зоотехники навалились и давай, и давай точить — то за свиней, то за овец! Дошло до того, что Прохор Палыч одной рукой обедает, а другой подписывает и все-таки ничего не успевает сделать, хотя руль повернул на полный оборот. Сказать, чтобы он растерялся, — нельзя: вид у него не такой. Трудно, очень трудно! Не будь водки — пропал бы человек ни за грош! Но он дает себе отдых: норму свою принимает, и все идет нормально и в полеводстве, и в животноводстве, несмотря на большую нагрузку.

Зато есть у него точка опоры в руководстве. Есть! Четыре раза в неделю он созывает расширенные заседания правления, заслушивает отчеты о работе за прошедшие полтора дня и выносит развернутые решения. В этом он незаменим, и все нити руководства у него в руках.

Для примера возьмем одно заседание — очень важное заседание, если говорить без шуток.

Пять часов дня. Близится вечер. Бригадиры бросили поле и прискакали в правление по срочному вызову через нарочного. Прохор Палыч дает распоряжение:

— Расширенное заседание назначаю в семь! Так и объявите! Чтобы все были ровно в девять! Немедленно сообщить всему руководству животноводства, строительства и подсобных предприятий: каждый с докладом. Все!

И пошли бригадиры по дворам уже пешим ходом. В тот вечер я сидел у Евсеича на диванчике и почитывал. Сам Евсеич плел вентерь и подпевал тихонько, а Петя писал что-то за своим столом и не давал покоя старику:

— Как, говоришь, дедушка? «Богом данной мне властью» и...

— Вот пристал! Ну, «богом данной мне властью мы» — не я, а мы, — «мы, царь польский и князь финляндской и проча, и проча, и проча»...

— А вместо «проча» не писали «и тому подобное»? Терентий Петрович говорит, что можно «и тому подобное».

— Нет, не писали: писали «и проча». Да на что это тебе потребовалось? И все ему надо. На кой ляд тебе, как цари писали?

— Для истории, дедушка! — отвечает Петя, а сам ухмыляется.

— Ну, для истории — валяй!

В это время вошел Платонов и объявил мне о заседании правления.

— Опять?

— Опять, — махнул он рукой. — Пропали не спавши! Аж кружение в голове...

Одним сторожам только и покой ночью, не трогает пока.

Из хаты мы вышли четвером: Платонов и я — на заседание правления, Евсеич — на пост, сторожить, а Петя нырнул в калитку к прицепщику Терентию Петровичу (о котором речь впереди). Потом Петя появился в правлении, снова исчез и, наконец, смиренненько уселся в уголке на полу. Когда мы шли на заседание, Платонов спросил Евсеича:

— Отнес?

— Сдал самому Ивану Иванычу и от себя добавил на словах.

Приходим в правление. Народ начинает помаленьку собираться. Усаживают. Однако избегают садиться на скамейки, а больше — вдоль стен на полу и даже между скамейками. Это для того, чтобы удобно было во время заседания поспать, свернувшись калачиком или привалившись головой к соседу. Докладов намечено чуть ли не десять и, кроме того, разбор заявлений, которые лежали перед Прохором Палычем, как стопка вчерашних блинцов, с обтрепанными и завернутыми краями. На столе председателя стоял колокольчик, снятый с дуги: для наведения порядка. На свадьбы Самоваров, правда, продолжал его давать и сам охотно там присутствовал, но чтобы на следующий день колокол снова был на месте.

Колокол оглушительно прозвонил, кто-то тихонько сказал: «Поехали!», а Прохор Палыч объявил:

— Расширенное заседание совместно с руксоставом колхоза «Новая жизнь» считаю открытым. По первому вопросу ведения слово предоставляется мне лично. Товарищи! Сегодня мы, собравшись здесь, заслушаем весь руксостав, рассмотрим весь колхоз. Вопрос один: укрепление колхоза и путь в передовые. В разных, могущих быть возникнутыми, — разбор заявлений. Порядок докладов продуман: первый — бригадир полеводческой бригады товарищ Платонов.

— Подвезло тебе, Яков Васильевич, — вздохнул Катков, — отчитался — и на сон, под лавку.

Прохор Палыч брякнул колоколом и продолжал перечислять порядок докладов:

— Завкладовой, птичница, телятница, все конюха, затем остальные бригады. Слово для доклада даю товарищу Платонову. Вам час дается.

— Не надо мне час.

— А сколько?

— Нисколько.

— Как так?

— Очень просто. Нечего мне говорить — вчера докладывал. Вы должны знать и так, без доклада.

— Я без тебя знаю, что я должен знать. И знаю все. Но порядок такой: в докладе должен сообщить, и внутрь глянуть, и вывернуть все на самокритику. Давай!

— Все у меня благополучно.

— А я говорю, докладывай! Не мне докладывай — народу! Вот они!

И Платонов скрепя сердце, нудно, не похоже на самого себя стал отчитывать, как дьячок. И голос-то у него сделался какой-то унылый, и речь несвязная, а все-таки говорил. Стоит ли перечислять то, о чем он говорил, и так надоело!

Прохор Палыч заставлял говорить одного докладчика за другим и думал: «Я их раскачаю! Заговорят, как миленькие, разовьются!»

Катков шепнул Пшеничкину:

— Тебе, Алеша, дать, что ли, поспать сегодня? Твой доклад в самой середине, беда тебе не спавши!

— Дай, пожалуйста, Митрофан Андреевич! Умру без сна — четвертые сутки!

— Часа на два могу, а больше дару вряд ли хватит, Алеша.

— И на том спасибо! Мне больше и не надо. Я, может, до полночи еще прихвачу немного.

И около двенадцати часов ночи, когда Прохор Палыч выкликнул фамилию Пшеничкина, тот безмятежно спал, свернувшись калачиком в углу, а около него сидел и бодрствовал Катков. Когда он услышал: слово «Пшеничкин», то встал и сказал:

— Мой доклад, Прохор Палыч, а не Пшеничкина, ошибочка произошла. И к тому же я приготовился.

Любил такие передовые выступления Прохор Палыч и поэтому сказал:

— А может, и ошибка, тут голова кругом пойдет. Давай!

И Митрофан Андреевич принялся «давать». Он рассказал о плане Волго-Дона, остановился на учении Вильямса, загнул о происхождении жизни на земле по двум гипотезам, коснулся трактора и описал все детали его по косточкам: лишь бы Алеша спал подольше. О работе своей бригады он почти ничего не говорил, но все, кто еще не успел заснуть, слушали его с удовольствием, а многие даже проснулись. Алеша спал сном праведника до двух часов ночи. Наконец Катков закончил:

— И так, на основе мичуринского учения, моя бригада и работает. Все!

— Весь высказался? — спросил Прохор Палыч.

— Могу и еще, но утомился, — ответил докладчик и с сожалением посмотрел на кудри Алешы Пшеничкина, раскинувшиеся на полу.

— Следующий!

Уже перед рассветом, когда загорланили по всему селу третьи петухи, приступили к разбору заявлений. Прохор Палыч обратился к бодрствующим:

— Будите! Начинаем заявления.

— Да какие же заявления? Рассветает!

— Хоть десяток, а разберем. Будите!

Народ зашевелился, закашлял, закурил, раздались сонные, но шутливые голоса:

— Вставай, Архип, петух охрип! Белый свет в окне, туши электричество!

— Аль кочета пропели? Скажи, пожалуйста, как ночь хорошо прошла! Можно привыкнуть спать вверх ногами.

— Завтра работаем, ребятки, спросонья!

— Не завтра, а сегодня.

Рявкнул колокол. Прохор Палыч объявил:

— Первое заявление разберем от Матрены Чуркиной. Просит подводу — отвезти телушку в ветлечебницу. Читай подробно! — обратился он к счетоводу.

— Чего там читать! — сказал спросонья Катков (он тоже чуть-чуть прикорнул перед светом). — Чего читать? Телушка месяц как скончалась.

— Как это так? — спросил председатель, синий от бессонницы.

— Да так — подохла. Покончилась — и все! Не дождалась.

— Как так скончалась? Заявление подала, а померла... То есть того... Зачем тогда и заявление подавать?

— Не Матрена, а телушка, — вмешался Пшеничкин. Но Прохор Палыч смутно понял, что в результате ночных бдений у него вроде все перепуталось.

— Ясно, телушка, — продолжал он поправляясь. — Товарищи! Телушка до тех пор телушка, пока она телушка, но как только она перестает быть телушкой — она уже не телушка, а прах, воспоминание. Товарищи! Поскольку телушка по-

кончилась без намерения скоропостижной смертью, предлагаю выразить Матрине Чуркиной соболезнование в письменной форме: так и так — сочувствуем...

Алеша Пшеничкин не выдержал и крикнул:

— К чертям! Матрене телушку надо дать из колхоза: беда постигла, а коровы нет!

— Сочувствую! Поддерживаю, — ответил Прохор Палыч, — но без санкции товарища Недошлепкина не могу.

— Всегда так делали, всю жизнь помогали колхозникам в беде! — горячился Алеша. У него, и правда, почти вся жизнь прошла в колхозе. — Всегда так делали, а при вас — нельзя. Жаловаться будем в райком!

— Жаловаться в райком! — повторил Катков.

— Жаловаться в райком! — поддержал Платонов.

— Жаловаться в райком! — крикнули сразу все, сколько было. Прохор Палыч громко зазвонил колоколом, восстановил порядок и спокойно сказал:

— Жалуйтесь! Попадет жалоба первым делом товарищу Недошлепкину, а я скажу ему: «Вашей санкции на телушку не имел». Все! Этим меня не возьмешь! Давай следующее заявление! Читай! — скомандовал он счетоводу.

Степан Петрович взял заявление из пачки, надел очки на кончик носа и приспособился было читать, но вдруг прыснул со смеху, как мальчишка, и сказал:

— Извиняюсь, нельзя читать! Невозможно, Прохор Палыч. Сначала сами прочитайте! Обязательно! Здесь для вас одного написано...

— Приказываю: читай!

И Прохор Палыч откинулся на спинку кресла, а от досады и на телушку, и на бригадиров, и на всех сидящих здесь решил про себя: «И слушать не буду: пусть сами разбирают! Посмотрим, как без руководства пойдет заседание: раскричатся, да еще и передерутся. Не буду и слушать!» И правда, он сперва не вслушивался, а счетовод — шестнадцать председателей пережил — не стал возражать и читал:

— «Кю всему колхозу!

Мы, Прохор семнадцатый, король жестянщиков, принц телячий, граф курячий и прочая, и прочая, и прочая, богом данной мне властью растрянжирили кладовую в следующем количестве: «ко-ко» — две тысячи, «бе-бе» — десять головодней, «хрю-хрю» — четыре свинорыла. И еще молимся, чтобы без крытого тока хлеб наш насущный погноить! И призываю вас, аккуратно всех, помогать мне в моих делах на рукработе в руксоставе! Кто перечит — из того дух вон! И тому подобно, подобно, подобно...»

— Сто-о-ой! — возопил Прохор Палыч.

Колокол звонил. Народ встал на ноги и надевал шапки в великом недоумении от королевского послания. Только Петя Федотов сидел в уголке смиренненько и, ничуть не улыбаясь, смотрел на происходящее.

— Что случилось? — спрашивали проснувшиеся.

— Где горит? — вскрикнул кто-то.

Прохор Палыч рванул бумажку из рук счетовода.

— Кто подписал? Дайте мне врага колхозного строя!

— Вы, вы... сами подписали! Ваша личная подпись стоит, — с напускным испугом говорил Степан Петрович. — Я же вам говорил, я предупреждал, я вас просил, но вы приказали. У вас же характер такой: сказал — крышка! Надумал — аминь!

Председатель остолбенел. Да и как было не остолбенеть? На послании «Кю всему колхозу» стояла его собственная подпись. Никто не мог бы скопировать извивающуюся змею вместо начального инициала «П», невозможно подделать семь колец буквы «С», а дальше — девять виньеток с двумя птичками и вокруг фамилии овал с прихвостьем ровно в тринадцать завитков. Ни один мошенник

не может подделать подобной подписи или даже расшифровать ее — это невозможно! Подписал он где-то на ходу, не глядя. Но кто, кто мог подсунуть? Где этот — тот самый, которого надо раздавить? Прохор Палыч махнул рукой, чтобы все уходило.

...Деятельность Прохора Палыча в колхозе продолжалась четыре месяца. Заседание, описанное выше, было в начале пятого месяца.

В понедельник утром Прохор Палыч собрался ехать в район с крамольным посланием, доказать, что ветер дует от бригадиров, разъяснить, что ему никто не помогает, а все идут на подрыв, и снять после этого всех троих сразу. Но вспомнил: понедельник — день тяжелый, и отложил. Во вторник поехал — кошка перебежала дорогу.

«Чертова живность! Чтоб тебе пусто было! Еще попа недоставало... Этот если перешел дорогу — то все, вертайся назад! Не первый год, знаю...»

Кошка испортила все настроение, а оно и так в последние дни стояло на отвратительно низком уровне. Ехал он сумрачный, мыслей никаких не было, и в голове ничего не мелькало, кроме одной кошки.

И, странное дело, въехал Прохор Палыч в город, будто в чужой, а не в тот, что был много лет родным гнездом, где он многие организации и учреждения укреплял и где оставил по себе память на долгие годы.

Приехал и пошел прямо к Недошлепкину, чтобы с ним уже идти к секретарю райкома. И снова не повезло — чертова кошка! — Недошлепкина не было. Кабинет закрыт, а секретарь райисполкома говорит:

— Не знаю, где. Второй день нету.

Не ехать же обратно — пошел один. Входит он в кабинет секретаря райкома, Ивана Ивановича Попова. Тот его встречает:

— А-а!

А Прохор Палыч и не знает, как понимать это «а-а!» Никогда такого разговора не было. Вынул платок, высморкался. Этому я сам был свидетелем, сидел в кабинете рядом с Петром Кузьмичом Шуровым, с которым я читателя уже познакомил раньше. Но Прохор Палыч не знал Петра Кузьмича и думал: «Свистун какой-то, никакого руководящего виду».

Достаёт Прохор Палыч «послание» и кладет на стол. Иван Иванович берется читать и... как захохочет! Хохочет, как мальчишка, снял пенсне и вытирает слезы, аж подпрыгнул в кресле и за живот хватается обеими руками. Прохору Палычу показалось, что секретарь рехнулся умом или, во всяком случае, тронулся мозгами. Не может же так смеяться действительный секретарь райкома! Настоящий секретарь обязан смеяться так: «ха!» и подумать, «ха!» и еще раз подумать. А этот заливается слезным хохотом.

— И подпись-то, подпись-то ваша, — почти умирая, хохочет Иван Иванович.

И Петр Кузьмич хохочет. Закрыв глаза, одной рукой за русые волосы ухватился, а другой отмахивается, будто от мухи, и трясется весь от хохота.

«Бьет смех, как припадочного!» — подумал Прохор Палыч и ничего — абсолютно ничего, ну ни единого нуля! — не понял из происходящего.

Отсмеялись. Пьет воду Иван Иванович и передает стакан Петру Кузьмичу. Напились. отошел Иван Иванович к окну и смотрит в сад, помрачнел как-то сразу и спрашивает, не глядя на Самоварова:

— С этим и пришел?

— Да. Один подрыв. Никто не помогает — один, как свечка, кругом. Все сам! Чего сам не сделаешь, того никто не сделает. Мошенники и жулики все, особенно бригадиры: снимать надо. Согласовать пришел.

А Иван Иванович будто и не слушает. Сел в кресло, смотрит в середину стола и говорит:

— Что мы наделали? Четыре месяца прошло!.. Ведь вы, Самоваров, что наворочали!.. Молокопоставки просто угробили, поставки шерсти сорвали, контрактацию молодняка проворонили. На носу уборка, а у вас в двух бригадах нет крытых токов, погноите хлеб! Людей с ферм разогнали. Замучили всех ночными заседаниями. Ведь это еще благо, что там золотые бригадиры, — хоть в поле-то все благополучно, в чем вы, кажется, неповинны... Эх! Нам колхозники доверяют, а мы? Кого поставили, кого рекомендовали!

Прохор Палыч по своему опыту понял, что наступил момент признавать.

— Признаю! Тяжко мне сознавать всю вину! Допустил ошибку, большую ошибку! И она — вот где у меня! — Он стукнул трижды кулаком по груди, трижды высморкался, посопел, вытер сухие глаза и уже тихо произнес согласно надлежащему в этом случае правилу: — Признаю и каюсь!

А Иван Иванович говорит:

— Да не ваша ошибка, чучело вы этакое! Наша, моя лично! — Прохор Палыч встал и, расставив руки с растопыренными пальцами над галифе, попятился назад в полном недоумении.

— Что, не понимаете? — спрашивает секретарь. Прохор Палыч мотает головой.

— Тогда и о вашей ошибке скажу. Вот у меня коллективное заявление бригадиров и многих колхозников, просят немедленно созвать общее собрание, пишут о вашем самодурстве. Собрание проведем завтра.

Прохор Палыч снова сел и, кажется, начал кое-что понимать.

— Но это не все, — продолжал секретарь. — Вот акт о незаконном «ко-ко» и «бе-бе» на три тысячи рубликов, здесь и Недошлепкину начислили около тысячки. Вы даже и акт отказались подписать, Самоваров... Такие-то дела!

Прохор Палыч действительно прогнал какого-то щуплого бухгалтеришку, который все совал ему какой-то акт, но что это за акт, ей-богу, не знает и не помнит. А оно — вот что! И он сидел, тучный, широкий, непонимающий, опустошенный внутри. Внутри ничего не было!

Иван Иванович продолжал:

— Будем рекомендовать товарища Шурова — агронома!

Прохор Палыч встрепенулся. Он будто опомнился, будто живая струя просочилась внутрь.

— Как? Агроном — председатель? — И вся его фигура говорила: «Мошенника, химика и агронома — в председатели?»

— Да, — ответил секретарь, а Шуров улыбнулся. — О вас же, Самоваров, будем решать вопрос на бюро, что дальше делать. Хорошего не предвижу.

Так бесславно кончилась деятельность Прохора Палыча в колхозе. Не буду описывать, как проходило общее собрание. Каждый знает, как выгоняют колхозники негодных руководителей — наваливаются все сразу и без удержу отхлестывают и в хвост, и в гриву, отхлестывают и приговаривают: «Не ходи куда не надо! Не ходи!»

Стал Прохор Палыч нелюдим и задумчив: что-то такое в нем зашевелилось внутри и ворочалось, ворочалось все больше. Удивлялись люди: смиренный стал, тихий.

Был суд.

Прохору Палычу дали год исправительно-трудовых работ.

Видел я его еще раз, незадолго до суда, в закускойной. Он сидел за столом с Недошлепкиным, и оба были в среднем подпитии. Лицо Прохора Палыча осунулось, он похудел, глаза стали больше, нос — меньше; одет в простую синюю, в полоску, сатиновую рубашку. Его собеседник был все в той же форме «руксостава» — в черной суконной гимнастерке с широким кожаным поясом, в тех же огромных роговых очках, — такой же, как и был.

— Ну, тебя-то, — говорил Недошлепкин, — волей-неволей надо было снимать — с сельским хозяйством не знаком. Я это предвидел. А за что сняли меня? За что прогнали из партии? За что оклеветали?

Прохор Палыч медленно встал, смотря в одну точку. Глаза его были влажными и красными. Вдруг он сжал зубы, стукнул кулаком по столу так, что задребезжали стаканы, и вскрикнул:

— Убил бы!

Недошлепкин отпрянул всем корпусом, будто от удара в лоб, очки спрыгнули на самый кончик носа, на лысине выступил капельками пот, губы что-то зажевали, он поднял ладонь над головой, будто защищаясь, и прохрипел:

— Кого?

— Себя! Ошибку в колхозе допустил: не туда руль повернул. Каюсь, — заныл он по привычке и склонил голову на грудь. Так Прохор Палыч постоял немного, затем извлек из кармана клетчатый носовой платок и высморкался.





Анатолий Жигулин

ИСЦЕЛЕНИЕ

Поэты нередко утверждают, что их биографии следует искать в их стихах. В значительной мере, это действительно так. Между тем, у многих мы находим и сугубо биографические страницы прозы, предваряющие или заключающие избранные поэтические книги. Есть таковые и у нашего земляка-воронежца поэта Анатолия Жигулина (1930–2000). В этих биографических, исполненных лирической тональности страницах предстают перед нами главные вехи его жизненного пути. Овеяно поэтическими видениями, настроениями и, наконец, воспоминаниями раннее детство в сельской местности близ Дона; незабываемое впечатление от былины «Про Илью Муромца и Соловья-разбойника», многократно рассказанной отцом, человеком крестьянского корня, и от «Кавказского пленника», прочитанного будущему поэту и его младшему брату матерью, происходившей из дворянского рода Раевских. Но уже на исходе детства чуткое сердце ранят огонь и хаос: жестокий рубец на нем оставила война, которая за полгода в сорок втором и начале сорок третьего в руины и пепел превратила родной Воронеж и долго еще напоминала о себе не только городскими развалинами, но и бесконечными окопами и воронками на окраинах, железным хламом, пробитыми касками...

О войне, о родном городе и были первые жигулинские стихи, опубликованные в воронежской печати уже в ранней юности, когда он заканчивал школу, поступил в лесотехнический институт. Начало творческой биографии складывалось удачно. Но тут над девятнадцатилетним юношей разразилась беда: как деятельный участник воронежской КПМ («Коммунистическая партия молодежи»), он с товарищами был арестован, осужден и сослан в далекие лагеря; в Сибири строил железную дорогу Тайшет—Братск, на Колыме терял здоровье на рудниках. В 1954 году реабилитированный Жигулин вернулся в родной город. Продолжил обучение в институте, снова стал печататься. В 1959 году в Воронеже вышел в свет его первый поэтический сборник «Огни моего города». Тогда молодому поэту сердечным участием, добрыми советами, редакторскими соображениями много помогли писатель Владимир Кораблинов, редактор местного издательства Александра Жигульская, ученый-литературовед Анатолий Абрамов. И не может быть не назван Борис Стукалин: будучи редактором воронежских областных газет, Борис Иванович чутко, строго, но доброжелательно знакомился с ранними жигулинскими стихами, печатал их на страницах «Молодого коммунара», «Коммуны», а став министром печати СССР, помог в быстрейшем издании ряда сборников талантливого земляка. А вскоре Жигулину выпало счастье познакомиться (через Абрамова) и с Александром Твардовским, который в январском номере «Нового

мира» за 1962 год опубликовал цикл стихов, что положило начало широкой известности поэта из Воронежа.

Итак, жизнь — как судьба. Естественно, и поэзия Жигулина не могла не стать поэзией по-настоящему драматической и счастливой судьбы. Литературной критикой наш земляк был причислен к поэтам так называемой тихой лирики. В последней трети прошлого века эта «тихая лирика» (кроме Анатолия Жигулина, еще Владимир Соколов, Анатолий Передреев, Николай Рубцов, Алексей Прасолов, Глеб Горбовский, Станислав Куняев, Юрий Кузнецов) была услышана, востребована, может, куда вернее, нежели так называемая шумная, эстрадная. «Тихая лирика» голосом предельно искренним заговорила о самом серьезном. О Родине, не только побеждающей, но и страдающей. О Родине, обворованной в ее историческом, духовном бытии. О человеке не только с его победами, но и потерями. То была лирика сердца, лирика страдательная и сострадательная. За нею виделась небывало трагическая и героическая судьба народа.

В стихах и раннего, и более позднего Жигулина есть благодарная переключка с классиками, опора на традицию, и здесь очевидные имена — Кольцов, Никитин, Бунин, Есенин, Твардовский. О Кольцове Жигулин сказал: «Главная моя общность с замечательным земляком — это одна наша воронежская (да и вообще российская) земля, Родина... Эта близость естественна, как сама наша природа, как сама наша из века в век переходящая боль русского сердца».

Еще в начале восьмидесятых годов поэт подарил мне от руки написанные, не опубликованные тогда стихи — «Отдам еврею крест нательный...», «Перепелка над пшеничным полем...», «Здравствуй лоза у оврага...», «Метель» и уже опубликованную «Соловецкую чайку».

Изредка их перечитываю — с самыми разнообразными чувствами.

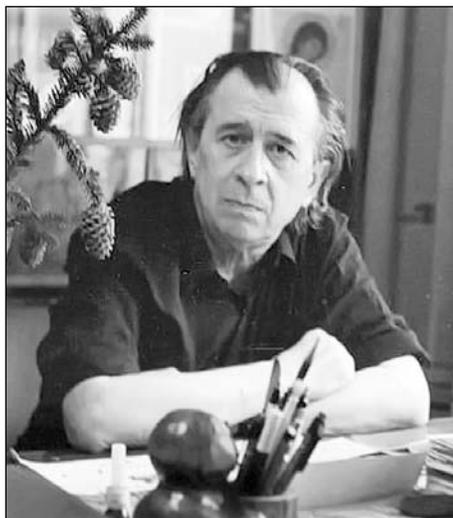
Все осталось, как было.
И будет всегда.

Это как эсхатологический приговор соловецкой чайки.

Совсем незнакомая местность.
И снежные призраки дней
Летят и летят в неизвестность
Из тающей жизни моей.

Грустно. Но распогоживается, но отпускает, когда читаешь начальные строки «перепелки...»:

Перепелка над пшеничным полем
И вечерний предзакатный лес.
Словно звон далеких колоколен
Тихо разливается окрест.
Тихий звон неведомо откуда...
На плохую жизнь не сетуй, друг.
Все равно она большое чудо.
Лишь бы свет небесный не потух...



Анатолий Жигулин

Уходит случайное. Остается память — прежде всего память о главном. Память в мире существует даже вне человека, ею человечество может спастись. Доброй памятью. Один из ранних сборников жигулинских стихотворений так и назван — «Память».

Виктор БУДАКОВ

УТИНЫЕ ДВОРИКИ

Утиные Дворики — это деревня.
Одиннадцать мокрых соломенных крыш.
Утиные Дворики — это деревья,
Полынная горечь и желтый камыш.

Холодный сентябрь сорок пятого года.
Победа гремит по великой Руси.
Намокла ботва на пустых огородах.
Увяз «студебеккер» в тяжелой грязи.

Утиные Дворики...
Именем странным
Навек очарована тихая весь.
Утиные Дворики...
Там, за курганом,
Еще и Гусиные, кажется, есть...

Малыш хворостиной играет у хаты.
Утиные Дворики...
Вдовья беда...
Все мимо
И мимо проходят солдаты.
Сюда не вернется никто никогда...

Корявые вербы качают руками.
Шуршит под копной одинокая мышь.
И медленно тают в белесом тумане
Одиннадцать мокрых
Соломенных крыш.

1966

* * *

Послевоенная Россия,
Буханка хлеба — сто рублей.
Но если бы сейчас спросили, —
Дней не припомню веселей.

Наверно, жизнь лишь в раннем детстве
Так первозданна и свежа,

Что никаких утрат и бедствий
Не хочет принимать душа.

Я убежал тогда с урока
В запретный ельник за селом.
И ржавый танк с пробитым боком
Не увезли в металлолом.

Над обездоленной равниной
Дымок струился от села.
И блиндажей сырая глина
Еще травой не заросла.

Но я судьбою был доволен,
И сердце прыгало в груди.
И жизнь весенним теплым полем
Еще синела впереди.

1969

* * *

Соловецкая чайка
Всегда голодна.
Замирает над пеною
Жалобный крик.
И свинцовая
Горькая катит волна
На далекий туманный
Пустой материк.

А на белом песке —
Золотая лоза.
Золотая густая
Лоза-шелюга.
И соленые брызги
Бросает в глаза,
И холодной водой
Обдает берега.

И обветренным
Мокрым куском янтаря
Над безбрежием черных
Дымящихся вод,
Над холодными стенами
Монастыря
Золотистое солнце
В тумане встает...

Только зыбкие тени
Развеянных дум.

Только горькая стылая
Злая вода.
Ничего не решил
Протопоп Аввакум.
Все осталось, как было.
И будет всегда.

Только серые камни
Лежат, не дыша.
Только мохом покрылся
Кирпичный карниз.
Только белая чайка —
Больная душа —
Замирает, кружится
И падает вниз.

1973

* * *

О, Родина! В неярком блеске
Я взором трепетным ловлю
Твои проселки, перелески —
Все, что без памяти люблю:

И шорох рощи белоствольной,
И синий дым в дали пустой,
И ржавый крест над колокольней,
И низкий холмик со звездой...

Мои обиды и прощенья
Сгорят, как старое жнивье.
В тебе одной — и утешенье,
И исцеление мое.

1967



РОДНЯ

Рассказы

Сергей Пылёв

Пылёв Сергей Прокофьевич родился в 1948 году. Прозаик, публицист. Член Союза писателей с 1984 года.

МОЙ ДЕРЕВЕНСКИЙ БРАТ

Уйдя в отставку, отец, Прокофий Ильич, — военлет, комэск, для постоянного жительства выбрал Воронеж: поближе к своей родной деревне Милавке. И отныне у нас часто можно было застать его дядьев, братьев, сестер и племянников. Приезжая в Воронеж по своим делам, милавцы нас не обходили. Отца они считали большим человеком: как-никак служил в одном полку с Гагариным. К тому же он часто помогал родне, — купить корову, поставить дом или на похороны. Деньги деньгами, но и многие наши вещи донашивали в Милавке. Порой доходило до казуса: однажды дядя Илларион, старший брат отца, восхитился маминой кротовой шубой. Та была совсем новая и мама, Татьяна Яковлевна, ее успела надеть один только раз. Как бы там ни было, отец обнял дядю Иллариона и объявил, что дарит шубу своей золовке. Правда, Аня, жена Иллариона Ильича, которую в Милавке почему-то звали Оней-Аней, так ни разу ее и не надела. Оня-Аня стеснялась пройти в ней по деревне. Шуба пролежала в сундуке, пока моль не сделала свое дело.

Узнав об этом, отец только скрипнул зубами. Помогая родне, он, наверное, чувствовал себя, ни мало ни много, главой рода. В свою очередь, милавцы платили ему, чем могли: они по собственной инициативе переименовали отца из Прокофия в более благозвучного Владимира. Учитывая его отчество, отец стал по-ленински Владимиром Ильичем, а это в те еще перестроечные годы было нечто. Потом же из деревни везли нам самое разное свойское угощение. Скажем, пахнущие ржаной соломой моченые яблоки, которые хранились в бочках до февраля-марта в реке, подо льдом, отчего, наверное, и были они на всю область известны своим особенным забористым вкусом. Яблоками Милавка славилась. Но особенно она славилась салом. Сало нам тоже везли бесперебойно. С черновато-коричневой, паленой шкурой, оно на срезе отливало перламутровой живой белизной, прорезанной сургучными прожилками любовчинки. Свиной в Милавке обычно забивали, как и полагалось, на Великий Четверток. Вроде тогда салу и мясу сообщались все необходимые достоинства. Я никогда не видел, чтобы отец ел сало с базара или

тем более магазинное. Он исключительно пользовал милавское. Если оно у нас заканчивалось, отец терпеливо ждал. Ему никогда не приходилось ждать долго.

Этой зимой в очередной посылке из Милавки кроме яблок, сала и угольно-блестящих сушеных груш обнаружилась бледная любительская фотография: сутулый, широконосый пацан в валенках, тесном пальто и кожаном летном шлеме.

— Узнаешь? — приобнял меня отец.

Я узнал свое пальто, этой весной благополучно отбывшее в Милавку, узнал заветный шлемофон, который мне так и не удалось ни разу надеть.

— Не ломайся! — нахмурился отец. — Ты же этому малому однажды чуть ухо не отгрыз! Вам тогда года по четыре было. Никто не понял, почему ты на него набросился! Тебя еле оторвали. Пришлось мне покраснеть за своего сыночка!

— Вспомнил? — осторожно улыбнулась мама.

— Нет... — вздохнул я.

Отец выхватил фотографию. Во всем, что касалось его родни, он был просто-таки щепетилен. Оно и понятно: подчеркивая во всем родственную связь с милавцами, щедро посылая в деревню деньги, одежду, он сам, тем не менее, ни разу туда не наведаясь. Что-то его всегда удерживало. Отец откладывал и откладывал поездку в деревню. Хотя какой-то явной причины не поехать не было. Он, случалось, уже сидел на чемоданах, но в последнюю минуту вдруг объявлялось нечто и вынуждало его остаться.

На фотографии был мой двоюродный брат Николай, сын дяди Иллариона Ильича.

С тех пор он стал регулярно присылать нам открытки к праздникам и даже письма. Они были полны ошибок. Я находил их, несмотря на то, что моя грамотность тоже была не на высоте. Не иссякавшие послания Николая казались мне написанными словно бы тремя разными людьми: мальчишкой, стариком и сельским дьячком.

«Здравствуйте и к тому же извините за долгое молчание наши дорогие родственники дядя Володя, тетя Таня и брат Сережа, который никакой мне не двоюродный, а самый настоящий родной по крови и духу!» — писал Николай.

И чем заковыристей выражался Николай, тем больше умилялись над его строчками мои родители. Однажды мама даже расплакалась над очередным письмом. Она только что перенесла грипп, об этом узнали в Милавке, и Николай не замедлил откликнуться, старательно соблюдая давно забытые мной правила нажима пером: «Будьте так добры, тетя Таня, не болейте в другой раз! Очень изволновались и уже хотели ехать до Вас: и отец мой Илларион Ильич, потом же мамка Аня и даже сосед наш дед Демоньяка. Душевно посылаем лечиться травы, а также яблоки и немного сальца. Поправляйтесь со всей окончательностью. Об этом сообщите обязательно, чтобы и мы могли порадоваться за Вас. Лети с приветом, вернись с ответом!»

Меня тотчас посадили писать ответ. Я вымучил полстраницы, и отец остался недоволен моей краткостью. Словно в укор мне, он в очередной раз объявил, что едет погостить в Милавку. Был канун Нового года, и скоро начались затяжные метели, так что сообщение с Милавкой надолго прервалось. Отец снова остался дома.

Тем не менее, Николай не задержался с ответом на мое куцее письмо и в буран за десять километров добрался до райцентра, где была почта. Так что вскоре мы опять читали рассуждения уже известной нам тройцы: мальчишки, старика и дьячка.

— Вам с Колей надо переписываться! Вы же братья! — вдохновенно постановил отец.

И все-таки в развитие эпистолярного жанра мы с Николаем свой вклад так и не

внесли: приближался конец учебного года, и надо было избежать грозивших мне доек по алгебре и химии.

В конце концов, ответами в Милавку занялась мама. На 8 Марта она даже послала Оне-Ане нечто в стихах. Поэтическим размером это напоминало сказку про Конька-Горбунка. Мама была из поколения, которое повально увлеклось сочинять под Ершова. Вообще-то раньше мама стихи не писала. Трудно сказать, почему ее вдруг потянуло рифмовать. Но получилось в меру складно и бойко.

На это письмо Николай так и не ответил. О причине можно было только догадываться. Скорее всего, он тоже хотел прислать стихи, да они ему не дались.

Как бы там ни было, в свой очередной приезд дядя Илларион, кроме традиционных яблок, груш и, конечно же, сала, привез назад мамино письмо в стихах.

— Очень складно написано! Может быть, оно вам еще для чего пригодится. Вдруг в газете захотите напечатать... — уважительно, несколько смущенно проговорил Илларион Ильич.

— Что же ты никогда не возьмешь с собой сына?! — душевно возмутился отец. — Надо братьям поближе сойтись!

— Учится он... — вздохнул дядя, и стало достаточно ясно, по крайней мере, для меня, что успехи в обретении знаний у Николая на нулевой отметке.

— На весенних каникулах привези! — не отставал отец.

— Да нужен он твоему!.. — дядя мельком глянул на меня и как-то странно, непонятно подмигнул. — Мой деревня деревней!

— Письма Коля пишет достаточно грамотно! — порывисто сказала мама. — И у него все меньше и меньше ошибок!

— Пыжится! — усмехнулся дядя. — Да толку... Коровам хвосты крутить ума много не надо.

— А в институт он у тебя не собирается? — строго сказал отец. — Стране нужны квалифицированные специалисты!

Дядя сник.

Однако на каникулах дядя Илларион все-таки приехал с Николаем. Мой двоюродный брат оказался весьма даже похож на меня. По фотографии это было не так заметно. Дело в том, что Николай напоминал меня не столько внешне, сколько жестами и манерами. Он, как и я, при ходьбе забрасывал руки за спину, а, наевшись, склонял голову к плечу.

Голос его я услышал не сразу. То глухое, словно бы раздавленное «здрасьте», которое Николай, войдя, сипло выдал за спиной Иллариона Ильича, само собой, было не в счет. Он судорожно, уперто молчал. Словно не замечая этого, мама то и дело о чем-нибудь спрашивала его, но ответа, само собой, не получала. Со стороны было похоже, будто она учит Николая говорить.

— Коля, а ты хотел бы поступить в институт, получить высшее образование? — обратилась она к нему. — Поверь, нам не безразлично твое будущее! Надо верить в себя! Ты хорошо знаешь, что когда-то дядя Володя был всего-навсего простым пастухом! Пора подумать о большой дороге для себя!

— Я, парень, тебя не оставлю! — сказал отец таким тоном, словно и в самом деле мог вершить чужие судьбы. — Помощь будет. Обеспечим.

— Вот спасибо так спасибо!.. — вздернулся дядя Илларион и подмигнул Николаю. — Сынок, поблагодари и ты как следует. Мы ведь не без понятия!

Николай вдруг побледнел.

— Отставить! — вскрикнул отец, почувствовав неладное. — Давайте без всяких там фиглей-миглей: мы же родные люди!

Дядя Илларион схватил его за руку и, зажмурясь, скрипнул зубами. Это, кстати, был, если так можно сказать, чисто милавский проект. Они хлестко обнялись. Братья тискали друг друга и очень даже по-милавски скрипели зубами. Мама улы-

балась, закрыв уши. Нервы у нее не выдерживали такие звуки. Они были жестче тех, когда ножом скребут стальную сковороду. И все-таки она улыбалась. Нельзя было не улыбаться, глядя на мужиков, которые расчувствовались по всей программе. Само собой, даже слезы были с обеих сторон. Да и концерт зубами они устроили самый настоящий.

В это время Николай вдруг и заговорил:

— Учиться я, само собой, хотел бы! — неожиданно запросто, даже как бы несколько нахально сказал он. — Мне это, в общем-то, нравится. Плохо, что я не могу стать летчиком, как дядя Володя. На гранате пацаном подорвался... Живот, что решето. Но я пойду в политехнический и буду конструировать самолеты. Самые лучшие в мире!

— Ты хочешь на авиационный факультет? — со знанием дела уточнил я. — Здорово! Значит, будем поступать вместе. Я тоже туда решил. Только учти: конкурс там еще тот!

Однако Николай, как спохватившись, уже снова молчал. Мало того, он еще отчаянней побледнел.

— Зачем ты перебил брата?! — вскрикнул отец.

— Говори, деточка, мы тебя внимательно слушаем! — воскликнула мама.

Но они уже не добились от него ни слова: он молчал как партизан.

А потом мы сели обедать. На столе были отличные, сочные пельмени и не менее сочные голубцы в капустных коконах, но отец, тем не менее, ничего не ел, кроме милавского сала. Он как священнодействовал над ним.

Когда мама подала на дулевском блюде из густо-белого яркого фарфора алый, тяжеломысый арбуз, Николай вдруг судорожно встал из-за стола. Отойдя в сторону, он скovyрнул с ног непривычные ему тапочки и тихо, почти нежно сказал:

— Лапы совсем запотели. Пусть охолонут...

После обеда я снова услышал его голос, — он глухо, как через силу, спросил у меня:

— Сортир где?..

Я провел его в конец коридора. Николай закрылся в туалете, несколько раз для надежности с силой подергал дверь изнутри: сила у него была. При этом он что-то сказал, но я не разобрал.

Его долго не было.

Вдруг я услышал с той стороны сдавленный шепот: Николай звал меня. При этом он как-то странно, судорожно мялся и смотрел достаточно тоскливо.

— Не могу... в доме, — сдавленно проговорил он и скрипнул зубами похлеще моего отца и дяди Иллариона. У меня, кстати, так не получалось, хотя я не раз пробовал, не жалея зубов. Я один из всей нашей мужской родни не умел ими так основательно скрипеть. При всем при том зубы у меня были в полном порядке.

— Мы у себя до ветра ходим... — чуть ли не всхлипнул Николай.

И я повел его на улицу. Мы скоро нашли подходящее место в глубине аллеи. Он между делом закурил.

— Будешь? — предложил мне Николай, не вставая.

Я машинально взял у него сигарету. Термоядерный «Памир».

Это была моя первая попытка курить. Я сделал пару судорожных затяжек и как ослеп. Будто со стороны слышал я звук, с каким упал лицом в весенний колючий снег. Позднемартовский, залежавшийся в тени наперекор весне, он был коярвый и жесткий как шлак.

Николай привел меня в чувство, растирая уши. Делал он это очень больно, но, наверное, иначе было нельзя.

Я очнулся, вскрикнул и оттолкнул его.

— Еще дерется!.. — разогнулся он, подтягивая штаны, перехваченные солдат-

ским ремнем с бляхой, залитой изнутри свинцом, чтобы ей можно было серьезно действовать в драке.

Я сел на корточки, привалившись спиной к скользкой ледяной стене.

Вечером дядя Илларион и Николай уехали. Мне без него вдруг стало немного грустно, но я постарался не придавать этому значения.

Обычно из Милавки наезжали к нам так часто, что мы сразу заметили, когда однажды эти посещения вдруг резко прекратились.

Посылки и письма шли, но никто уже не заходил. Кстати, посылки стали приходить как никогда часто. И если яблоки все-таки подьедались, то куда девать милавское сало, мы уже просто не знали. Как ни любил его отец, но с такими объемами он один справиться не мог. Меня и маму в расчет брать по-прежнему не приходилось.

Когда однажды мама случайно увидела на базаре кого-то из нашей милавской родни, а те сделали вид, что не узнали ее, — отец забеспокоился всерьез. Он снова решил ехать в деревню. По всему эта заветная поездка должна была, наконец, состояться. Все шло к этому.

— Оупупели они, что ли, там? — говорил отец, судорожно уталкивая вещи в саквояж. — Ну и мужики! Давно я с ними по-свойски не толковал!

И вот за ним закрылась дверь. Надо отметить, что во все его предыдущие милавские сборы до этой черты ни разу не доходило.

Мы с мамой вышли на балкон, чтобы увидеть, как отец будет переходить улицу и помахать ему.

Я и мама стояли достаточно долго, но его все не было. И мы уже решили, что проглядели отца.

А он все это время сидел в комнате у нас за спиной и читал письмо. Это было письмо из Милавки. Отец только что взял его из почтового ящика.

— Вот почему эти мудрецы перестали к нам ездить! — вскрикнул он. — Тоже мне, психологи доморощенные! Илларион просит, чтобы Николай пожил у нас, пока не поступит в институт. Через это нам и дали передышку. Отпуск, понимаете ли, устроили! Демоняки! Пусть, конечно, живет. Пусть живет столько, сколько надо. Мы даже можем прописать его у себя. Потеснимся.

— Им надо свечку тебе поставить... — сказала мама.

— Деньги только зря потратят! Я же — атеист! — гордо засмеялся отец.

И мы теперь каждый день ждали Николая. Вернее, каждый день, начиная с восьми вечера. Это было то самое время, когда приходил поезд со стороны Милавки. Он приходил раз в сутки, и в другое время ждать Николая не имело смысла.

Первое время мы день ото дня не садились ужинать, ожидая Николая, и ужинали уже на ночь. В конце концов, у отца расстроился желудок. Ведь он и за ужином, как за завтраком и обедом, ел милавское сало. Он без него никогда не садился за стол, но есть перед сном сало — выдержит не всякий организм...

Николай приехал утром с товарняком. В руках у него был самодельный фанерный чемодан с накидными проволочными крючками, а через плечо висела гармонь с яркими красными мехами.

— Здравствуйте, — глухо сказал Николай, почему-то глядя только на меня.

— Здравствуй, племяш! — торжественно обнял его отец.

— Вот тут мне адрес один дали. А где эта улица, я не знаю, — замаялся Николай, протягивая какую-то бумажку.

Отец сел за стол и попросил очки.

— Это адрес гостиницы «Луч», — сказал он. — У тебя там какие-то дела?

— Папка сказал, что я смогу там переночевать, если у вас нельзя...

— Как нельзя? — покраснел отец. — Вот ведь жилка деревенская. Ну-ка, снимай гармонь! Танцев не обещаю, но все остальное будет.

После обеда мы сели с ним заниматься: до вступительных экзаменов оставались считанные дни.

На первом экзамене мы писали сочинение. Николай выбрал тему «Образ Наташи Ростовой» и старательно раскрыл его от лица уже известной мне троицы: мальчика, старика и дьячка. Сочинение от их имени вряд ли могло понравиться комиссии, особенно если в нем была, к тому же, куча пугающих ошибок.

Николая отчислили, и он собрался обратно в Милавку. Мне было неловко перед ним. Как ни странно, у меня в смысле экзаменов пока складывалось не самым худшим образом.

— Черт с ним, с этим институтом! — сказал отец. — Только ты, Коля, все равно оставайся у нас. Я тебя пропишу. Сейчас в городе прописаться нелегко, но у меня пока есть через кого похлопотать.

— Спасибо, дядя. Спасибо, тетя... — сказал Николай. — Только я уже и билет купил...

Он вдруг впервые за все эти дни взял гармонь и круто распахнул, как развалил, ее яркие красные меха. Она улыбочато ощерилась.

Николай заиграл. Отец скрипнул зубами, словно подал боевой милавский клич. Он поднял глаза к потолку и стал аккуратно, вполсилы пританцовывать, чтобы особенно не беспокоить соседей.

Гармонь густо дышала в руках Николая. Он чуть не выворачивал ее наизнанку.

— Гуляй, мотаня! — вдруг крикнул кто-то с улицы, и мы услышали под нашими окнами азартное шарканье ног, тупые, рассыпчатые удары каблучков по асфальту. Кто-то из прохожих подхватился пританцовывать под нашу музыку.

Воронеж...

Мама вдруг заплакала.

А потом мы провожали Николая. До Милавки на поезде часа два. В принципе, это не так уж и далеко. Но почему-то у меня было ощущение, что Николай уезжает в невообразимую даль, может быть даже дальше, чем в другую страну, куда-то туда, куда все собирался и не смог собраться отец в своем стремлении достичь родной Милавки. Николай уезжал в другую жизнь.

Я достаточно неплохо сдал следующий экзамен и ничуть не хуже все остальные.

В сентябре наш курс будущих самолетостроителей повели на авиазавод. Это было тогда по всем статьям секретное предприятие. Когда нам выписывали пропуск, мы волновались не меньше, чем перед экзаменами. Казалось, что кому-то могут и не разрешить пройти на территорию.

Прошли все, но у двоих наших ребят временно отобрали фотоаппараты. Остальным велели сдать в камеру хранения портфели и сумки.

Нас водили по цехам и показывали то, что можно было показывать. Показывать можно было немного, да и то издалека. Фюзеляжи будущих самолетов, облепленные фигурками рабочих, напоминали гусениц, на которых напали муравьи. В цехах было светло, и не в последнюю очередь благодаря алюминию, который был здесь повсюду. Его ярко-белая стружка кудряво усыпала станки, как мишура новогодние елки, сугробами лежала в специальных контейнерах. Ее сюда свозили со всех цехов. Это делали два парня на автокарах.

Один из них заложил вираж совсем близко от нас. Девчонки шарахнулись. Тележка гремела, опасно шевеля острыми усами витой стружки.

Я узнал на подножке Николая.

— Никому не говори, что видел меня! — сказал он, притормозив. — Как-нибудь я зайду к вам и все объясню.

И я ничего не сказал родителям. Я не сказал про нашу с Николаем встречу даже

тогда, когда стало ясно, что он уже не зайдет. Мне самому почему-то не хотелось говорить об этой встрече.

А из Милавки снова никто долго не приезжал. Только время от времени приходили посылки и поздравительные открытки. Теперь их писала Оня-Аня. «С приветом-поклоном к вам вся родня. Не поддавайтесь хворям-болезням и приезжайте проведать-погостить». Само собой, ей отвечала мама. Кстати, она в каждом письме интересовалась про Николая, но ничего вразумительного так и не добилась. Время от времени я бывал на заводе, но уже ни разу не видел его там. Позже я узнал, что Николай давно уволился и куда-то уехал.

Чувство смутной вины долго не оставляло меня...

...Мы встретились через много лет. Уже в начале «нулевых». Встреча была случайной. Авиазавод, на котором я работал старшим мастером участка, ждал высокого гостя из аппарата президента. Нашему руководству во главе с губернатором области предстояло его уговорить на «добро» для заключения одного очень выгодного для нас контракта с Венесуэлой. На генеральном директоре лица не было.

Полпредом президента оказался мой Николай. Николай Илларионович. Наш контракт он раскритиковал в пух и прах, но крест не поставил. Контролировать дальнейшую доработку он поручил мне.

Наталья Моловцева

Моловцева Наталья Николаевна родилась в 1950 году. Прозаик, очеркист. Более 35 лет работала журналистом. Член Союза писателей России с 2009 года.

БЕЛЫ СНЕГИ ВЫПАДАЛИ...

Ты куда ушел, отец?

Земля уже поспела, просохла от весенних дождей — вот-вот возьмется корочкой. Надо копать. Надо бросать в нее семена. Ты сколько жил, столько и делал это.

А теперь?..

Ты зачем ушел, отец?..

Мы, дети, думали, что тебе не будет конца. Как полю, на котором ты работал (за полем ведь — новое поле). Как небу — сколько ни идешь, сколько ни едешь — оно все равно над головой. Как времени, отмеряемому часами-ходиками: дошли до цифры «12», и снова начинают свой круг.

Когда мы однажды увидели тебя сидящим на кровати (ноги уже отказывались ходить), с бородой, отросшей до груди (бриться было уже тяжело, и ты махнул рукой: «Пускай растет; буду, как настоящий дед»), мы несказанно удивились: а ведь дедом-то ты еще и не был...

Был — пахарем. Был — сеятелем. Убирал на комбайне колхозный урожай. Плотником был. Истопником. Господи, да кем только не был, какой только работы не переделал за долгую жизнь!

А вот чтобы по-стариковски праздно сидеть на кровати — таким мы тебя еще не видели.

Дольше всех к этому не мог привыкнуть сын. Названивая из Москвы и пережидая долгие гудки, он говорил потом: «Ты чего так долго не подходил к телефону?». Сын никак не мог понять, что путь до буфета, на котором стоял телефон,

для отца теперь целое путешествие: сначала надо, держась за стену, добраться до холодильника, потом — до стола, стараясь ступить до него одним шагом, чтобы быстрее оказалась под рукой новая опора; ну, а потом уж и до буфета недалеко...

Мы, дочери, все это уже видели и знали, и поняли, насколько это огорчительно прежде всего для самого отца. Потому и поспешили сказать: «Дедом-то ты еще и не был — некогда было. Вот и побудь им!».

Но и тогда после этих слов, казалось нам, что конца тебе все равно не будет. Ну, не станешь работать — так и пора отдохнуть. Главное — ты *есть*, а нам большего и не надо: работать пришел наш черед. А ты вот сиди на кровати, и мы будем знать, что все самое главное в мире — на своем месте. И значит, можно спокойно жить дальше.

Только *там*, наверху, распорядились по-другому...

Одно из самых первых моих воспоминаний: зима, ночь. Мы едем из Верхней Ладки — из гостей — домой. Помню себя сидящей на санях-розвальнях. С кем? С мамой, конечно, — в гости мы ездили к ее родителям. Наверное, с нами была и сестра (если разница в нашем возрасте — три года, а я уже *помнила*, значит, мне шесть, может быть, семь лет). Мы сидим в санях на соломе, а папка идет рядом с вожжами в руках. Идет и во все горло поет-распевает:

Еду, еду, еду к не-е-й,
Еду к Любушке сво-е-й...

Мне нисколько не страшно, но у мамы на этот счет (на счет ситуации, в которой мы находимся) своя точка зрения:

— Садись в сани! Да правь скорей! Поморозим ребятишек-то...

Я еще мало что понимаю в отношениях родителей; я только чувствую, что папке — хорошо, вольно, душа у него поет... но и мама, наверное, права: ночь, мороз за щеки кусает, а до дома еще далеко...

Много времени спустя я спрошу ее:

— А помнишь — мы в Верхоладку ездили? Возвращались ночью, на лошади. Папка еще всю дорогу песни распевал...

Мама всерьез задумалась. И так же серьезно ответила:

— Да разве мы мало ездили? А раз пел — значит, пьяный был. Всю жизнь, считай, пропил...

Нет, не хочу пока об этом. Вот о чем хочу, так это — о сказках.

Помню папкины сказки до сих пор. Сказки и голос, каким он их рассказывал. А как не помнить, если рассказывались они сначала мне, вслед за мной — через три года — сестре, а следом за ней — через восемь лет — брату. Вот эти, рассказываемые брату, помню особенно явственно. Слово «сказка» он еще не выговаривал и потому просил так: «Казу! Казу!» И начиналась «каза».

«Жила-была коза. И было у нее семеро козлят. Уходила коза в лес за молоком, а козляткам наказывала: никого не пускайте! Только уйдет коза, а волк тут как тут: «Козлепяташки, ребятушки, отворитесь, отомкнитесь...»

Я не знаю, почему папка вместо «козлятушки» говорил «козлепяташки», но слово это нам очень нравилось. А уж когда он начинал говорить за волка — сначала толстым, а потом, после того, как его язык подковал кузнец, тоненьким голоском... Не знаю, рассказывал ли кто еще в нашем селе сказки детям именно так, как наш папка. Он сам как бы становился незримым участником действия, каждый поворот которого обозначал особой, соответствующей ему интонацией. «А один, самый маленький, в печурку спрятался», — тут была и соответствующая моменту таинственность, и радость за находчивого маленького козленочка: смот-

рите-ка, не растерялся!, и намек нам: мотайте, мол, себе на ус... Для нас, до той поры в театре еще не бывавших, это был самый настоящий театр; мы слушали папку, забыв обо всем на свете. И что с того, что мне было уже за десять, а брату — шел только третий год? Едва сказка заканчивалась, он, к радости сестер, опять начинал требовать: «Казу! Казу!». И папка начинал новую, чаще всего — как старик ездил на базар за рыбой. «Вот один раз говорит старик старухе: «Напеки-ка мне, старуха, блинов»... Мы слушали и понимали: старик и старуха были всегда, и всегда старуха пекла блины, чтобы накормить старика, убажить его перед тем, как он отправится на важное дело, — она этими блинами прибавит ему сил, заставит помнить о доме, о ней самой. Разве случайно старик, увидев на дороге лису, тут же решил: славная будет старухе шуба?!»

Еще мы слушали про курочку Рябу. Опять — старик и старуха, опять — все знакомо и одновременно волшебным образом преображено, высвечено и дополнено папкинским голосом!

Мы были бы, наверное, счастливыми детьми на свете, если бы...

Я не знаю, почему между мужчинами и женщинами в нашем селе шла вечная война. И это не преувеличение. Единственным отличием от всякой другой войны было то, что те шли между государствами, а эта — между супругами. Людьми, которые, кажется, должны и обязаны были жить в мире — к этому обязывало все: вековечный опыт жизни многих предшествующих поколений, наказания родителей, собственное разумение, наконец.

Куда там!

Война в каждой семье шла особая. Кого-то муж просто «гонял» (материл, крушил мебель, выгонял на улицу, хотя бы и в ночь, жену и детей), кого-то еще и бил. Отец моей подружки Даши жену и «гонял», и бил. Вот почему, завидев его, возвращающегося домой пьяным, она в ужасе бежала к матери — бабе Фросе, и та прятала ее в подполе. А как иначе? Суровый супруг придет, учинит допрос, проглядит все углы. Как он не догадывался заглянуть в подпол — загадка; видно, не думал, что баба по доброй воле ползет в вечно холодное и сырое место, и не на минутку, не на полчаса, а пока муж не находится по селу в ее поисках, не истратит на них последние оставшиеся от попойки силы и не уgomонится, наконец, завалившись спать. В конце-концов, дядя Сеня догонял тетю Тоню до того, что та заболела на нервной (а какой же еще?) почве. Муж повез жену по больницам. Возвращаясь, удивленно рассказывал мужикам: «Другим электрической расческой проведут по голове — отваливаются спать, как мухи. А моей хоть бы что — не спит и не спит...»

Закончилось все тем, что тетя Тоня выпила пузырек снотворных. Теперь она спала уже без просыпу, никто и никак добудиться ее не мог. Помню, мы стояли вокруг ее кровати (я, моя ровесница подружка Даша, два ее младших брата и баба Фрося) и смотрели, как мучительно тяжело — шумно, с хрипом — дышит тетя Тоня. Вдруг баба Фрося взяла меня за рукав и вывела в сени. Здесь она сунула в мою руку листочек бумаги и шепотом приказала: «Читай». Я поднесла листочек к глазам. Тети Тониной рукой там было написано: «Дети, простите, я больше не могу терпеть...»

Тетю Тоню увезли в больницу, а через несколько дней понесли на кладбище. «Мам, не ходи туда, не ходи!» — всю дорогу до могил кричал младший Дашин брат, Вовка...

Наш папка был «гоняющим». Руку на маму не поднимал, но матерился так, что по нашим спинам пробегал холодный ужас, и посуду пошвыривал так резко, что сердце разбивалось о стенку вместе с ней. Однажды собрал всю нашу одежду и бросил в печь: «Сожгу на ...! Сам заработал — сам сожгу!»

Долго выдерживать все это не хватало сил, и мы, дети, сами бежали из дома, скрываясь или у бабушки, или у папкиной сестры; один раз ночевали в правлении колхоза — на столах, потому что стояла лютая зима, и на полу было немногим теплее, чем на улице...

Только однажды папка поднял руку на маму, да и то «опосредствованно» — тяжелая, не знаю уж какими бумагами набитая папка, полетела в мамин живот, в котором уже давно жила и просилась наружу наша новая сестренка. Скоро она и родилась, и каждый день жизни был для нее мукой: Мариночка (так мы называли ее) ни с того ни с сего вдруг синела и начинала задыхаться, откидывая голову назад... Когда она через несколько недель умерла, я услышала от маминой сестры слова, показавшиеся мне тогда странными и страшными: «Слава Богу, отмучилась...»

Вот тогда-то я и написала письмо в «Пионерскую правду» (думаю, училась уже в классе пятом-шестом): «Помогите, наш отец издевается над нами, как палач...»

Через какое-то время в дом зашел городского вида мужчина — в костюме, при галстукке:

— Вы писали письмо в газету?

Я гладила белье; от страха, от застенчивости перед незнакомцем, от взрослого «вы», так и не прекратив своего занятия, тихо прошептала:

— Писала.

— Да перестаньте вы гладить. Расскажите подробнее. Он что — всегда только пьет? Или еще и на работу ходит?

Тут я растерялась еще больше: конечно, ходит на работу. Только разве это оправдание всему тому ужасу, в котором мы живем? И как об *этом* можно рассказать подробнее? Об *этом* вообще невозможно рассказать; об *этом* можно только написать, да и то — от себя украдкой.

Ничего от меня не добившись, незнакомец ушел. А чуть позже меня вызвали в правление колхоза. Говорил со мной (опять — как со взрослой, только уже без наводящего страх «вы») сам председатель колхоза, Владимир Алексеевич Наумов. Его авторитет не только в селе, но и в районе, и во всей нашей маленькой республике был таким, что школьники в сочинениях о будущей профессии писали: «Хочу стать Наумовым». От такого умного, проницательного, всеми уважаемого человека я ждала *понимания*. И вдруг услышала:

— Ты уверена, что ты права? Ты уверена, что поступила правильно?

Сердцу от таких слов стало холодно. Где-то внутри встрепенулось: «Как же не права, если написала чистую *правду*?»

Владимир Алексеевич между тем продолжал:

— Ты еще маленькая. Ты многого еще не можешь понять. Поверь мне на слово: когда вырастешь, на многое станешь смотреть по-другому.

Вместо понимания и сочувствия — какие-то общие, ничего не значащие, не обещающие помощи и поддержки, слова — так мне тогда показалось...

И я ушла от всеми уважаемого Наумова не просто разочарованная — убитая и огорченная. И долго жила с одной только мыслью: скорее окончить школу — и из дома. Как можно дальше...

Когда, в какое время, в каком возрасте стало зарождаться и крепнуть чувство, что все не так просто, как я написала в том письме?

А может, это чувство жило во мне всегда, только я ему не доверяла?

Помню, папка меня, дошкольницу, за что-то отшлепал. Я так обиделась! Спустила время, иду на улицу, а он копает землю на огороде. Иду и чувствую, что он на меня поглядывает. Ему меня жалко. Я все это понимаю — без слов. Но мне-то нуж-

ны слова! Без слов и я понимаю, чувствую, что и мне его тоже почему-то жалко. Вон он — стоит, смотрит, может быть, ждет, что я подойду, повернусь хотя бы... Ну уж нет! Умные люди говорят, что руку на детей поднимать нельзя. А раз поднял (мне нисколько было не больно, но — так обидно!), значит, пусть мучится, пусть страдает... Да, но почему же мне его так жалко? Мало того, я чувствую, что я его... люблю...

Еще помню: мы от папки ушли. Мама сказала: хватит! Ушли, и стали жить на квартире, в соседнем селе, где мама работала в школе. Очень скоро она поняла, однако, что на ее зарплату нам не просуществовать, и, скрепя сердце, вернулась домой, к обидчику-супругу. Сколько мне было тогда лет? Наверное, я все еще не ходила в школу. Иначе, почему тогда папка взял меня на руки, как маленькую? Взял, прижал к себе, и я увидела на его глазах... слезы. И услышала слова: «Как она могла... как она могла...»

Папка плакал, я тоже плакала... И так хорошо было у него на руках! И я опять его... любила!

Хотя пить он не бросил, нет! Иначе, я никогда не написала бы того ужасного письма. В том-то и дело, что все в доме опять пошло по-прежнему, и я подумала: вот напишу, и придет кто-то умный и поговорит с ним, и он сразу переменится и станет другим. Станет жить правильно — так, как живут герои книг, которые я читала, герои фильмов, которые я смотрела.

Но ни мой папка, ни отцы моих подружек правильно жить не торопились. Были, какими были: с черными от работы руками, пьющие, матерящиеся. Вот такие-то — нам и в голову не могло прийти, что они когда-то там воевали. Вернее, так: мы знали, что наши отцы были на войне, но чтобы они совершили там что-то, приблизившее Победу... Победу приближали герои, — так считали мы. А герои — это Александр Матросов, Зоя Космодемьянская и все, им подобные. Наши же отцы...

Наши только и могут, собравшись за столом, орать во все горло:

Вы-пьем за Родину,
Вы-пьем за Сталина,
Выпьем и снова нальем!

И выпивают, и наливают опять. А в перерывах между стаканами о чем-то там вспоминают, но мы к этим речам не прислушиваемся. Во-первых, потому, что, наученные матерями, уверены: пьяный человек ничего хорошего сказать не может. Во-вторых, потому, что внимание рассеивалось от постоянного страха: не перешла ли пьянка ту опасную черту, когда из дома пора бежать?

Чаще всего вспоминаю папку, выпивающего с Лукавым. Лукавый — такое прозвище было у учителя истории нашей школы. Почему? Бог весть. Лукавить он как раз-то и не умел, — всегда говорил то, что думал. Подозревать его в черноте внутренней, душевной, тоже не было оснований — никому никогда Лукавый не сделал зла. Наоборот: именно к нему да его жене Капе мама любила ходить за советами. Трезвый Лукавый — ума палата, — любую беду руками разведет. Да и не матерился он, трезвый (как, впрочем, и наш папка; по-трезвому редко только, в сердцах, срывалось с его губ матерное слово)... А вот, поди ж ты — Лукавый — и все тут.

Заходил в гости он всегда чисто одетый, в наглаженной рубашке. Мама, конечно, суетилась, приглашала к столу; папка произносил свое коронное: «Щи да щи... Ты аппетитных капелек давай!» Подавались «аппетитные капли».

Сначала мужики чинно выпивали по первой (пока была маленькой — помню граненые стаканы), потом (мода сменилась? мужики с возрастом стали слабее?) появились граненые же рюмочки. И первая, и вторая, и третья — пока шел чин-

ный разговор. Сначала о колхозных делах, потом — о делах государственных (фамилии членов Политбюро так и мелькали в разговоре; вот бы поприсутствовать на таком «разборе полетов» кому-нибудь из них, — может, и дела в государстве шли бы по-другому...), потом, наконец, приходил черед песни:

Вы-пьем за Родину,
Вы-пьем за Сталина...

С этого момента накалялись страсти: папка говорил о Сталине с восторгом (пусть уже и пьяным), Лукавый ему перечил, доказывал что-то свое. Папка не соглашался; у них начинался спор. И вот уже летят сбитые со стола тарелки, опрокидываются потерявшей твердость рукой рюмки... Счастье, если мужики — оба — сваливались спать. Лукавого, как гостя, мама уважительно, хоть и ворча, затаскивала на кровать; отец сваливался на пол тут же, у стола.

— Слава Богу! — радовались мы. — Спят. Бежать из дома не надо...

Впрочем, Лукавый продолжал пугать и спящий: он во сне разговаривал. Глаза закрыты, лицо неподвижно, как маска, а изо рта вырываются слова, а то и крики... Жуть! Мурашки по телу!..

И вот такие-то мужики, по нашему тогдашнему разумению, ничего стоящего на войне совершить, конечно же, не могли. Александр Матросов — мог, Зоя Космодемьянская — могла. А наши...

Я уже сама давно была мамой, когда получила из дома письмо, в котором лежала еще и вырезанная из районной газеты заметка. Мама писала: «Вот, отец велел выслать. Пусть, говорит, дети читают...»

В заметке шла речь о том, что «Рыжов Николай Еремеевич прошел большой и славный путь в годы Великой Отечественной войны. За мужество и героизм, проявленные в боях, отмечен правительственными наградами — орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга...»

Медали, орден... Да мы их в доме никогда и не видели! Куда же они подевались? Почему, пока мы росли, отец нам, детям, ни разу о них не сказал?!

Все, что помню из его рассказов о войне — как приехал он в июле сорок второго в город Горький учиться на минометчика. «Подхожу к казарме и вижу: на окошке Лукавый сидит. В руках гармонь, играет и песню поет...» Тут папка счастливо смеялся (приехал из села в далекий большой город, где — ни одной знакомой души, и вдруг на подоконнике открытого окна — Лукавый, друг детства, с которым вместе по садам лазили...).

За целую жизнь я не удосужилась спросить: они только учились — или и воевали вместе? Лишь из той газетной заметки узнала, наконец, что «закончив курсы при первой учебной минометной бригаде «Катюш» и получив звание сержанта и должность командира орудия, некоторое время Н.Е. Рыжов оставался при учебной бригаде, готовил боевые кадры для фронта, а затем в службе разведки 456-й артиллерийской бригады прошел большой и трудный путь по огненным дорогам войны, завершив свою военную эпопею под Кенигсбергом».

Вот про Кенигсберг — знаю, помню. Как не помнить: папка рассказывал, как после освобождения города они с фронтовыми друзьями-товарищами откопали в саду какого-то дома флягу с вином. Откопали, наполнили кружки (надо же отметить такое событие — город взяли!), как вдруг у кого-то закралось сомнение: «А если оно отравленное?».

— Тогда мы решили так: пьем вместе! И будь что будет!

— У-у-у, — доносился из чулана мамин голос. — И тут про водку...

— Все живые остались! — победно заканчивал папка.

Мы и сами видели, что — живой. И еще раз убеждались: ну, какие тут подвиги? Все думки были — про нее, окаянную...

... Я приеду домой на сороковины и остановлюсь на кухне, пораженная. На стене висел увеличенный папкин портрет. Такого папку — в военной форме — мы, дети, не видели и не знали. Мы помнили его другим, а он... Вон он глядит на меня с портрета, и такой молодой мощью, такой незнакомой нам красотой веет от него, что — дух захватывает! И на левой стороне груди — медали (не придумал районный корреспондент!), а на правой, где полагается быть ордену... дырка на кармашке гимнастерки.

Эх, папка... Не умел ты беречь награды...

Такой же портрет я привезу потом домой. Сколько буду жить — столько и будет висеть на стене.

А потом детям накажу: берегите!

Что же касается «Выпьем за Сталина»... Я еще успею привезти ему книгу Евгения Гинсбург «Крутой маршрут». Спрошу потом: «Ну, как?» К тому времени выпивал он уже редко и мало, а трезвым разговорчивым не был. Только и услышу в ответ:

— Да-а-а... Ну, мы хоть и кричали в боях: «За Сталина», а воевали-то — за Родину...

— Он ведь ничего уж не ест. Так, если яичко...

Сестра позвонила в новогоднюю ночь; мы — я, муж, дети, внуки — сидели за праздничным столом. Сразу все стало неинтересно. Все заслонила одна мысль: домой, к нему. Я должна что-то придумать, как-то удержать его на этой земле...

Позвонили на станцию; оказалось, нужный поезд идет в нашу сторону буквально через два часа.

На следующий день, ближе к обеду, я вошла в родительский дом.

— Наташ, ты?

Голос у папки был негромкий, глухой, но он говорил!

И я сходу принялась его «воодушевлять»:

— Папк, ты чего? Чего сник-то?

— Да вот... И уколы кололи, и таблетки пил, а толку нет.

— Ну их, этих врачей! Смотри лучше, чего я тебе привезла...

А привела я бальзам «Шипова дубрава», настоящий, как утверждала этикетка, более чем на двадцати лекарственных травах.

— Папк, давай по маленькой-маленькой рюмочке... для аппетита...

И случилось чудо: папка стал есть! Суп!

Я уезжала (работа, дети, внуки...) счастливая: это папка-то ничего не ест?! Папка, который всю жизнь хлебал щи из большого блюда?! Пусть теперь не из блюда, пусть из тарелки, но ведь ест же!

На прощанье у нас состоялся такой разговор:

— Смотри, чтобы духом не падал.

— Не-е... У меня теперь вон какой ресторан (папка показал на табуретку у кровати, на которую мама ставила тарелку со щами). Вот только борода, как у старика.

Тут меня и осенило:

— Папк, а ведь ты стариком еще и не был! Всю жизнь работал и работал. Как молодой.

Папка с готовностью эту мысль подхватил:

— А ведь и правда... Чего бы мне не пожить еще стариком-то?

Не получилось... Не привык он — стариком. Потому что стариком — значит, без дела.

Летом я приезжала в отпуск; папка уже не ходил, но еще хорошо сидел на кроватке.

ти. Говорили об обычном, житейском: во-первых, я боялась его утомить, во-вторых, боялась того, что другие разговоры он может воспринять как прощальные. Он спрашивал про внуков, про дом, про огород и картошку: «Много посадили этот год?»

И тут выяснилось, что еще прошлой осенью всю картошку со своего усада он выкопал сам. Мама рассказывала:

— Взял лопату и потихоньку пошел, пошел... Так и выкопал. Мы с Валею (дочь) и Никиткой (внук) таскали.

— Господи... Может, он ноги тогда и перетрудил?

— Его разве оставишь? Одно твердит: «Неужто кого нанимать? А я на что?»

Всегда, всю жизнь папка все делал сам. Копал, сажал, убирал... Всю жизнь: семьдесят девять весен, лет, осеней: копал, сажал, убирал. К этому привык он, к этому привыкла земля...

Дом перестраивал — из ветхой избушки в крепкий пятистенок — тоже сам. Хлев, где всю жизнь стояла корова — тоже сам. Сарай, где хранились дрова и брикеты... загончик для поросят... намест для кур... изгородка... А какую террасу пристроил к дому: окна — на две стороны света, полка для книг, полочки для посуды... И крыльцо тоже застеклил, от улицы отгородил, дверь на петли повесил: ни собака, ни курица не зайдут, а для кошки внизу — маленький лаз...

Следующий тревожный звонок от сестры прозвучал осенью. Стоял ноябрь. Срок для зимы еще не пришел, — она попугивала холодами, но вместо снега сверху падал холодный дождь...

Я зашла домой, и увидела на папкиной кровати кости, обтянутые кожей. И все-таки это был папка — живой! Но на этот раз он действительно не ел, — не помогал даже волшебный бальзам, настоящий на двадцати лекарственных травах. Он и воду пил уже с трудом; чтобы облегчить дело, мама вставляла ему в рот маленькую пластмассовую воронку и тихонько, маленькими порциями, лила туда воду.

Как мало и с каким трудом он уже говорил! Чаще всего мы слышали от него одно только слово: «Баушка».

Наверное, именно с него, с этого слова, началась череда чудес...

Когда папке что-нибудь было надо, он делал призывный жест рукой; кто-нибудь из нас, дочерей, кидался к нему, но он делал уже протестующий жест и звал: — Баушка, баушка!

Мы кидались за мамой, если она была на улице, или звали ее из передней, если она лежала отдохнуть. Можно представить, как она уставала в ту пору, но с кровати вспархивала, как молодая: «Чего?» Папка показывал на рот — если хотел пить, или вниз — и тогда она поднимала с пола стеклянную банку...

Все остальное время папка просто смотрел. И это было главным чудом. Заключалось это чудо в том, что из папкиных глаз лилась *такая* любовь... Я не знаю, какими словами назвать, какими словами определить ее. Я только чувствовала, что льется она почти осязательным потоком — как вода, и из глаз его перетекает прямо в наши души, и в этой любви-воде растворяется все: все обиды, вся горечь, все прошлые непонимания, растворяется и уносится прочь. А остается, сейчас и впереди, только она — чистая-пречистая любовь...

Наверное, он многое хотел сказать нам тогда, но уже не мог. Оставалось — только смотреть. И это последнее, что было ему под силу, он сделал так, что *никогда* не забуду...

Уезжала домой я ранним-рано. На улице было еще темно, мы включили свет. Этот свет папке был уже тяжел; чтобы спрятать от него глаза, он опустил голову вниз. Когда я подошла к нему, чтобы попрощаться, он — и это еще одно чудо — выговорил вдруг целую фразу:

— Наташа... как хорошо, что мы повидались.

Я услышала в этих словах только радость встречи — только радость, и не смогла (не захотела?) слышать прощания...

«Как хорошо, что мы повидались», — повторяла и повторяла я, пока ехала домой...

«Приезжайте. Папка умер»...

Теперь я собралась в дорогу вместе с мужем.

И папку увидела уже лежащим в гробу.

И все мы, собравшиеся у гроба, стали свидетелями еще одного чуда: у папки было *такое* лицо...

Я опять ищу и опять не могу подобрать нужных слов. Вспоминаю лицо родственницы, которую мы хоронили несколько лет назад: оно было озабоченным. Никогда не думала, что лицо умершего человека может быть озабоченным: а все ли вокруг меня происходит так, как должно, как надо? Не осудят ли люди за что?..

Папкино лицо было просветленно и — благородно. Просветленно — понятно; просветлено любовью, которую он успел излить на нас, остающихся жить. Но откуда у механизатора широкого профиля, всю жизнь проходившего с черными руками, эти благородство и красота черт? Папка лежал красивый, как князь, или граф, словом, аристократ, который всю жизнь свою плоть лелеял и холил. И сквозь эту саму по себе впечатляющую красоту — красоту черт и линий — проступала еще одна, другая, уже не телесная. Это было лицо человека, избывшего вечную нужду (ничего, ничего теперь не надо!), вечную работу (отдыхайте, руки!), а главное — вечную вражду и войну и отдавшего свою душу миру, любви и свету.

Отпевальщицы, заходя в дом, с тихим благоговением роняли:

— Это не старик — старец...

Самый неприятный месяц осени — ноябрь. Земля, деревья, кусты — все, все черно от дождей. Люди идут в дом — проститься с папкой — и несут на ногах грязь...

Но уходил он от нас по белому снегу. Вдруг кто-то, УМЕЮЩИЙ ВСЕ, сделал так, что семнадцатого ноября выпал снег. И все стало бело и чисто: дорожка от крыльца дома до калитки, дорога до поворота на кладбище, дорога до самого кладбища... Вдруг вспомнилось, когда выносили гроб, как папкина сестра рассказывала:

— Бывало, зайду к вам, когда ты маленькая была, а Колька зыбку качает. Качает да поет:

Тары-бары-растабары,
Белы снеги выпадали...

Вот и несли мы его — по белому снегу...

Я смотрела на дорогое лицо и думала о том, что передо мной лежит не просто мой отец, а человек, всю жизнь себя отдававший. Его руками родное государство делало историю: побеждало врага, выполняло семилетки и пятилетки, создавало все, что только и есть вокруг. Не спору, не спору: отцу это тоже было надо: кормил семью. Но почему, почему он, создававший все, должен был всю жизнь обходиться минимумом? Минимумом еды и одежды? Минимумом жилой площади? Минимумом земли (ему дай волю, он бы такой огороδιще копал и убирал!)? И это еще не главное; главное в том, что его мало когда о чем-либо спрашивали. Много он говорил только с Лукавым. И только в одном не было ему и его друзьям-товарищам ограничений: пей, сколько хочешь!..

Господи, зачем сейчас — об этом?.. Зачем — о земном? Ведь дальше...

А дальше лучше, наверное, не думать. Лучше довериться бабушке, умеющему провожать в последний путь. А мое дело — не закричать «нет», когда мужики поднимают крышку гроба, не упасть коленями на мерзлую землю, не забиться в истерике, но, преодолевая боль и муку, вымолвить главное слово, которое не успела сказать при жизни: «ПРОСТИ... Прости за ВСЁ...»

И еще одно чудо случилось в тот день: провожая папку, мама плакала так, как, наверное, давно уже не слышали кладбищенские ивы. «А куда ты ушел... на кого ты меня оставил... у детей своя жизнь... остаюсь одна-одиношенька...»

Дорога с кладбища домой. В дом, где уже не было — и никогда не будет — папки... Поминки. «Давайте помянем хорошего человека... фронтовика... всю жизнь работал... всем помогал... никого не обижал...»

Потом перемыли полы и посуду, вынесли столы. После всех переживаний и двух бессонных ночей легли, наконец, спать. Конечно, сон не шел. Все думалось и думалось, вспоминалось и вспоминалось... А тут еще свет от уличной лампочки бьет в глаза через окно — забыли задернуть шторы. Надо встать и задернуть.

Просто встать и задернуть, но для этого надо пройти через всю комнату. Через ее середину. Средину, на которой еще недавно стоял гроб. Страшно...

Но свет назойливо-равнодушно продолжал бить в глаза. И я встала и пошла. Через середину.

Что тут случилось! Вместо страха... вместо страха на меня полилось вдруг такое... Радость, восторг — слишком резкие, слишком грубые слова. Благодать? Когда я шла через середину комнаты, мне стало вдруг — благодатно. Как бывает только в церкви.

И означать это могло только одно: значит, папка посылал утешение уже *оттуда*...

... Увы, — одно из чудес, которые произошли, оказалось обращенным. Когда на следующее лето я приехала домой, опять услышала: «Всю жизнь мучилась с ним... всю жизнь пропил...» Стало так больно!

Так больно, что я действительно заболела. Лежала, мучилась; ну как этого можно было не понять: в последние свои дни он пережил такие муки! И он от них не спрятался, не ушел в смерть раньше положенного срока — он принял их на себя, и все пережил, и был помилован, был прощен той властью, выше которой нет... Как можно было этого не понять?

Или... или здесь все-таки совсем другое? Ужели и вправду:

Кто прощен, тот забыт.
Непрощенный вовек не разлюблен —
И душой не избыт,
И забвением не приголублен...

Ужели и вправду такое возможно?

И вдруг в сознании ли, в душе ли стало брезжить: а ведь папка сейчас меня бы не понял и не одобрил. Нет, не одобрил. Причина моей болезни — я сама; это мой эгоизм хочет, чтобы сейчас, когда один здесь, а другой *там* — встретились и помирились. Но, видно, срок этому еще не пришел. И мое дело — терпеливо ждать, а не судить.

И — жить дальше. А когда станет невмоготу, когда покажется вдруг, что жить стало нечем, вспомнить это: я у папки на руках, и он качает меня, как маленькую, и не плачет, но поет и поет эту незатейливую песенку:

Тары, бары, растабары,
Белы снеги выпадали...

Петр Чалый

Чалый Петр Дмитриевич родился в 1946 году. Прозаик, поэт, переводчик, журналист. Член Союза писателей СССР с 1987 года.

РОДНЯ

В тамбуре было мрачно, как, впрочем, и в самом вагоне — нагонял тоску ядовито-зеленый цвет давно не протиравшихся стен, под грязным потолком чуть блестящий закоптелый фонарь, вдобавок ко всему чадила печка угольным угаром. Не дождавшись проводницы, — она или собирала под столиками порожние бутылки, или разговаривала с пассажирами, — Алеша сам открыл тяжелую дверь, хлопнул крышкой люка, еле удержав его ногой, и с явным облегчением спустился по ступенькам вниз. Показалось сразу так темно, будто нырнул на самое дно глубокого черного омота. Ногой нащупал снег, и тотчас под подошвой ботинка чавкнула вода. Тает?

Электровоз коротко прогудел, и вагоны «пятьсот-веселого», прозванного так за поклоны-остановки каждому столбу, один за другим, перестукивая, мягко покатали мимо. Там, в тепле, Алешу не особо тревожил дальнейший путь, думалось, по морозцу отмахает за ночь двадцать километров, что отделяют село от полустанка, в ботинках ведь и налегке. А обернулось все по-другому.

Алексей осмотрелся, глаза чуточку попривыкли к темноте. Прыгая по склизким шпалам, перебрался на другую сторону железнодорожного полотна. Встал на проселок и потоптался — колея была твердой и немного скользкой. Выгладили, наверное, полозьями тракторных саней.

«Просидеть на вокзальчике до утра? А чего ждать? Потопаю потихоньку. Утром и домой попаду». Заколебался только на миг, подхватил рюкзак под лямки, поудобнее пристроил его на спине и зашагал по вилюжкам проселочной колеи.

Поначалу идти было легко. Да ведь и поторапливался Алеша домой, в родное село. Целых шесть месяцев в городе проторчал, а теперь вот — каникулы.

«Мать небось знает, что спешу на побывку, — весело рассуждал в пути. — Письмо давно послал, получила уже. Она, правда, и без письма угадывает всегда, что я приеду. То сон у нее в руку, то петух вовремя прокукарекает. Ждет, поди, хлопочет».

Тяжелый вагонный дух забылся — выветрился. Ласково светились окна домов на знакомой улочке пристанционного поселка. И когда очутился один на один с пустынным полем, на душе стало так хорошо, что Алеша радостно затынул во все горло:

Калина красная,
Калина вызрела...

Честно говоря, в певцы Алеша ни голосом, ни слухом не вышел. Если и пел, то только про себя или в одиночестве — сам себе.

В мыслях Алексей уже давным-давно был дома. Готовился к первой студенческой сессии, сдавал экзамены, в свободную минуту, как ложился на кровать в общезитии, закрывал глаза — так и являлась перед ним она, родимая Калитвянка.

Село в глубоком яру среди степи, неожиданные густые дубравы подступают со всех строи — Лиманный лес, Высокий, Перещепное, непролазные займища по крутосклонью, в которых веснами на всю округу заливаются-высвистывают соловьи. Дворы больше в зелени садов — старые разлапистые вишни, старинных дедовских сортов груши, яблони доживают свой век. Огороды сбегают в самый

низ яра и обрываются капустными грядками у ставка. Пруд калитвянский широк, не всякий падан отважится его переплыть. Рыбакам он далеко известен, ради утренней зорьки приезжают из окрестных мест за сотню километров. Еще туманом скрыта водная гладь, а караси пудовыми поросятами хлюпаются посреди ставка — чуть не кидаются им вслед удильщики. Под вязами лопочет звонко и бесконечно родниковая вода, с незапамятных времен льется и льется из глубокой кринички, скатывается литой струей в корыто и дальше — в пруд. Созвучна хрустальному звону воды и голосиста невесть откуда взявшаяся песня. А, это женщины через греблю, плотиной идут с фермы. «На городи верба рясна, там стояла девка красна», — звенят в настылом за ночь воздухе женские голоса. «А мы парой ходить будем и друг друга любить будем», — густым басом непременно выведет с другого берега Макарович, бросит в сторону уду.

— Ну и голосина у тебя, дед, — скажет после, когда сыграется, отзвучит песня, кто-нибудь из заезжих рыбаков.

— Так я ж невыработанный. Стипендию на дом несут. Сиди и лови рыбу, пенсионер. Чем не жизнь? На вольном воздухе...

Размечтается Алексей, засопит от удовольствия. В такие душевные минуты ему нередко видится и зимняя Калитвянка.

Спелый месяц выглянул из-за тучи, высветил серебряное поле, село: нахвалившиеся, в снеговых шапках набекрень, хаты, из печных труб ровными столбами поднимается в небо дым и там чуть шевелится, пропадает вовсе. Вдруг покажется: вот-вот на улицу вывалят толпой парубки и девчата, поодаль кузнец Вакула будет нести грузные мешки, идти с грустной думой о недосыгаемых черевичках для Оксаны, в которых сама царица ходит, пролетит Солоха на метле.

Нет — тишина, серебряная тишина стоит над селом.

...То вспоминалось вдали от дома, а сейчас — рядом, Алеша и подавно шел — представлял, рассуждал вслух.

— Мать тесто на лежанке в тряпки кутает, назавтра хлеб, пирожки с картошкой будет печь. У коровы Голубки телок должен появиться. А на печке теплынь... — Алексей зажмурился: тепла сейчас, в холодной степи, ему как раз и не доставало. Широкая печь припомнилась вся: неровные шероховатые стенки, снизу наполовину обмазаны желтой глиной, не такая маркая вроде, выше выбелены чисто мелом, подголубленным чуть-чуть чернилами для красоты. Над печью проходит корявый дубовый сволок, на нем весь верх хаты держится. В сволоке гвоздь торчит. Когда-то пацаном пуговичную лампочку за него Алеша цеплял, свет проводил от плоской батарейки из карманного фонарика...

— Фр-р-р! — Алеша запнулся и с ходу отпрыгнул назад, так его напугал этот внезапный треск чуть ли не под самым носом. И тут же облегченно перевел дух, рассмеялся — куропатки сели на ночевку близ колеи, и он их спугнул.

Фырканье оборвалось так же внезапно, птицы отлетели стайкой в сторону и опять затихло все окрест.

Алексей шел, насвистывая, и припоминал свое, что еще оставалось делать.

Выбегаешься, бывало, за зимний день по сугробам, самые большие выбираешь. То санки вверх, на самый гребень тащишь, то пещеры с подснежными ходами-переходами роешь, то ледяные терема возводишь. Явишься домой, покажешься на мамины глаза весь мокрый, волком голодным. Перешморыгаешь носом, пока отругает, отойдет. Дождешься, пока вытащит на рогаче из печного устья чугунок горячего борща, снимет сковородку — такой запах пойдет по хате вместе с паром. Торопишься управляться ложкой, спешешь наестся досыта, аж за ушами трещит. Мать, на тебя глядячи, успокоится. Пригладит вихры, еще чего-нибудь вкусенького положит на стол. А после постелешь на печи дерюжку, подвернешь повыше фитиль лампы-семилинейки, книжку в руки — и ничего больше не надо лучшего...

Алексей разулыбался, вспомнив, как он раз заблудился на печи. Схватился ночью сонный, на выбеленной стенке отражается свет месяца, вот и кажется — там проем, там можно спрыгнуть с печи. Алеша смело сунулся — в стенку лбом. Шарил-шарил руками вокруг себя — куда ни повернись, везде стена, будто в западне. Страх слезы из него выжал. А мать, услышав, что Алеша хнычет, отозвалась сквозь сон за спиной, и все стало на свое место, лаз нашелся.

Плюх! — плеснула вода под ногами. Алексей с ходу попытался перепрыгнуть колдобину — не получилось, набрал в ботинки через край ледяную воду. Выругался:

— Черт, занесло!

Расшнуровал ботинки. Поочередно прыгая то на одной ноге, то на другой, вылил воду, отжал носки. Еле заставил себя вновь влезть в сырую обувь, тело чуток согрелось, и неприятное чувство прошло.

Присмотрелся к дороге, а дальше по колее идти нельзя, доверху залита водой. Попробовал обочиной — еще хуже: снег весь взялся водой, он и на снег не был похож, какая-то густая и вязкая каша.

Постоял Алексей, постоял и неожиданно весело заявил вслух:

— Прорвемся!

Но вскоре Алеша почувствовал, что и за ночь не дойти ему в родное село. Штаны мокрые, обмерзли снизу, в ботинки и вовсе через верх льется вода. Скользко стало. Вдобавок ко всему колени стали мерзнуть, дрожь до кости пробрала.

Часа два в дороге, а прошагал с гулькин нос, и пятый километровый столбик еще не показывается. Алеша, проклинал и лужи, и водянистый снег, и дождь, который не торопясь начал долбить в лицо ледяными каплями. Вот жизнь: раз в полгода выпадет попасть домой, и то по-человечески не доберешься.

Воду из ботинок Алексей вскоре бросил выливать: незачем, пока не неможется, хотя до колен ноги мокрые.

Вближнее Колодежное километров семь осталось, прикидывал уже почувствовавший усталость Алексей. Назад, к полустанку, верных пять наберется. И все одно решил идти вперед, к своему дому.

Мрачная ночь да еще туман. Только и видно, что десяток метров серого пространства впереди, да позади то же. Часто пугают черные кусты, выстроившиеся в лесополосе подозрительными фигурами. Подходить ближе — страшней становится, тянутся к тебе костлявой ведьмой. Невольно ускоряет шаг.

В стороне, наверное, на одиноком стогу соломы недобро прокричала птица голосом сплюшки — будто скребнуло по душе. Ночную птицу в селе недолюбливают не только за противно визгливый голос, — по поверью, она накликала беду. Алеша бы не верил в это, да самому как-то пришлось под вечер земляными комьями сгонять сплюшку с крыши сарая, мать просила. Алеша кидает глудки, а птица не унимается. Даже когда снялась и полетела, во тьме долго слышалось тоскливое и тревожное, с подвыванием «сплю-у! сплю-у-у!». А вскоре в грозу молнией сожгло сарай. Просто совпало так, грозы в то лето были часты. Мать же грешила на сплюшку.

Медленно шел Алексей, а настроение падало и падало с каждым шагом. Тут еще эта птица, надо было ей прокричать. И без того тошно. Почти пустой рюкзак — нестираное барахлишко, кулек конфет на гостинец, книжки — тяжелел и тяжелел.

Алеша вздрогнул — впереди что-то зарыпело. Догадался: едет кто-то. И впрямь, навстречу быстро приближалась лошадь, сноровисто тянула легонькие санки. Скоро поравнялись.

— Здорово, парнище! — послышался голос возницы из-под вороха одежды.

Как у Некрасова, только наоборот — парнище без коня, мелькнуло у Алексея, и он охотно отозвался.

Мужик придержал лошадь, чиркнул спичкой. На миг высветилось долгообразное лицо, Алеша не успел в него взглядеться, как спичка погасла. Возница задыхался, неспешно начал расспрашивать, кто Алексей, чей родом и куда путь держит. Видно, присмотрелся к Алешиной одежде, раз сказал:

— Э, студент, гиблое дело задумал, чистую правду говорю тебе. Поворачивай оглобли назад, а то к утру дуба дашь, точно.

Ворчать даже начал:

— Додумался в ботиночках вырваться!

Сначала отнекивался Алеша, а затем послушался. Стащил с плеч рюкзак и побежал вслед за санями, садиться на них возница не велел.

— Ни за что ни про что пропадешь, паря! — объяснил он. — Вместо тебя ледышку привезу.

Мужик оказался охочим к разговору. Да говорил густым громким голосом, как из трубы гремело. Алеша быстро узнал, что весел возница недаром — ездил к теще.

— Блинами кормит, студент.

Теща угостила зятя, видать, не только блинами. У дубового леска, вплотную подступающего к поселку, мужик занукал на коня, стеганул его для остротки и, потянув вожжи, свернул в дубраву. Алеше он объяснил:

— Поработать малость придется, студент. Не против?

Полями забралась в чащобу. Остановились у большой кучи ровно уложенных дров. Возница сбросил с себя плащ и тулуп, соскочил с саней. Алексей подивился его малому росту, по голосу казалось громила прикрылся кожухом, а на самом деле коротконогий, короткорукый мужичишка.

— Наваливаем! — загудел опять возница. — Ты берись за тот край — там тоньше. А я здесь. Мы их враз, — и закрихтел, заругался непонятно. Слышалось что-то похожее на «еж твой еж».

Грузили недолго. Хоть дубки были не особо тяжелые, да разве много их наложишь на санки-одноколки. Четвертый, пятый — все сделано. Алексей дух не успел перевести.

Лошадь с нагугой тронула воз, хрипела и билась в упряжи — испугались за нее, разом подгалкивали сани сзади. Под гору стало легче, да и полустанок, благо, уже был рядом.

— Ты беги прямо через огород, минуешь улицу, а на углу следующей по левую сторону моя хата, — пояснил и указал рукой возница. — Прямо на нее и выйдешь. Я тут дорогой поровнее пока проеду.

К чужим так вот неудобно идти в дом. Но что еще оставалось делать Алеше? Знакомых и родни у него здесь нет. Мокрому доночевывать в холодном вокзальчике? Пропадешь.

Нужный дом разыскал быстро — оконницы-ставни не были прикрыты, стекла горели ярким светом. На Алешин стук отозвался женский голос. Дверь оказалась незапертой.

Женщина разохалась, увидев Алешу и прослушав про его мытарства. Вздыхая и причитая, она заставила его раздеться, успела рассказать о таком же случае, когда кто-то замерз в степи. Только не знала, то ли шел тот человек, то ли ехал, потому повторяла:

— Уж точно я тебе не скажу, но что замерз, то замерз, это правда.

Когда хозяин приехал домой, Алексей уже сидел на лежанке в коротких и широченных штанах Фанаса, так хозяйка называла своего мужа, и растирал ноги тройным одеколоном. Кожа взялась огнем, Алеша лишь зубами скрипел да старательно тер щиколотки, пальцы. Сынишка хозяина держал склянку и пробку, охотно рассказывал, что в школе у них в третьем классе хорошая учительница. Вчера Гриша дернул за косичку Марину Посвежинную (задавака она), чтобы здорово не

заносилась со своими нарядами. Лидия Андреевна заметила, но ничего не сказала. Только на переменке отозвала Гришу и, разузнав все, маленько пожурила.

— Как, студент, на печи-то оно ладно? Не в поле, жить можно. — В доме загремел голос Фанаса. — Ого, а лапы как у гусака, — сказал и захохотал довольно, стаканы в шкафу задрезжали тоненько.

Алеша глянул на ноги — и впрямь гусиные. Красные, разлапистые, в коротких штанах. Пошевелил пальцами, рассмеялся тоже. Гриша, смеясь, схватился за живот.

— Чего гыгы лупите? — прикрикнула хозяйка. Сама полная, выплыла из-за печи, распорядилась: — Наследил. Разувайся у порога. Валенки сухие под кроватью. — Это мужу. — Держи крепче, дикалон выльешь. — Это Грише. — Натирай лучше, да на горячее пока ноги не ставь, пусть отойдут. — Это Алеше.

— О, баба-гром! Враз всем мозги законопатила. Еж твой еж. — Прищелкнул языком, помотал головой — то ли осуждающе, то ли восхищаясь — Фанас, но послушался, полез под кровать за сухими валенками.

Теперь, на свету, Алексей разглядел его получше. Без верхней одежды (он успел сбросить ее в сенцах) Фанас рядом со своей высокой, плотной женой казался вовсе коротышом. Годы уже прошли по его лицу, оставив глубокие следы. Человек он скорее всего технический — вымыл руки, ясно выделилась на них чернотой густая сеть морщин. Эта чернота, — вечная примета у трактористов, шоферов, у людей, связанных с машинами. Все у него казалось коротким, и только лицо — вытянутое, с запавшими щеками — еще больше подчеркивало худобу. Непонятно было одно: откуда в нем берется такой голосина, говорит без натуги — не кричит, а в хате хоть уши затыкай.

— Татка на спор лампу голосом загасил, — не без гордости сообщил Гриша.

— Чего-чего? — не понял Алеша. Гриша охотно разъяснил:

— Пospорил с мужиками. Зажгли керосиновую лампу и поставили на стол. Татка с порога гаркнул, и она потухла. Хочешь, у него спросим?

Договорить им не дали.

— Мужики, — загремело из кухни, — вечерять собирайтесь. Ты, студент, в валенки мои новые вступи. Они там, на печи пошарь, в закутке пылятся.

Хозяйка уже расставила на столе полные тарелки. Борщом так запахло, что у Алеши сразу закололо в животе, он только сейчас вспомнил, что с утра толком не ел, на бегу пирожки черствые пожевал в вагоне, чаем запил.

— Верка, студента надо спасти, — Фанас со стуком ставил стаканы. Жена уже сама сообразила — вытащила из-за стола поллитровую бутылку. Фанас поддел ножом пластмассовую пробку, а затем вытащил ее рукой. Перевернул горлышком в стакан, налил доверху и пододвинул Алексею.

— Потянешь — и никакая хворь не возьмет.

— Сам-то поменьше пей, — предупредила хозяйка.

— Ты не командуй, — весело отозвался Фанас, — мы свое дело знаем, глоткомер не требуем. Верно, студент?

— По имени не можешь назвать человека?

Но Фанасу, видимо, нравилось называть Алексея студентом, ново и необычно звучало это слово в доме. Он взял с подоконника стопку, налил в нее.

— Выпей лучше, баба, чуток для аппетита. Про мать расспросила бы, а то учит...

Фанас и себя не обделил. Буркнул:

— Давайте, давайте, быть добру.

— За знакомство, — чокнулась с Алексеем хозяйка.

Алеша поднес стакан к губам и поперхнулся. Сивушный запах перехватил горло, будто ком застрял. Но набрался сил, зажмурился — и глотнул несколько раз. Подавился, закашлялся — слезы брызнули из глаз.

— Ничего, ничего, студент, — успокаивал Фанас, приглаживая рукой по спине. — Хворобу так выгоняют из нутра. Хлеб вот, хлебушек понюхай, враз станет легче.

— Теперь не захворает, — с усмешкой приговаривала хозяйка. — Я тебе еще чайку горяченького с малиной дам на ночь выпить. Пропотеешь — вся простуда выйдет.

Закачались ложки, закружилась у Алексея голова. Затуманилось. Дорожные хлопоты, думы отлетели в сторону. Вроде у себя дома за столом сидел. Фанас рассказывал что-то о своей поездке к теще. Сетовал на судьбу — не заладил с колхозным начальством, житья спокойного теперь нет.

— Где ни хуже, туда меня посылают. В каждую дырку затычка. Сегодня я вот, озлясь, забрал дубки... Те, что с тобой грузили. Ты пойми меня правильно, студент! — жаловался Фанас. — Не могу выпросить на сарайчик леса. Они меня вынуждают! — Фанас размахивал руками.

Попили душистый чай с малиной. Уснул Алексей сытый, успокоенный и на мягкой пуховой перине, такой непривычной после общежитского матраца на жесткой коечной сетке. Сквозь сон слышал только, как до сего вечера незнакомый Фанас, теперь такой близкий, говорил:

— Домой будем добираться утром. Погасили свет.

Во тьму будто провалился Алеша. Уснул сразу, как свалился. А ночью его и правда всего перевернуло. Кинется — весь мокрый, в поту, палит тело. К утру полегчало, забылся.

Разбудил Алешу голос Фанаса. Вспыхнула лампочка прямо над головой, глаза прижмурил от резкого света.

— Поднимайся, студент. Довольно спать. Домой-то хочется?

Хозяин потоптался, потоптался. Вид у Фанаса был помятый. Заглянул по кувшинам, стеклянным банкам, прямо из крынки глотнул кислого молока, кадык на шее задергался. Вытер губы кулаком. Спросил сочувственно:

— Голова не болит?

Алеша, отнекиваясь, молча покачал головой.

— А у меня гудит. Пойду корове сена положу.

Алексей огляделся. На спинке стула висели его отчищенные брюки, на сиденье лежали высушенные носки. Быстро оделся. В голове немного шумело после вчерашнего, а в теле хвори не чувствовалось.

— Как спалось на новом месте? — приветливо встретила хозяйка Вера.

Угостила Алешу теплым молоком. Допытывалась:

— Ваши корову держат? Ты утром голову с похмелья не лечишь? Не надо. Молоденький еще. Такого добра всегда успеешь захватить.

Впустив холод с улицы, громыхнул дверью Фанас. В руке, за голенища, он нес кирзовые сапоги.

— Попробуй обувь, студент. Поддай, Верка, сухие портянки, — командовал он. — Да потуже на ногу наматывай. При городской жизни не разучился?

Обулся, встал, притопнул каблуком — хорошо!

— Давно не надеванные, сохлись, — оглядела хозяйка.

— Главное, не жмут, — заверил Алексей. — Разомнутся быстро.

— Теперь и топай. Скоро совсем просветлеет, — сказал Фанас. — К обеду домой попадешь. — Помолчав, спросил: — Назад-то когда будешь ворочаться?

— Через две недели.

— Тогда и сапоги занесешь. А сейчас шагай. Ты ему дай что-нибудь на дорогу, — повернулся он к хозяйке.

— Сама знаю. Уже пирожков напекла, — ответила та. — И в карманы, в пальто тебе, Алеша, положила.

Алеша благодарил, краснел, неловко вдруг стало — сколько хлопот незнакомым людям из-за него. Решил оставить хоть залог.

— Я у вас ботинки брошу...

— Забирай, — буркнул Фанас. — В клуб же к девушкам в ботинках пойдешь? Негоже студенту в кирзачах. Марку держи.

— Дома старые сойдут. Нести тяжело будет, двадцать километров топать.

— И то верно, — согласился Фанас. Распрощался Алеша с доброй хозяйкой. Та все беспокоилась:

— В этом кармане пирожки с картошкой, а там — сладкие, с вареньем яблочным. Не спутаешь?

— Найдет, — гудел за Алешу Фанас.

На улице было светло, чуть приморозило, снег, лужи — все взялось хрупкой ледяной коркой.

В углу двора под плетнем чернели дубки. Фанас косо глянул на них, сплюнул.

— Стыда не оберешься.

И опять сплюнул.

— Сараев ему мало, новых забажалось.

Вышли за ворота.

— Шагай, студент. Заходи к нам, когда нужно. Гостем будешь.

И Алексей пошел. Теперь напрямик, через сугробы, по воде, по льду. Ничего не страшно, в сапогах ведь шагал.

Чтобы не скучно, пел песни. Весело было на душе — домой ведь, в село свое шел.

Ровно через две недели Алеша возвращался в город: кончился срок каникулярный. На полустанок доехал быстро, на грузовике. Зима уже вновь встала на ноги. Дорога была накатана.

Пока дружки стояли в очереди у кассы, доставали билеты на поезд, Алексей побегал к Фанасу — сапоги отдать. Быстро отыскал улицу, знакомый дом. Постучал в дверь — тихо, никто не отзывается, толкнул щеколду — открыто. В сенях же, в углу на лавочке, стоят Алешкины ботинки, начищенные, блестят, как лакированные.

Алеша быстро переобулся. Поставил на лавочку сапоги. Рядом положил кусок сала, завернутый в газету. Мать так наказывала сделать.

Подумал-подумал, вырвал из блокнота листок и написал большими буквами: «СПАСИБО!»

Виктор Никитин

Никитин Виктор Николаевич родился в 1960 году. Прозаик, эссеист. Член Союза писателей России с 2003 года.

ЗОЯ ПАЛЬЦЕВА

У нее было настроение блюз. Голубое платье висело на спинке стула. Чашка кофе дымилась на столе, к краю блюдца была прислонена дымящаяся сигарета. Телевизор без звука показывал, как крокодил на водопое подкараулил сплывшую к реке антилопу, а потом, как из крокодиловой кожи делают сумочки и кошельки.

Зоя взяла сигарету и подошла к окну. Ее обманули, ее опять обманули. На-

дежды на перемены в жизни отодвинулись в неопределенное будущее, а внизу был двор в лужах, заставленный машинами, — очередное пустое воскресенье, безрадостная осень и никаких проблесков в однообразной серости дней. У нее была хорошо оплачиваемая работа в офисе, но не было счастья, которого она заслуживала.

Они познакомились в торговом центре — кафе на первом этаже, у фонтана. Он понравился ей сразу, через пять минут она уже безудержно смеялась, а через два часа они вышли из кино и поехали к ней. Эту квартиру она снимала; за восемь лет пятая по счету, а какой по счету была неудача, она не знала.

Он положил ей руку на спину и поцеловал. Она закрыла глаза и откинулась всем телом назад, — словно поплыла на кровати навстречу неизъяснимому блаженству, или нет, это был поезд, экспресс, стремительно уносящий ее в темный туннель; стучали колеса на стыках, она вздрагивала от равномерных толчков, ее тело подчинялось навязчивому такту движения. Движение захватывало и все объясняло, и выпрямляло, и вело к уверенности, что на этот раз они вместе сойдут на конечной станции и не расстанутся. На следующий день он не позвонил, как договаривались; ее попытки связаться с ним ни к чему не привели.

Зоя подошла к зеркалу и распахнула халатик. Ну, что не так? Пальцы ухватились за складку на животе — это все легко убирается. На кухне ее ждали банка с отрубями и пачка зеленого чая турбослим. Толстые ноги? Вот еще, нет, это неправда. У нее замечательная фигура. У нее красивые глаза, выразительный взгляд.

Из зеркала на Зою Пальцеву смотрела упрямая девушка с круглым лицом. Восемь лет назад она отправилась покорять Москву. Ее родители были безнадежно отсталыми по части перемен, но и они согласились с тем, что их дочь достойна лучшего. Когда же еще, если не сейчас, в молодости? Расстаться с провинцией, обрести лучшую жизнь в столице — на это были направлены все возможные и невозможные усилия. Деньги тут были необходимым средством обретения независимости. На такое великое дело собрали, где только смогли, кое-что пришлось продать — вот и папины старые «жигули» пригодились, — но получилось главное: их дочь поступила в столичный вуз.

Предчувствие новой жизни охватило Зою еще в поезде: она лежала на верхней полке и принимала спиной радостный бег мурашек, внутри нее что-то сжималось в дрожащий комочек, а потом распрямлялось в предвкушении чуда.

Были веселые компании в институте, много смеха, всяческих вечеринок с пивом или вином. Зоя тогда смеялась особенно радостным смехом, ее голос забирался так высоко, она так самозабвенно заливалась, что все ее слова терялись, и ничего нельзя было разобрать, что она тараторит, да это никому и не нужно было. Так называемая «золотая молодежь» Зою сторонилась, записав ее в безнадежную категорию «провинциалок». Она пыталась что-то изменить, но выходило все неловко, случайно и на один только раз. Институт был с именем, вывеской и традициями, но выйти замуж у нее не получилось.

Зато получилось с работой. Ей предложили место в одной престижной финансовой компании. Круг общения стал значительно шире и интереснее. Вспыхнули новые надежды. Ей показалось, что ее непосредственный начальник, а он был постарше ее лет на десять, благоволит к ней не только потому, что она старательно исполняет свои обязанности. То, как он просил ее задержаться у себя в кабинете, когда всем остальным можно было уйти, каким нарочито спокойным и взвешенным голосом говорил с ней, как выделял ее среди прочих, какие давал поручения и даже то, как играли его пальцы на столе, когда он ей что-то объяснял, — все говорило о его интересе совсем с другой, не деловой стороны, более близкой ей и желанной. И она слушала его, теплея всем телом, и одновременно впадала в сладостное оцепенение от того, что ждет ее впереди.

А потом, спустя какой-то месяц, это произошло, и открылись недели сумасшедшей радости и равномерного счастья, встречи, от которых у нее светились глаза, волосы, и вся она целиком заполнялась внутренним светом. Она невольно смеялась, и чаще всего это случалось как раз на работе, в общении с коллегами, не с ним; ее приподнятое настроение словно пыталось добраться до высот ее голоса, в особо головокружительные секунды срывающегося чуть ли не на визг, — от восторга, разумеется. Она теряла голову, и вообще все было непонятно и здорово, и закончилось внезапно, там же, где и началось, в кабинете: она оторопело смотрела на его пальцы, которые теперь не играли, а бегали по столу, словно искали какую-то невидимую опору, его голос при этом был глухим и чужим, и то ли объяснял ей, то ли просто сообщал, что у него совершенно другие планы в жизни, он меняет место работы и уезжает за границу, и с нее вдруг словно спадало какое-то колдовство, она просыпалась и удивлялась самой себе, тому, что делала все это время, на что надеялась, — у него же семья, он женат, неужели она думала, что он разведется? И вообще, о чем она думала и думала ли? Он говорил что-то еще, наверное, это были слова утешения, а по ее спине пробегал холодок от прикосновения его памятных, далеких, теперь посторонних пальцев; мысленно она замирала и ложилась на стол, чтобы испытать приступ любви, сладкая боль растекалась по всему телу, она никуда не ехала, ее вагон отцепили и бросили, — уезжал он, его поезд-экспресс стремительно отдалялся от нее.

И потянулись новые дни — дни привыкания, несогласия, пустого ожидания. Она ходила в кино; смотрела дома телевизор, забравшись с ногами на диван, в основном, клипы на музыкальных каналах — плотный ритм держал и поднимал мелодию до высот прозрачной грусти, низкий мужской голос рассказывал об ушедшем чувстве, девушка с развевающимися волосами летела в открытом автомобиле вдоль морского берега, ее рука отпускала на ветер косынку, она улыбалась и прощалась с летом.

Несколько раз с Зоей пытались познакомиться, но это не были варианты. У нее было безошибочное чутье на провинциалов, таких она отметала сразу.

Однажды в кафе на нее обратил внимание парень в оранжевом свитере, и все совпало, как надо. Был ночной клуб, сумасшедший танцпол, Москва проносилась мимо бликами огней, скользящими по поверхности его автомобиля. Они продолжили знакомство. Он заехал к ней на работу, домой она возвращалась с цветами.

К ней вернулся смех, вернулось и беззаботное, непринужденное настроение. Глаза светились, губы говорили «да», тело откликалось на любые предложения. В Зое пряталось поверхностное чувство удовлетворения происходящим, которое должно было вырасти в безоглядный восторг, широкой волной растекающийся по миру.

Но все повторилось, как и прежде, внезапным расставанием, на этот раз без объяснений и повторилось снова, с другим человеком, уже значительно старше ее, в другой обстановке. Был снова неутомимый и стремительный поезд-экспресс, те же нахлынувшие от избытка чувств мечты; спиной она ощущала легкую прохладу постели, достаток дома и налаженность быта, но сквозь все это спокойствие и величие чужой, неизвестно как заработанной жизни в Зое проявлялся новый подход к тому, что с ней происходит, в слове «приключение» она нашла оправдание сразу всему, ведь она уже научилась кое-что понимать и потому изменилась настолько, что ей стало интересно сыграть на опережение для компенсации своих душевных, и не только, затрат.

Оставшись одна, она вылезла из джакузи, вытерлась широким белым полотенцем и вышла к большому зеркалу в резной золоченой раме, висевшему на стене в другой комнате.

Обнаженная Зоя стояла вполборота к зеркалу и ладонями приподнимала свою

тяжелую грудь. Ей казалось, что в зеркале отражается кто-то еще кроме нее самой, и эта двойственность только подзадоривала ее и подтверждала ее красоту, ее правду во всем и необходимость ее существования. Она легко хлопнула себя по бедру и со стеклянного столика рядом взяла компакт-диск «Ибица», а из оставленного без присмотра бумажника по соседству с полупустой бутылкой виски вытащила пятьсот долларов. Уходя, захватила с собой и полотенце.

Прежнего смеха не осталось, теперь она могла разве что усмехнуться чьей-то неудаче. Несколько лет жизни в Москве прошли в пустом мелькании лиц, и это было странно, это было так странно, что в это невозможно было поверить. Воздух большого города был насыщен миллионами волнующе острых запахов, которые соединялись в один пряный запах удачи и перемен, который хотелось поймать в щепотку и растереть, чтобы вдохнуть в себя раз и навсегда, не отпуская. Но для Зои не было здесь места. На работе прошли сокращения, и кризис не оставил ее в списках сотрудников компании. Попытки где-то устроиться на прежнем уровне не увенчались успехом, оказаться же на ступеньку, а то и две, ниже ей не хотелось. Конечно, чем-то она временно занималась, ходила куда-то на работу, но все это было уже не то. А тут родители вдруг зашевелились, стали звать ее домой.

Домой, домой — что это такое? И вот поезд, но уже не экспресс, плацкартный вагон, чьи-то босые ноги, черные пятки, жигулевское пиво на столике у окна, напротив детское лицо, перемазанное зеленкой. Зоя отвернулась к стенке. Куда она едет? Зачем? Если бы всего-то каких-нибудь полгода назад ей кто-нибудь сказал об этом, она бы не поверила. Нет-нет, убеждала она себя, я просто навещу родителей, а потом вернусь обратно.

Город, в который она возвратилась, ее родной город вдруг показался ей чужим. С ночи прошел дождь, который проявил всю осеннюю грязь. Сразу за зданием вокзала ее встретила большая куча мусора, заботливо поддержанная окурками до размеров причудливой пирамиды; ветер откуда-то принес запах дешевого мыла, и ей показалось, что она проваливается в какую-то яму, из которой невозможно выбраться.

Во всех справочниках город значился «промышленным центром», на деле же это был центр умирающей промышленности. Город делился широкой рекой на две неравнозначные части. Холмистый правый берег, где была сосредоточена основная жизнь, безоглядным кругом распространенная дальше по степи и теснящая вырубаемые леса, возвышался над низменным левым, где поближе к воде прижималась узкая цепочка заводских корпусов с разбросанными там и сям разноэтажными домами, построенными для рабочих, в одном из которых и жила прежде Зоя Пальцева. Прижавшись в заполненной людьми маршрутке к окну, она спускалась домой по старому длинному мосту с торчащей во многих местах пробоин голой арматурой вместо перил ограждения, съеденного новой жизнью.

Родители Зои, которых она не удосуживалась навестить все эти годы, произвели на нее странное впечатление: они вдруг сразу постарели для нее, становясь через неодолимый возрастной барьер посторонними, и отодвинулись на расстояние необщения и равнодушного терпения. Можно было еще поартачиться и многого себе насочинять и наобещать, однако время и, казалось, сам вязкий воздух, весьма располагающий к привыканию и душевному оцепенению, довольно быстро погасил всяческое сопротивление; как бы там ни было, а Зоя устроилась работать на продуктовую базу. Нашлись старые школьные подруги, которые ее туда и затащили; ее усадили за кассу, где она очень скоро научилась заигрывать с клиентами и обсчитывать их, сплетничать по любому поводу и выпивать после работы в компании.

Случались в этом времяпрепровождении и мужчины, но ни романом, ни хотя бы просто приключением назвать эти отношения Зоя не могла. Ее смех стал наро-

читым и расчетливым к ситуации, зависимым от окружающей ее обстановки, заискивающим перед ней.

Ее база находилась почти за городом, на том же левом берегу, отрезанном от полнокровной и осмысленной жизни. Рядом торчали недостроенные, словно обрезанные, заводские трубы, похожие на памятники-obelisks ушедшей эпохе. Голые оконные проемы пустых холодных цехов напоминали понапрасну разинутые индустриальные рты. Неровности земли, по которой Зоя шла от автобусной остановки до работы, соответствовали перепадам ее настроения; в ее душе формировался образ неровной и неловкой жизни. Это в Москве все было широко и прямо, здесь же все было непоправимо криво. И тогда ее в оборот брали слезы; отвлекала и успокаивала ее оживленная болтовня.

Неподалеку от базы располагалось придорожное кафе, куда Зоя вместе с подругами иной раз заглядывала после работы. Как-то в самом начале марта она оказалась там в одной случайно собравшейся компании. Зоя перебрала со спиртным, чего с ней обыкновенно не бывало, и неожиданно для самой себя разошлась: в ней вышло какое-то ожесточение, ей хотелось всем говорить гадости. Наверное, был повод, ее неосторожно задела словом, и она преуспела настолько, что ушла сначала одна подруга, потом компанию покинула и вторая. Зоя осталась вместе с двумя парнями.

Под шутки и хохот они вывели ее на улицу. Густыми хлопьями шел снег, и свежий покров искрился в свете фонарей. Парни взялись отвезти Зою домой. Уже в машине она вдруг что-то сообразила и заупрямилась. «Пусти! Пусти!» — повторяла она, отталкивая руки того, с кем села сзади. Они оба тяжело дышали, ввязавшись в борьбу. Наконец другой, за рулем, уставший от этой бессмысленной возни, сказал своему другу: «Да выкинь ты эту дуру, видишь, она не в себе!» Машина остановилась, и Зоя очутилась в придорожном сугробе. Она встала, отряхнулась и крикнула вслед уехавшим: «Уроды!» Белая блузка на ней была разорвана, на распахнувшейся шубе не хватало декоративных пуговиц.

Проваливаясь в снег, она выбралась с обочины на дорогу. Автобус уже не ходил. Пошатываясь и глубоко вдыхая морозный воздух, Зоя шла неизвестно куда. Снег валил густой пеленой и угадать какое-либо направление было невозможно. Но ей отчего-то было хорошо, словно она освободилась от какого-то тяжелого груза и вдруг сообразила, что ей принадлежит целый мир с его необъятным темным небом и необозримыми белыми даями.

Вдруг она заметила какое-то движение в поле. Это собака бежала по снегу, небольшая совсем, и откуда взялась? Ее будто несло куда-то помимо ее воли, тащило ветром; она словно катилась по снегу и, казалось, что ноги ей только мешают, что она совсем без ног, и только смешно встряхивает головой в такт скольжению. «Вот и я, как эта собачка, — подумала про себя Зоя и улыбнулась. — Меня тоже тащит за собой неведомая сила».

Раскачиваясь, она попыталась бежать, подражая собачке, еще и для того, чтобы согреться. И вдруг эта неведомая сила толкнула ее вперед и опрокинула на снег.

«Что это было?» — спросил водителя очнувшийся пьяненький пассажир на переднем сиденье. «Где? — зевая, ответил тот; дворники со скрипом елозили по лобовому стеклу. — Хрен его знает. Ничего же не видно».

Машина пропала в заштрихованной снегом ночи, а Зоя осталась лежать в распахнутой черной шубе на обочине. Она лежала на спине, было холодно, и ей показалось, что она снова куда-то едет, и где-то там, на конечной остановке, ее ждет то, к чему она стремилась. Перед ее глазами открылось темное небо, усеянное застывшими звездами, а внутри нее растекалось теплое и спокойное ощущение дома.

Юрий Кургузов

Кургузов Юрий Митрофанович родился в 1957 году. Прозаик, очеркист, издатель. Член Союза писателей России с 2010 года.

ГРЮНВАЛЬД-1410

Этот тип оказался маленьким, щуплым и старым, но необычайно притким человечком. С каким-то непонятым, чуть ли не злорадным удовлетворением он оглядел меня с ног до головы, задрав в конце «осмотра» подбородок к потолку, и, хихикнув, указал скрюченным пальцем на стул:

— Садитесь. Вы, значит, по объявлению?

Я не стал отрицать,

— Да вроде... Я... в общем-то...

— В общем-то, вам нужны деньги! — прокрипел он. — Ну, разумеется! Разве же в наше мерзопакостное время кто-нибудь согласится сделать что-либо бесплатно — бескорыстно, ради высших идеалов, ради науки!..

Я хотел было возразить, но старый хрен вовсе не собирался меня слушать. Он сморщился, будто глотнул желчи, и хмыкнул:

— Ладно-ладно, поберегите свое красноречие для других. Так вот: получите пятьсот...

— Слушайте, но ведь в объявлении было написано тысяча! — удивился я.

Он осклабился:

— Мало ли что там было написано! На заборе, помните, что было написано?.. А скажите, вы бы пришли за пятьсот?

Я пожал плечами:

— Ну, не знаю...

— А я знаю! — торжественно провозгласил он. — Прижали бы хвост. А вот за тысячей прискакали как миленький...

Я подумал, что и бесплатно с удовольствием прижал бы ему не только хвост, не будь я... Ну, ладно. Старик же как обезьяна забегал по кабинету.

— Так вам не нужны пятьсот?! Да вам и трех сотен за глаза хватило бы! К сожалению, я слишком добрый и порядочный человек. Ну что? Не согласны? Тогда уходите, и побыстрее. С минуты на минуту заявятся другие...

Я скрипнул клыками.

— Хорошо, согласен...

Он едва не захлебнулся злорадным кашлем:

— Ха, еще бы! Одни дураки отказываются огрести кучу денег за просто так, фактически ни за что!

Старик похлопал по карманам замызганного, вылинявшего халата, нащупал какую-то коробочку, достал розовую пилюлю и забросил ее в рот. Я успел заметить, что зубы у него маленькие, острые и крепкие, как у хорька — если только, конечно, это не протезы.

Нахмурился:

— Короче... Что от меня требуется?

Он шутовски всплеснул руками:

— Надо же, какой приткий! Нет уж, подождите, молодой человек, сначала я осмотрю вас. Может, вы больны и не подойдете, хотя на вид, признаюсь, выглядите отлично. Спортсмен?

— Бывший...

Он стрельнул внимательным, цепким взглядом:

— Не комплексуйте. — И, распахнув боковую дверь, нырнул в соседнюю комнату. — Сюда, мой юный друг!

Эта комната служила, видимо, лабораторией новоявленного и, подозреваю, не вполне нормального гения-одиночки. Вся она была заставлена какими-то приборами, бутылками с пестрыми ярлыками, завалена коробками, дисками и дискетами. В углу торчало кресло, над которым свешивался с потолка тусклый металлический колпак.

Старик ткнул пальцем в кресло:

— Сядьте и подождите ноги.

Я сел и поджал.

— Так?

— Так. А теперь расслабьтесь и думайте о чем-нибудь приятном. Спокойно... — Он взял в руки маленький пульт с разноцветными кнопками и нажал на красную. Колпак с тихим шелестом начал плавно опускаться, пока не наступила полная тьма. Голос старика доносился словно издалека, неясно и приглушенно.

Честно говоря, я приготовился к довольно длительной процедуре и потому удивился, увидев вдруг у ног полоску света. Почти бесшумно гигантский металлический абажур вернулся на свое исходное место под потолком.

Я спрыгнул с кресла и потянулся:

— Куда теперь?

— Теперь домой! — вновь неприятно хихикнул хозяин. — Осмотр закончен, вы мне подходите. Жду завтра к десяти утра. Дома, если есть кому, — скажете, что, возможно, задержитесь на сутки, не дольше. А возможно, и не задержитесь, там поглядим. — Он, морщась, проглотил еще одну розовую пилюлю. — Главное — как следует выспитесь. Ну все. Не провожаю...

Нет, какого-то особого страха у меня не было. Однако, чтобы «выспаться», я поддал. Не очень крепко — но поддал...

Без пяти десять я нажал кнопку звонка.

Старик долго гремел замками и цепочкой и наконец впустил меня в дом. Потирая клешнеобразные кисти, прошел в кабинет и, обернувшись, пристально посмотрел мне в глаза:

— Что — плохо спали?

Я неопределенно шевельнул плечом — мол, не то чтобы плохо... Он понимающе каркнул:

— Ладно-ладно, плечами потом будете пожимать... Ничего страшного. А у меня все готово, скоро начнем.

— Валяйте... — Я огляделся в поисках стула, но он потащил меня к вчерашнему креслу:

— Давайте сразу сюда. — А сам уселся на табурет напротив. — Теперь слушайте внимательно. Вам незачем знать все в деталях — не поймете, да и ни к чему это, — но уразумейте главное. А главное... главное в том, что я сконструировал наконец Машину Времени! Уловили? В самом деле! И это вам уже не бредни писк, не газетные утки, а настоящая, самая настоящая Машина Времени!..

Я сдержанно кивнул (признаться, нечто в этом роде и предполагал):

— Да-да, понимаю. Машина Времени... Вы, наверное, изучаете историю?

Он злобно фыркнул:

— Ни черта вы не понимаете! Я сам не все еще до конца понимаю! Мальчишка!.. — Но тут же взял себя в руки. — Простите... Нет, я не историк. Моя область — психика, сознание, подсознание... Мне необходимо наблюдать человеческий мозг

в самых различных, желательно, конечно, неординарных, экстремальных ситуациях. Но аппаратура, как видите, достаточно громоздка — я не могу таскать ее даже по нашему городу. А мне нужны войны, убийства, любовь, изнасилования, предательство... Понимаете?.. Мне нужно изучать мозг человека, попавшего в катастрофу, притон, плен... Понимаете? Человека умирающего, человека счастливого!..

Долгие, долгие годы я искал свой главный инструмент. И — придумал Машину Времени... Она, как скальпель, откроет мне доступ к самым сокровенным тайникам человеческих инстинктов и чувств! Она, вы и вот это, — постучал он по серебристому экрану, — помогут мне проникнуть в такие бездны!..

А я сидел и думал, что старик, похоже, здорово не в себе. Нет, что ни говорите, а все-таки страшновато отдаваться во власть маньяка... Хотя с другой стороны, — пес с ним, не убьет же, в конце концов. И потом, служба есть служба, да плюс еще и левый заработок...

Я нетерпеливо отмахнулся:

— Слушайте, хватит объяснений, а? Мы вроде бы ударили по рукам — или надо еще что-то там подписать кровью? Я понял: вы отправляете меня куда считаете нужным — в будущее или прошлое... Давайте за дело!

— Верно-верно... — Старик усмехнулся. — За дело, так за дело, и кровью подписывать ничего не надо... Но — не в будущее. В будущее — это бред: туда попасть нельзя, будущего еще не было! Только — в прошлое. Оно было и — осталось. Оно все еще живет... Вам ясно?

— Угу. — Честно говоря, я даже не задавался всерьез в тот миг вопросом: верю ему или нет. Я просто кивнул и глупо повторил:

— Угу.

А он... Он достал из ящика стола широкий черный пояс:

— Наденьте. — Пояс был похож на металлический, однако мягко сомкнулся вокруг тела. — И ни в коем случае не потеряйте его, иначе можете остаться там навсегда, и я не смогу ничем помочь... — Голос его задрожал: — Приготовьтесь!.. — В руке опять появился пульт с разноцветными кнопками. — Да, вот еще что... Аппарат действует в радиусе тысячи лет, и я не знаю, в какую страну и эпоху вы попадете... Хотелось бы, конечно, чтобы в нашу и в совсем недавнее время, однако... В общем, вы поймете любой язык, и вас поймет всякий. Одежда пусть остается прежней — решите на месте, добывать другую или не стоит. Все. Закройте глаза и расслабьтесь. Через десять секунд я включаю обратное время!..

Опустился знакомый уже абажур. Я зажмурился и почувствовал всей кожей тончайшие уколы, словно через меня пропустили слабый разряд электрического тока... Вдруг ужасно захотелось спать, мысли начали скакать как зайцы и путаться как змеи... Внезапно я увидел склонившееся надо мной лицо старика. Откуда он здесь, под колпаком? Наверное, я уснул. Но спал я недолго...

...Спал я недолго, потому что на грудь вскарабкалась облезлая рыжая крыса и стала тянуть зубами за воротник кожаной куртки.

Я вскочил как ошпаренный, а крыса шмыгнула между ног и пулей скрылась в высокой густой траве.

— У-у, тварь!.. — и пара эпитетов покруче. Я еще не совсем проснулся и очумело глядел по сторонам.

Гм... Я стоял на равнине, обрамленной со всех сторон темными полосками леса. Невдалеке виднелось болото. Равнина вся была покрыта какими-то пятнами. Шагах в двадцати неподвижно лежал человек, чуть правее еще один, и еще, и еще...

Я ошалело присвистнул. Розово-красные тела усыпали все поле. По обнажен-

ным мертвецам степенно расхаживали вороны. Ну, старый черт!.. Вот так удружил!..

Стараясь не смотреть по сторонам, я быстрым шагом припустил к лесу и был уже почти возле деревьев, когда прямо навстречу мне вышли люди. Трое мужчин и женщина. Я почему-то подумал, что от этого знакомства не грех бы уклониться, и резко повернул назад. Мужчины закричали, требуя остановиться. Ага, размечтались — я дунул во все лопатки.

Над головой пропела и воткнулась в землю длинная стрела с потрепанным пестушиным опереньем. Намек понял!

— Стой, собака!.. — Голоса уже близко.

Я замер как оловянный солдатик:

— Стою...

— Руки за голову!

Меня взяли в кольцо бородатые мужики в грубой одежде, все увешанные самым разнообразным холодным оружием и с большими мешками за спиной. От них несло потом и кровью. Женщина, вернее, молодая девушка, тоже с мешком, но поменьше, остановилась в нескольких шагах.

— Попался, гад!.. — Сильный удар в челюсть едва не сбил меня с ног, и от мгновенно нахлынувшей злобы я не успел еще ничего сообразить, как кулак сам собой рассек воздух и врубился в кожаный с металлическими нависочниками шлем обидчика. Тот упал.

А я, я, повинувшись уже одним лишь инстинктам, прыгнул к девушке, обхватил двумя руками и закрылся ею как щитом. Двое бандитов опустили мечи. Девушка молчала, хотя я чувствовал, как бешено бьется ее сердце. Пахло от нее, скажу вам, тоже не очень-то приятно.

— Еще шаг — и я ее задую!.. — Слушайте, я не узнавал сам себя! Какую-то минуту назад готов был поклясться, что никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах не подниму руки на женщину.

Бродяги не шевелились. Наконец один, постарше, с черной густой бородой, разлепил потрескавшиеся губы и хрипло выдал:

— Твоя взяла, немец... Уходи, но ее не трожь. Потянешь за собой — убьем обоих! Я плюнул.

— Да пошли вы!.. И со своей шлюхой вместе! Какой я вам, к лешему, немец?!

— Какой бы там ни был! — отрезал старший. — Все вы прихвостни орденские, крестоносцам зад лижете...

Ей-богу, наверное, только сейчас я начал по-настоящему осознавать, что нахожусь в другом мире. Продолжая сжимать девушку в объятиях, я относительно миролюбиво проговорил:

— погоди ругаться, дубина; я — русский и не пойму, что вам от меня нужно!

— Русский? — вытаращил глаза молодой парень в безрукавке из засаленной и грязной овчины, надетой на голое тело.

— Да.

— Загинаешь! — Парень хмыкнул и громко высморкался в кулак. — Как же тебя сюда занесло?!

— Заткнись! — оборвал его товарищ. — Может, он из Смоленска... Погляди, что там, — кивнул на лежащего неподвижно бандита, а я удивленно подумал: «Почему это обязательно из Смоленска?»

Парень перевернул распростертое на траве тело на спину — лицо моего супостата было залито вытекающей из-под шлема кровью — и сорвал шлем. Он был сильно погнут с левой стороны.

— Готов!..

Мне стало малость не по себе.

— Я... убил его?..

— Нет, по головке погладил! Заклепка прямо в висок вошла!.. — Казалось, молодой разбойник не испытывал ко мне никакой ненависти. — Ну и ладно. Его мешок теперь наш будет.

Бородатый что-то проворчал, не отрывая взгляда от меня и девушки. И вдруг отбросил меч и лук в сторону.

— Оставь ее и уходи!

— Куда?! — И тут же я понял, что сморозил глупость.

— Куда хочешь. Не тронем. Проваливай да скажи спасибо, что за товарища не мстим.

Я усмехнулся:

— Значит, такой товарищ... За настоящих мстят. — Потом, продолжая крепко держать девушку за руку, подошел к брошенному мечу, поднял его и резанул по тегиве лука. — Гуляй!..

Девушка медленно пошла к своим и остановилась у трупа.

Молодец в овчине гоготнул:

— Ну что, теперь моя очередь?

— Отвали!..

— Ладно-ладно, ночью поглядим...

Про меня же, казалось, забыли. Мужики сняли с мертвеца сапоги, пошарив за пазухой, достали кожаный кошель. Девушка стояла и безучастно смотрела на все происходящее широко открытыми синими глазами.

Я негромко кашлянул.

Бородач поднял голову:

— Ты еще здесь? Уходи!

— А куда идти-то? Где я?

— Да как ты сюда попал?!

— Так... Шел-шел — и пришел...

— Ну а теперь иди-иди — и уйдешь!

— Куда? — потерянно протянул я.

Бородатый сердито засопел и махнул рукой:

— Слушай, чеши вон к тому лесу и выйдешь прямо к Грюнвальду. Там сейчас конница Витовта после боя отдыхает. А за околицей мурзы татарские со своими головорезами.

— «Боя»... — словно во сне проговорил я. — Какого боя?..

— «Какого»? — передразнил он. — Такого! Немцу хребет свернули. Ордену конец! (Вообще-то, он сказал не «конец».) Пстой, а ты часом не дурак?

— Кажется, нет... — Я тряхнул головой. — А вы, ребята, что здесь делаете?

— Что? Трупы обчищаем — вот что. Хотели было тебя, да ладно, живи. Ну и платье же на тебе! — Бородач хохотнул.

— А давай меняться. — Я сбросил туфли и куртку. — Кинь что-нибудь взамен.

Мародер внимательно осмотрел и ощупал кожаную куртку и ботинки, потом поковырялся в мешке и, швырнув низкие сапоги и грубо выделанную овчину, — «На!» — толкнул девушку: «Пошли!»

И вдруг я, совершенно неожиданно для себя, выпалил:

— Эй! Возьмите меня с собой!

Мужик прищурился:

— О-о-о, парень, никак на бабу глаз положил?.. — И вмиг стер ухмылку с грязной физиономии. — Самим мало!

— А если я сейчас... и вас убью?.. — Слушайте, это был мой — мой! — голос.

Челюсть бродяги отвисла. А молодой зашептал что-то ему в ухо, показывая на меня и энергично жестикулируя. Девушка все так же равнодушно молчала.

Бородатый задумался. Казалось, он решал трудную математическую задачу — закатывал глаза к небу, шевелил толстыми губами, чесал затылок, даже поковырял в носу. Наконец пробурчал:

— Идешь с нами. Я так решил. Но гляди: чуть что — разговор короткий! — Он явно храбрился перед соратниками, пытаясь поддержать пошатнувшийся авторитет. — Бери его мешок.

Я подхватил с земли мешок убитого, сунул за черный пояс меч. Бородач недовольно засопел, но ничего не сказал; повернулся и зашагал к лесу. Остальные — за ним. Я — за остальными.

...Я уснул как рухнул в бездонную пропасть. Видения были тяжелыми: я бродил по зеленому полю среди розовых трупов, и те, словно в приветствии, поднимали к голубому небу окровавленные руки... Потом я вдруг оказался в лаборатории проклятого старика, который грозил мечом и требовал пояс. Но я-то знал, что тогда не смогу вернуться, вот только никак не мог вспомнить, куда — домой или на мертвый луг... Потом с потолка посыпались отрубленные головы. Я дернулся — и проснулся...

Кто-то прижался ко мне и положил руку на грудь. И это уже не был сон. Я схватился за пояс — на месте, — оттолкнул легкое тело, замахнулся для удара и... услышал тихий плач. На траве лежала девушка и тонко всхлипывала:

— Не бей!..

Я обалдело всмотрелся в темноту, потом провел пальцами по мокрому от слез лицу. Девушка схватила меня за руку:

— Не хочу быть с ними! Буду с тобой!..

Я растерянно пробормотал:

— Но послушай, очень скоро мне придется уйти... Я должен уйти...

— Возьми меня! Куда прикажешь, только не с ними!

— Да брось их!

Девушка почти беззвучно плакала:

— Не могу! Догонят и убьют... Они и тебя убьют, на рассвете...

Я стиснул зубы — вот как...

— Ладно, не реви, что-нибудь придумаем. — Нащупал в изголовье меч. А девушка, уже в настоящем иступлении, зашептала:

— Ты сильный... убей их сам, убей!..

Меня немного передернуло:

— Спящих?!

— Но они же хотят расправиться с тобой!

Я покачал головой:

— Все равно, я так не могу. Я буду ждать, а ты уходи!

Но девушка снова робко придвинулась ко мне и обняла за шею.

Наверное, с минуту я лежал неподвижный как кол, потом вздохнул:

— Подожди... — расстегнул пояс и бросил на траву...

Светало. Я лежал с мечом в руке. Рядом ровно дышала девушка, имени которой я не знал и навряд ли когда узнаю, — мне это просто ни к чему. Спать хотелось безумно, глаза слипались, и мысли становились все туманнее и невесомее.

И вдруг со стороны кострища раздался треск сухой ветки и сдавленный шепот. Я полуприкрыл глаза. Послышались осторожные шаги, и две тени выросли над головой. И тогда... тогда я изо всех сил оттолкнул от себя девушку и прыгнул в сторону

Запоздало, с хрустом, в землю врубился топор. Я ударил мечом по голове одно-

го бандита. Удар пришелся вскользь, но бородач, оглушенный, безвольно уронил руки.

Испуганно закричала девушка, и я едва успел встать между ней и вторым разбойником...

Зазвенели мечи, и я сразу понял, что придется туго. О бое тяжелым холодным оружием я не имел почти ни малейшего представления — видел его только в кино, где клинок нарочито ударяет о клинок, а не метит в тело. Я отступал и уводил врага от девушки; тяжелое лезвие со свистом носилось над моей головой. Наконец, уже в совершеннейшем отчаянии от собственного бессилия, я каким-то чудом отбил меч противника высоко вверх и пнул его ногой в живот. Парень, отлетев, рухнул навзничь, а я, не давая ему подняться, подскочил и со всей силы, которая только осталась в руках, опустил свое тяжелое оружие на незащищенную голову. Казалось, я разрубил его череп напополам...

Снова пронзительно завизжала девушка. Я обернулся. Намотав длинные льняные волосы на руку, бородач пытался затащить ее в чашу.

И я взревел... Взревел как бык. Теперь я жаждал еще крови, и остановить меня теперь не смогло бы ничто на свете. Я бросился на бородач, который в страхе застыл на месте, отпустив девушку. Я хотел одного — отрубить, снести с плеч эту грязную голову... Меч взвился к светлеющему небу, я увидел полные ужаса глаза разбойника и... провалился, упал в черную тьму...

Однако почти тотчас же очнулся и с мечом в руке бросился на старика. Тот испуганно закричал и ужом нырнул под лабораторный стол. Я замер как вкопанный и стоял так минуту, а может, и час... Я — дома? Я — вернулся?..

Меч звякнул о кафельный пол. Старик выглянул из-под стола:

— Успокоились, юноша? Можно вылезать?

Я тупо глядел перед собой.

— Ну-ну, молодой человек, опомнитесь! Вот стул. Да садитесь, садитесь же, черт вас побори!

— Спасибо... — пробормотал я.

А он, довольно потирая руки, заходил по лаборатории.

— Я все видел! Это было изумительно! Бесподобно! Я в вас не ошибся. Правда... некоторый допинг, для храбрости, вы получили, но и сами молодцом! Два трупа за сеанс, да еще и... — Он шутливо погрозил пальцем: — Ах, молодежь, молодежь!.. — И вдруг лицо его стало печальным: — Увы, друг мой, к великому сожалению, я вынужден вас оштрафовать, получите на двадцать процентов меньше...

Я молчал.

— Ох, проказник! Зачем снимали пояс? Вы лишили меня ценного научного материала... Но ничего, ничего, убийства — это тоже хорошо! Зато теперь весь вы у меня вот где! — Старик счастливо потряс над головой маленьким диском. — Со всеми потрохами, со всеми своими, так сказать, основными и неосновными инстинктами...

Я продолжал торчать посреди комнаты как истукан. Хозяин потрепал меня по плечу:

— Да не переживайте вы так, все у них будет нормально. Эта сладкая парочка пойдет бродяжничать дальше. Ну разве что он ей всыпет немножко за вас. А вот и деньги, с вычетом, как договорились. Теперь домой, отдыхать, баиньки. Давайте-ка сюда меч — не идти же с ним по улицам... О господи! Ну, хорошо, хорошо... заверните, по крайней мере... вот так... До свидания, а точнее — прощайте. Всего доброго! Больше не приходите; вы для меня уже, можно сказать, отработанный материал, уж извините. Желаю счастья. Дверь прихлопните, пожалуйста, там английский замок...

...Судя по газетам и теленовостям, его нашли на следующий день. Какой-то парень пришел по объявлению, долго звонил, стучал, потом, заподозрив неладное, поднял тревогу. Одна из газет, видимо, самая шустрая, даже поместила снимок: старик лежит на боку, устремив неподвижные глаза в потолок; широкое лезвие меча наискось торчит из спины. Он в тот момент, конечно же, удивился, но испугаться по-настоящему, по-моему, так и не успел. Об отпечатках пальцев на мече (как, впрочем, и всем остальном в квартире) я не беспокоился: их там не было — я же все-таки профессионал.

О выполнении задания я доложил сразу же по возвращении домой и тотчас получил новое, на послезавтра.

А вот про диск в коробочке с аккуратной каллиграфической надписью на сиреневой этикетке «Проба №1.1410» — умолчал. Ненавижу, когда кто-то начинает копаться в моих не только основных, но даже и неосновных инстинктах.

И касается это любого...





Егор Исаев

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ВЕЧНОСТИ

НЕПРОТОКОЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

О том, как я выступал на юбилее Е.А. Исаева

2 мая 2011 года Егору Александровичу Исаеву исполнялось 85 лет.

Широко отмечать юбилей в этот день в Воронеже поэт не планировал: не отпустили столичные торжества. Ограничился практически однодневной поездкой на родину для участия в весьма лестной затее местных властей. В преддверии даты правительство Воронежской области спешно утвердило литературную премию для молодых поэтов, назвав ее соответственно — Исаевской. Замысел состоял в том, чтобы именитый земляк вместе с тогдашним губернатором А.В. Гордеевым должны были лично вручить диплом новой премии лауреату. Им по оценке конкурсной комиссии стал молодой поэт Алексей Ряскин. Событие было пышным, проходило в зале заседаний правительства. Остальные почести и юбилейные встречи переносились на июнь.

И вот звонят из департамента культуры: завтра надо выступить от коллектива журнала «Подъём» на встрече с Е.А. Исаевым в областной библиотеке имени И.С. Никитина.

Мои мысли заработали в экстремальном режиме: что говорить и о чем. Исаев — человек яркий, неординарный, удивить его практически невозможно, а говорить банальности крайне не хотелось. Как и повторяться, впрочем. Дело в том, что у меня есть стихи про Коршево — малую родину Егора Александровича, и я их уже дважды читал в исаевской аудитории.

Первый раз — в подмосковной Сходне в мае 2006 года. Туда нас с руководителем управления культуры области И.Д. Образцовым отправили по поручению губернатора области В.Г. Кулакова, чтобы представлять Воронежскую область на торжественном собрании по случаю 80-летия Е.А. Исаева. Почти весь путь от Воронежа до Москвы в микроавтобусе «Фольксваген» наскоро писал текст короткого поздравительного выступления и заучивал стихи, которыми оно, по моей задумке, должно завершиться:

А где оно, это Коршево?
А там, где весной Битюг
Несет ледяное крошево —
Творение зимних вьюг.

То ершики, то карасики
Резвятся в волне речной.
Девчонки играют в «классики»
На солнышке за избой.
Мальчишки знакомой тропкою
Спускаются на улов...
Даль памяти — над пригорками!
Суд памяти — от крестов!
Воткнув посредине улицы
Для коз деревянный штырь,
Весна, от света сощурившись,
Выходит в степную ширь.
Играйте, девчонки, в «классики»!
Мальчишки, готовьте сеть!..
Тут раньше рождались классики,
А хочется, чтоб и впредь.

В актовом зале академии по очереди речь перед юбиляром тогда держали знатные люди: политики В.И. Воротников и Г.А. Зюганов, известные российские литераторы, включая Ю.В. Бондарева, несколько академиков...

Когда очередь дошла до земляков Егора Александровича, свое слово со сцены актового зала я произнес, помнится, без запинки и с выражением. Следом говорил Иван Образцов. В эти мгновения из рядов несколько раз донеслось: «Ваня!.. Щелоков!» Этот был московский поэт Михаил Шевченко, наш земляк, уроженец Россоши. Мне было крайне неловко от такого вероломства в протокольный лад, и я по возможности незаметно жестом руки подавал Михаилу Федоровичу знаки — потом поговорим. Но тот, видимо, не понимал их или не хотел соблюдать официальные тонкости, и снова по залу летело: «Щелоков!.. Ваня-я!..»

На фуршет притомленный двухчасовым ораторством народ повалил, устроив у входа чуть ли не давку. В дверном проеме кто-то сильно хлопнул меня по плечу. Оборачиваюсь — Геннадий Андреевич Зюганов. «Молодец! — говорит он мне. — Хорошо выступил».

За праздничным обедом воронежцы оказались за одним столом в компании Юрия Бондарева с супругой и издателем двухтомного собрания сочинений Е.А. Исаева Владимиром Александровичем Лебедевым...

— Посмотри, какие живые глаза у него! — несколько раз окликал жену именитый прозаик и показывал на меня.

Нежданное знакомство с советским классиком не окончилось застольным общением. Через три с половиной года меня направили работать в журнал «Подъём». Раза два как главный редактор я звонил Ю.В. Бондареву домой по поводу продолжения публикации его философских записей «Мгновения». А в декабре 2010 года через наш журнал мы переводили деньги писателю за звание лауреата всероссийской Платоновской премии, которую учредили на воронежской земле газета «Коммуна» и Союз писателей России. Последнее мое телефонное общение с Юрием Васильевичем Бондаревым как раз и касалось денежного перевода...

Второй раз стихи, посвященные Исаеву, я читал уже в коршевском Доме культуры в июне того же 2006 года. На малой родине было устроено грандиозное чествование земляка. Приехали губернатор и многие высокопоставленные чиновники из области. Чтение мною стихов о селе Коршево организаторы внесли заранее в сценарий. А у меня накануне, как назло, голос пропал. Дни для июня стояли на редкость жаркие, попил ледяной минералки, и мое с детства неустойчивое к холодным молочным продуктам и газированным напиткам горло мгновенно дало о себе знать. Ну, куда мне с такой сипотой да еще со стихами! Подошел к замести-



Егор Исаев на 80-летию журнала «Подъём». 2011 г.

телю губернатора, объясняю, но кому из подчиненных нужны на голову лишние хлопоты: «Это ты решаешь с шефом — он лично одобрил сценарий и выступающих». Улучив момент, прошу В.Г. Кулакова. «Ничего страшного, — улыбается. — Читай, Егору Александровичу и коршевцам будет приятно».

Ожидая выхода на сцену, лихорадочно придумывал «режиссерский» ход, чтобы максимально скрасить конфуз с отсутствующим голосом. «У меня есть три повода считать себя человеком, своим для бобровцев и коршевцев, — обратился в зал. — Мой отец в 60-е годы в селе Красный Лог дружил с участковым, а милиционер был родом из Коршева. Звали его Владимир Колотушкин. Егор Александрович говорит, что помнит его... Бревна, из которых построен наш дом, отец привез из Бобровского лесничества. Ну и, наконец, мой зять родом из Боброва». Селяне дружно зааплодировали. Доволен был и сам юбиляр. Под такое доброжелательное расположение аудитории я и просипел стихотворное посвящение...

И вот через пять лет, в очередную заметную дату Е.А. Исаева, и опять читать стихи о Коршеве! Наверное, глупей не придумаешь. Этот вариант выступления я начисто отменил. Долго и мучительно фантазировал на тему предстоящего выступления. И только поздно вечером неожиданно меня осенило: что если поразмышлять на тему сенокоса в классической русской поэзии?! Примеров много не нужно. Достаточно сравнить строчки из произведений поэтов, чья творческая судьба связана с Воронежским краем. Остановился всего на трех именах — Алексее Кольцове, Александре Твардовском и Егоре Исаеве. Идея мне показалась необычной для юбилейного формата и наверняка приглянется Егору Александровичу: не прямая лесть, не очередное признание в любви к творчеству, а через сравнение и анализ в контексте выбранной темы.

В актовом зале Никитинской библиотеки народу набилось битком. На сцене, как в достославные советские времена, несколько столов, накрытых скатертью. В президиуме — сановные люди во главе с руководителем департамента (бывшего управления) культуры Иваном Образцовым.

Доходит очередь говорить и мне. Выхожу за трибуну, кладу перед собой написанные листы, начинаю формулировать цель своего краткого выступления. Исаев напрягся и с любопытством смотрит из президиума на меня. Дохожу до отрыв-

ка про сенокос из его поэмы «Даль памяти». Читаю по возможности с выражением и смысловыми интонациями. И вдруг Егор Александрович вскакивает и громко говорит в зал:

— Я человек непротокольный. Я тут не знаю, как и что у вас. Щелоков прочитал мои строчки, теперь я хочу сам!..

Резко отодвинул стул и пошел от стола к трибуне. С ходу, без подготовки, на память читает этот же отрывок. Читает страстно, до мурашек по коже, как он умеет. Все, кто знал Исаева, согласятся: в такие моменты не важно, перед кем он читает — перед лордами в английском парламенте или перед Президентом России В.В. Путиным в Кремле на церемонии вручения государственной награды. За стол не возвращается. Говорит, говорит, не обращая внимания на робкие попытки председательствующего вернуть встречу в русло утвержденного сценария.

Но тщетно! Пока юбиляр не выговорился, сделать этого так и не удалось.

Не удалось и мне до конца выступить по заявленной теме: Егор Александрович любезно «скушал» лимит моего времени. Когда он читал свои стихи, я тихо стоял в стороне от трибуны, не зная, что делать и как себя вести. А когда он и вовсе перешел к долгим публичным размышлениям на волнующие его вопросы русской литературы и жизни, я скромно спустился по ступеням и занял свое место в зале. На следующий день газета «Воронежский курьер» в небольшой заметке про юбилей Исаева с легкой иронией написала о казусе со срывом официального сюжета мероприятия.

Текст моего выступления на встрече с Е.А. Исаевым по случаю 85-летия поэта, к счастью, сохранился в компьютерных файлах. С удовольствием приведу его здесь.

«Много добрых слов прозвучало о юбиляре. Много прозвучит. О многом говорили мы с ним при встречах. И я думаю: о чем скажу в эти минуты? Не удивляйтесь: буду говорить о сенокосе. Точней, о мотиве сенокоса в творчестве Егора Александровича Исаева, в частности в поэме «Даль памяти». Через тему сенокоса прослеживается глубинная, корневая связь поэта с малой родиной. Она осмыслена автором так, что от строк таких веет не только степью, временем, родиной, но и космосом.

Надо сказать, тема сенокоса в современном отечественном литературоведении изучена слабо. Возможно, это связано с тем, что нынешнее поколение филологов ни разу не держало в руках обыкновенную косу, не представляет самого захватывающего деревенского трудового действия. А потому оно, это поколение, не понимает духовного и нравственного смысла заготовки сена для домашних животных, не видит красоты и символичности в процессе кошения травы на лугу даже в условиях высоко информатизированного общества. В результате современный специалист по литературе никак не мотивирован на научный поиск по этой теме. Однако изучать, анализировать, сравнивать есть что. В поэзии, например, объектами исследования могут являться произведения Алексея Кольцова, Николая Некрасова, Сергея Есенина, Александра Твардовского, Михаила Исаковского и многих других авторов. В прозе — это, конечно же, романы Льва Толстого, Михаила Шолохова, писателей-деревенщиков... В этом ряду достойное место занимает творчество Егора Александровича Исаева. Он — яркий и самобытный продолжатель русской классической традиции.

Вот строки вступления к главе «Посвящение в мужики» в поэме Егора Исаева «Даль памяти»:

И грянул праздник!
Радостную душу
Ты не жалея, а телом пропотей!

Их было — помнишь? — тридцать девять
Дюжих,
В рубахах белых, ладных лебедей.
Зарю на грудь!
И — звончато и нежно —
Ходи, ходи,
Оглаженная сталь!
Не жаль косы, росы не жаль, конечно,
Да только вот цветов немного жаль.
Жаль красоты!
Эх, кабы не сугробы,
Эх, кабы там ни чичер ледяной,
Эх, кабы кнут пастушеский,
Да чтобы
На все двенадцать месяцев длиной!
Эх, кабы так...
А то ведь как ослится
Сама зима, уж чем ни увещай,
Возьмет свое —
Оставит, чтоб побриться.
А потому-поэтому:
Прощ-щай!
Прощ-щай, цветы,
Прощ-щай, густые травы,
Ложись под ливень с правого плеча!

Разве не слышатся в этих строчках что-то такое родное, до сердечного щемления, что-то буйное, разудало-могучее, с выплеском за горизонт, оттуда, из века девятнадцатого, от чумацких троп, от ночей у прасольского костра, от дерзновенной юности, Алеши Кольцова, посягнувшего в послушание отцовской воли стать певцом степных просторов?

Это он ведь, Кольцов, вывел русскую народную поэзию за деревенскую околицу и пронес ее до столичных бульваров и перекрестков, к средоточию людской цивилизации. Его поэтический сенокос так же естественно звучал в Петербурге, как и на лугах среди бескрайних воронежских раздолей:

Ах ты, степь моя,
Степь привольная,
Широко ты, степь,
Пораскинулась,
К морю Черному
Понадвинулась!
В гости я к тебе
Не один пришел:
Я пришел сам-друг
С косою острою;
Мне давно гулять
По траве степной
Вдоль и поперек
С ней хотелось...
Раззудись, плечо!
Размахнись, рука!
Ты пахни в лицо,
Ветер с полудня!
Освежи, взволнуй
Степь просторную!
Зажужжи, коса, как пчелиный рой!

Молоньей, коса,
Засверкай кругом!
Зашуми, трава,
Подкошенная;
Поклонись, цветы,
Головой земле!

Обратите внимание на одну маленькую деталь: певец в силу своей природной гениальности как бы невзначай, но провидчески роняет: «не один пришел» и что «...давно гулять по траве степной... хотелось...» То есть явление Кольцова как поэта, олицетворяющего собой народ, его душу, — закономерное, выстраданное явление, востребованное конкретными историческими обстоятельствами в преддверии отмены крепостного права. И пусть он так и не освободился от поэтической и песенной традиции народа, певец сделал главное: творчески соединил в себе духовную стихию масс и неповторимую авторскую индивидуальность. Грубо говоря, представил нам вариант авторского фольклора. Примерно, как Бернс в шотландской литературе.

На протяжении XIX и XX веков кольцовская поэтическая традиция жила, развивалась и находила своих последователей. Эта традиция подарила России Некрасова, Есенина, Клюева, Твардовского, Исаковского, Тряпкина, Бокова, Исаева. Их поэзия наиболее концентрировано вобрала в себя лучшие духовные начала русского крестьянского самосознания...

Эта традиция не прерывается и по настоящее время, потому как не может не существовать то, что живет в поколениях, в сердце народа, в его генетическом коде, в духовных исканиях и вековых представлениях о справедливом мироустройстве.

В век ошеломляющего роста компьютерных технологий, слома привычных коммуникационных связей между людьми, народами, странами и континентами, в век господства постмодернизма воронежцы вновь и вновь обращают себя к нашим духовным и культурным истокам. Как яркий пример тому — творчество Егора Александровича Исаева.

Возвращаясь к теме сенокоса, перекинем мостик от Алексея Кольцова к еще одному непревзойденному певцу русского простора, Александру Твардовскому.

Хозяин оглянулся виновато
И подмигнул бедово: — Что, как дождь?.. —
И гостя с места на покос сосватал:
— Для развлечения малость подгребешь...
Мелькали спины, темные от пота,
Метали люди сено на воза,
Гребли, несли, спорилась работа.
В полях темнело, близилась гроза.
Гость подгребал дорожку вслед за возом,
Сам на воз ношу подавал свою
И на вопрос: какого он колхоза?
Покорно отвечал: — Не состою...

Картина сенокоса в стихотворении «Гость», с деталями и диалогами, последовательность изложения действия Твардовскому нужны, чтобы ярче, убедительней подчеркнуть мужицкий спор между колхозником и единоличником о своем будущем: вместе-то спорей, веселей, полезней... И здесь сенокос — уже как аргумент политики, часть идеологии, а не только специфический трудовой процесс в извечном крестьянском укладе. И Твардовский знал это, сознательно использовал этот художественный прием.

Более глубокий смысловой оттенок темы сенокоса в поэме «Дом у дороги».

Здесь сенокос у Твардовского — философия. Естественное вековое, мирное мужицкое единение с природой. Будет сено — будет лад, сытость, покой в семье, радость родным, жене, детишкам. Не состоялся сенокос (война, стихийное бедствие) — голод, нужда, мытарства. И вот на пороге война, и надо невольно прервать эту вековую цепь гармонии, данной человеку природой и Богом. Главный герой Андрей Сивцов оставляет сенокос, уходит защищать семью, родину и свой крестьянский труд.

И рефрен, позаимствованный автором в народных присловиях, от раза к разу звучит не так наивно и невинно, а по ходу сюжета все трагичней и больней: война, плен, кровь... Какая уж тут роса, какая коса!!! Нарушен, варварски прерван привычный ход жизни!

Коси, коса, пока роса,
Роса — долой и мы — домой...

А закончить стихотворные примеры хочу строчками из своей поэмы «Роман без знака препинанья». Егор Александрович читал поэму еще в рукописи, отозвался одобрительно, похвалив автора, будто бы ему удалось правдиво и образно передать тему сенокоса, верней, обучения этому важному деревенскому делу начинающего косца-мальчонку.

От сенокоса к сенокосу
Крылечки свято берегут
Суть философского вопроса:
Зачем мы здесь и кто мы — тут!»

К сожалению, свое выступление я потом, сколько не намеревался, так и не передал поэту, периодически вспоминая про это несостоявшееся выступление и забывая о нем на долгие месяцы.

Иван ЩЁЛОКОВ

* * *

НОЧНОЙ ПЕЙЗАЖ

То ли поле, то ли роща,
То ль в обнимку вечера, —
Дали дальние на ощупь,
Память в завтра из вчера.
Плач ли это или песня?
Темный ветер — шу да ша...
Ночь — сияющая бездна,
Необъятная душа.

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ВЕЧНОСТИ

Из распахнутой Вселенной,
От миров без берегов
Веет вечностью, как сеном
От заоблачных стогов,
Веет встречей и разлукой,
Тайной звездного окна...
Протяну сквозь полночь руку.
Бесконечность — вот она.

* * *

Когда-то было: ведали, мечтали
Во власти чувств глубоких, а теперь
Все это осмеяли, разболтали
И к тайнам спальни выломали дверь.
Все напоказ, на вынос... Фонограмма
Отвергла силу музыки живой...
Ах, как бездумно думают ногами!
Ах, как враздрай танцуют головой!

* * *

«Ох ты, ноченька...». Да кто ж там
Так волнуется в тиши?
Песня встала с горизонта,
С очарованной души
И пошла, пошла босая
Верхним эхом, как в лесу,
В небе звездочки касаясь,
В сердце трогая слезу.
И какая ж в этом сила,
И какая ж в этом власть!
С неба звездочка скатилась,
На щеке слеза зажглась.

* * *

Не утверждай, что суть, а что не суть,
И лишний раз не спрашивай у Бога,
Какой он там, посправедливей путь,
Какая поприятственней эпоха.
Что хорошо, а что нехорошо,
Сама суди, разъятая держава.
Двадцатый век, он слева подошел,
А двадцать первый уклонился вправо.

ИДЕЯ

Ушла от них, а надо бы их к черту
Послать — всех тех, кто клялся по любви
Служить тебе, а сам в тени расчета
Свою карьеру строил на крови.
Ушла в дожди, в осенние рябины
Своих знамен, из уст ушла в уста
Все в ту же даль — туда, к неистребимым
И неподкупным истинам Христа.



ВОЛЬНОЕ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ЗАКОНОВ ПРИРОДЫ

Рассказы

Алексей Ряскин

Ряскин Алексей Александрович родился в 1984 году. Поэт, прозаик. Член Союза писателей России с 2012 года.

ВЫШНИ

День в самом разгаре. Я лежу в саду, на старой койке и смотрю в нависающие надо мной ветки яблони. Солнечные лучи мелькают в листве, словно цветные стеклышки в калейдоскопе. Где-то сонно скрипит сверчок. Изредка до меня долетает собачий лай или крик какого-нибудь одуревшего от жары петуха. Весь мир тонет в звенящей тишине, какая бывает лишь в жаркий летний полдень. Кажется, что она сочится из каждой травинки на лугу, из каждой нависающей надо мной ветки, из каждого клочка неба.

Я лежу не шевелясь уже больше часа. По всему телу разливается какая-то раскаленная летним солнцем сонливость. Мысли, как расплавленный мед, медленно перетекают в моей голове, не задерживаясь ни на чем. Вот уже несколько минут я наблюдаю за тем, как оса ползает по цветку одуванчика. Помню, что так же любил наблюдать за осами в детстве. Странно, но с тех пор ни оса, ни цветок ничуть не изменились. И совсем не важно, что это уже совсем другая оса и другой одуванчик.

— Фтю-ю-ю!

Тишину нарушает пронзительный то ли свист, то ли крик. За ним слышится череда звонких ударов: кажется, что кто-то уронил груды тарелок на железный пол. А следом — шум птичьих крыльев. Это вспорхнула стая скворцов, распуганная шумом.

Я недовольно морщусь и поворачиваюсь на бок. За две недели, что я провел здесь, эти звуки мне порядочно поднадоели. Шумит наша соседка, Дарья Михайловна Бащева, которую в деревне зовут просто Мишина.

Мишиной, наверное, лет восемьдесят. А может, и больше, я точно не знаю. В прошлом эта женщина была Героем труда, передовой колхозницей, которую ставили в пример и взрослым, и детям. Работала она со школы, чуть ли не с первых

классов, помогая отцу пасти деревенское стадо. Потом, став постарше, стала полоть с матерью свеклу на колхозных полях. К школьному выпускному вечеру у Башевой были руки, начисто отравленные работой: они, эти руки, уже не представляли себя без какого-то дела, в праздности. Так начиналась ее рабочая биография. Когда Мишиной присваивали звание Героя труда, председатель лично поздравлял ее и благодарил за работу. Даже в районный центр вызывали — и там поздравляли. До сих пор где-то в недрах ее старого, засиженного молью шкафа хранилась пожелтевшая газетка с фотографией молодой Дарьи Михайловны на первой странице и подписью: «Работники, которыми гордится наша Родина». Она действительно была Героем труда. Еще бабка мне рассказывала, как они вместе ездили от колхоза на добычу торфа и как Мишина загружала машины наравне с мужиками: стоя по колено в болотной жиже, она лихо орудовала лопатой, изредка останавливаясь лишь для того, чтобы отогнать комаров. Своей семье у Мишиной не было. Не сложилось. Был, правда, Васька Комов, которого она, как говорили, ждала из армии. Но не дождалась. Васька в деревню так и не вернулся: обосновался по месту службы, устроился на работу, женился, детей завел. Может быть, эта обида на Ваську и превратилась у Мишиной в какое-то органическое недоверие ко всем мужчинам. А может быть, эти истории — сплетни, и ей просто не повезло в жизни. Как бы там ни было, все это было в далеком прошлом. Теперь Мишина — старая ослепшая старуха без семьи, без денег и без здоровья.

— Фтю-ю-ю! — снова раздается ее клич.

И опять клацанье железа, и шум птичьей стаи. Я закрываю глаза и представляю, как она сидит на стуле, под вишнями и стучит ложкой по пустой кастрюле. Скворцы улетают, но через несколько минут возвращаются назад. Мишина к тому моменту задремывает, и кастрюля едва не выпадает у нее из рук. Но вот она просыпается, слышит шум птиц над головой, и вновь тишину пронизывает ее голос:

— Фтю-ю-ю!

И так каждый день, целую неделю, все лето, пока вишни совсем не сойдут. С тех пор, как шесть лет назад она окончательно ослепла, это стало ее единственным занятием — разгонять налетавших на вишни скворцов. Утром Мишину выводит в сад дочь ее двоюродной сестры, Клавдия Ивановна Олимова. Ей самой уже за шестьдесят, но она до сих пор работает дояркой в колхозе. Муж ее давно умер, дети из деревни уехали — по сути она была такой же одинокой старухой, как и Мишина. Рано, на рассвете, идя на утреннюю дойку, Клавдия Ивановна заходит к Мишиной, умывает ее, кормит и выводит в сад. Там, на стуле, который всегда стоит на одном и том же месте, она оставляет старуху с алюминиевой ложкой и пустой кастрюлей в руках. Затем Клавдия Ивановна приходит в обед, чтобы покормить Мишину. Вечером, возвращаясь домой после вечерней дойки, она заводит Мишину назад в дом. Кормит ее, переодевает и укладывает спать. Во всей деревне это единственный человек, которому есть дело до слепой, отживающей свой век старухи. Быть может, это чувство долга. Или неизрасходованная за жизнь потребность присматривать за кем-то. А может, просто доброта.

— Фтю-ю-ю!

Стая скворцов снова громко хлопает крыльями, покидая ветки вишен.

Я смогню на одуванчик и замечаю, что оса уже улетела. Интересно, осталась ли после нее хоть немного нектара в цветке? Или она забрала все до капли? А быть может, оса лишь пригубила нектара и тут же отправилась дальше? Не потому что этот цветок плох. И не потому, что следующий будет слаще. А просто потому, что так и должно быть. Вкусить аромат одного цветка и, не стремясь заполучить его весь, без остатка, лететь дальше, к другим цветам, оставив этот в прошлом. Лететь в незнакомые луга, к незнакомым цветам, чтобы рано или поздно на одном из

них встретить осень. Без грусти и сожалений. Не так ли стоит поступать и нам с каждым прожитым днем?

— Фтю-ю-ю!

Звон кастрюли уже в который раз сотрясает сад. Я ложусь навзничь и снова думаю о Мишиной.

Я помню ее сухой, подвижной старухой, которая днями напролет полола огород и громко ругалась с соседями, когда их куры заходили в ее сад. Ни разу мне не довелось увидеть Мишину сидящей на лавке перед домом. Все время она что-то делала: косила, полола, поливала, готовила, стирала. Снова и снова. Казалось, в ее теле была спрятана пружина, которая постоянно требовала чего-то, к чему она могла бы приложить таящуюся в ней силу. Ей было под семьдесят, когда она, наконец-то, решила, что больше не в силах держать корову. А свинью вывела, лишь когда один глаз у нее уже совсем перестал видеть и потихоньку начал слепнуть второй. От кур ей помогла избавиться Клавдия Ивановна, когда Мишина была уже абсолютно слепа. Двор ее опустел, умолк, обезголосел. Не могу сказать наверняка, но думаю, что эта тишина пугала слепую старуху. Это была не та тишина, которой наслаждался я, лежа на кровати под яблоней, глядя на игру света в зеленой листве. Тишина ее опустевшего двора была тишиной ее жизни, тоже опустевшей, потерявшей всякий смысл. И несмотря на годы, на слепоту и полную беспомощность в этом дряхлом тщедушном тельце все еще сжималась и разжималась та самая, требующая деятельности пружина. Поэтому она так ждала лета и чувствовала себя такой потерянной, когда оно заканчивалось. На короткое время лето придавало смысл ее существованию. В эти месяцы Мишина снова могла работать, быть полезной, хотя бы и в таком пустяковом деле, как отпугивание птичьих стай от вишен.

Сад у Мишиной был небольшой — каких-то восемь-десять деревьев. В детстве я часто лазил в него за вишнями и просто так, озорничать. Уже в то время он потихоньку дичал: деревья росли как попало, мешая друг другу, отчего все ветки с ягодами оказывались наверху. Сами вишни были мелкими и кислыми. Молодняк, растущий тут и там, Мишина изредка подрубала. Но с тех пор как она ослепла, сад стал зарастать все больше и больше.

— Фтю-ю-ю!

И скворцы взмыли вверх.

Однажды я слышал, как Клавдия Ивановна обманывала Мишину, говоря ей, что продала ведро вишен приезжим дачникам. Мишина улыбалась, обнажая беззубые десны, и начинала учить Клавдию Ивановну, как правильно торговаться и ни в коем случае не уступать в цене.

— Вышни-то — мед, — доказывала она своим писклявым голосом. — Предложи Беженцевым — у них сроду вишни не росли.

Ее «вышни» напомнили мне моих покойных бабушек, тоже коверкавших это слово. Вспомнилось многое, о чем я не хотел бы вспоминать. Память стала безжалостно ворошить прошлое. Нахлынула грусть и тоска по ушедшему детству. Видимо, мне не дано беззаботно перелетать с цветка на цветок, как той осе, что сидела на одуванчике. Я всегда буду помнить каждый, оставленный позади. И по каждому тосковать.

В тот день, будучи во власти нахлынувших воспоминаний, я решил сделать слепой старухе приятное: купить у нее вишен. Взяв ведро, я пошел в сад к Мишиной. Старуха сидела на невысоком стуле, облокотившись о вишню. В руках у нее были неизменные ложка и кастрюля. Услышав мои шаги, она повернула голову в мою сторону.

— Здравствуйте, — громко сказал я.

Мишина молчала. Мой голос был ей незнаком.

— Я слышал, что вы вишни продаете. Вот хотел купить ведро.

Лицо ее некоторое время хранило настороженное выражение. А затем, когда смысл сказанного мной дошел до нее, Мишина улыбнулась. Странно выглядела эта улыбка — все лицо ее превратилось в комок морщин. На меня смотрела воплощенная старость.

— Бери сынок, — запрочитала она. — Вышни — мед. Собирай.

Я стал собирать. В уме пронеслось: как же она узнает, сколько именно я собрал? Ведь старуха слепа. А вдруг я набрал два ведра? Что это: доверчивость, глупость или старческое слабоумие?

Мишина молчала. Казалось, что она задремала. Мне хотелось поговорить с ней, что-то сказать, о чем-то расспросить. Но я не знал, как и что сказать, и молча собирал ягоды. Время от времени я поглядывал на сморщенный сухой силуэт на стуле. Старуха мне казалась такой жалкой, такой беспомощной, что даже захотелось просто отдать деньги и уйти, лишь бы ее не видеть. В чем был смысл ее существования? Что дала миру эта жизнь? Тысячи прополотых грядок? Несколько тонн скошенного сена? Два десятка загруженных торфом машин? Все это казалось мне глупым, бессмысленным, напрасным. С чем она пришла к старости? Когда этой старухи не станет, что напомним о ее существовании? Пожелтевшие похвальные грамоты? Или та статейка в газете? Всю свою жизнь она посвятила труду, работе. Но разве достаточно одного труда, чтобы заполнить чашу жизни полностью? Мне хотелось спросить, не горько ли ей теперь оттого, что так сложилась ее судьба?

Я положил в рот несколько ягод. Вишни были кислыми. Морщась, я проглотил их и продолжил собирать. В саду было тихо и прохладно. Набрав половину ведра, я присел передохнуть. Мишина молчала и не шевелилась. Лишь пальцы ее время от времени начинали перебирать складки на старом платье. Я посмотрел под ноги, и мой взгляд отыскал среди травы маленького муравья, тащившего крохотную соломинку. Разве он думал о том, что такое его жизнь? Разве его ждала слава и вечная память после смерти? Он — всего лишь песчинка в мировой круговерти, о существовании которой никто никогда не узнает. Но я вижу, как упрямо он тащит соломинку, которая в два раза больше него и во мне невольно пробуждается гордость к этому маленькому трудяге. Пусть он всего лишь капля в океане жизни, неотличимая от миллионов других, похожих на него. Пусть его короткая жизнь останется незамеченной и быстро забудется. Он упрямо тащит соломинку к муравейнику, потому что это его дело, которое, не будь его на этом свете, так и осталось бы не сделанным, потому что он живой...

Мысль оборвалась также внезапно, как и появилась. Посидев немного, я пошел к старухе, решив, что мне хватит и половины ведра.

— Набрал уже? — спросила она, услышав мои шаги.

— Да, — ответил я.

— Ведро?

— Да.

Мишина назвала цену. Я отдал, не торгуясь. Никакой особой радости не отразилось на лице старухи, когда она брала деньги. Да и я не чувствовал, что сделал что-то хорошее. Напротив, чувствовал себя лжецом. Те полведра, что я набрал, пришлось выбросить: вишни были кислыми и для еды не годились. А варить из них варенье было некому.

— Фтю-ю-ю!

Удары ложки о тарелку снова возвращают меня в настоящее. Я встаю с кровати в некотором раздражении. Отдых испорчен не к месту появившимися воспоминаниями и мыслями. Отлежанная нога плохо слушается, и я, хромя, иду к дому. Послезавтра мой отпуск заканчивается, и я чувствую, как сильно соскучился по городу.

Сергей Чернов

Чернов Сергей Валентинович родился в 1988 году. Прозаик. По итогам всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальный родник» 2019 года рекомендован к вступлению в Союз писателей России.

ОСЕНЬ

Циклы. Циклы правят миром...

* * *

Ярошенко затушил сигарету, втопав ее в грязные доски крыльца.

— Эй! — крикнул кто-то. — В сторону!

Он прижался к перилам.

Двое мужчин вынесли из дома носилки. На носилках... да... тело, труп. Нечто бесформенное, прикрытое занавеской. Из-под занавески, начиная от щиколотки, торчали ноги — толстые, опухшие, восково-желтого цвета. На левой — рваный тапок, вот-вот соскочит.

— Куда? — спросил несший спереди. Лицо его покрывала густая щетина, и морщины были на нем точно заросшие овраги.

— В машину, умник.

Кучка зевак, стоявшая у забора, зашевелилась. Кто-то о чем-то перешептывался. Некоторые вытирали сухие глаза. Бородатый мужчина в джинсовой куртке кашлянул и громко заметил: «Опять чернеет! На дождь!»

Ярошенко все стоял, прижимаясь к перилам, как самоубийца на мосту. На небе и впрямь собирались тучи. Похолодало. Из рта вырывались бледные клубочки пара.

Из полутьмы коридора появился участковый — низенький, с дряблыми щеками. Круги под глазами, как годовые кольца, указывали на возраст, переведенный в количество выкуренных сигарет. Он тяжело дышал — будто издыхающая собака. Как знал Ярошенко, он дышал так всегда.

— Ну?

— Ножевых — тринадцать штук, — сообщил участковый низким голосом (Жданов — так, кажется, его звали). — И живот вспорот... — сдавленно, точно тошнота подступила к горлу.

— Знаю! Кто она? Чем занималась и почему?.. Зверство!

— Ее тут каждый... Гнала! И как! Все село травилось.

— И ты? — Для Ярошенко, в общем-то, было все равно... Эта головная боль!.. Третий день одна и та же, будто голову сдавили в тисках. И насморк...

— Еще чего! Лучше заплатить дорожке...

Ярошенко, массируя виски, оторвался от перил.

— По паспорту Крылова Анна Леоновна, тысяча девятьсот тридцать второго... («Как страшно, — подумал Ярошенко. — Как страшно, когда у кучи изрубленного мяса, которую только что пронесли мимо, есть имя, фамилия»)... Детей нет. Прописана: улица Столовая, 95...

— Самогонщица, — промямлил Ярошенко.

— Ну да.

— За самогон... Или за деньги... Алкаши, черт бы их! Что украли? Деньги?

Жданов топтался с ноги на ногу; смотрел куда-то мимо, на полупустую, заросшую сухим бурьяном улицу.

Ярошенко проследил за направлением его взгляда. Тело давно погрузили в «буханку». Человек с небритым лицом возился с задними дверьми. Остальные курили. Соседи разошлись, лишь перед калиткой стояла женщина с заплаканным лицом. Первое... действительно первое взволнованное лицо и единственные настоящие слезы. Сад был янтарно-желтым от опавших листьев. Две кривые груши казались чем-то мерзким, противоестественным в этом саду.

— Ну? Деньги?

— Мы не нашли. Если и были — немного. Она не работала. Пенсия — сами знаете... Самогон не брали последнее время. Теперь «паленку» и в ларьке купить можно, из-под полы. Дешевле... Родственников нет.

Ярошенко спустился на пару ступенек, оглядел дом. Ветхое строение — черные, как земляная корка, доски с пятнами синей краски. Железная крыша. Покосившиеся рамы. Фундамент? Дом, казалось, врос в землю. Жилье для тех, кто никому не нужен. И тех, кому никто не нужен.

— Да и не грабили ее... — совсем тихо сказал Жданов, подходя к Ярошенко.

— Да?

Казалось, участковому стало трудно говорить. Он открывал рот и тут же, морщась, закрывал его. Лоб прорезали глубокие морщины.

— Ну? — вяло поторопил Ярошенко. «Голова болит. Аспирину бы... В аптечке поискать?»

— М-м-м... В общем... К ней не ходил никто... в последнее время. И она... Характер у нее был! Обматерить могла... В луже крови — след. И вещи разбросаны. Как разбросаны? В ящиках не рылись. Стол опрокинут, телевизор разбит. Натоптали — следы эти, кровавые, по всему дому. Вода в ведре красная — видно, руки мыли. У *них* одежда в крови должна быть... Отпечатки должны быть...

«Акт еще!.. Какой из меня работник сегодня? Акт составлять...»

Ярошенко махнул рукой:

— Пока криминалист... Пока пальчики снимут. Пока то, се... Сличать с кем? Все село обкатывать?

— Найдем с кем. Свидетель есть.

Глаза Ярошенко расширились. Он удержал себя, чтоб не ткнуть кулаком в грудь Жданову.

— И ты молчишь! — Следователь почувствовал, как волна боли прокатилась по черепу. Он смягчил тон. — В твоих же интересах... Кто свидетель? Где?

Жданов показал рукой.

Та самая женщина. Красное болоньевое пальто. Заплаканное лицо. Что-то кавказское, нос с горбинкой. На верхней губе — темный пушок, почти усы. На вид лет сорок... Ярошенко знал, что должен подойти, допросить, «Явитесь такого-то, такого...» Но остался на месте. Пускай Жданов занимается. Дебильное преступление... И благодарности не заработаешь. Кому это надо? Кому вообще эта бабка нужна? Бомжи... Будто дел у нас мало. С Ершовым поговорить надо. «Глухарь»... Тошнит уже от работы. И голова... Погода сопливая. Машину надо бы отремонтировать, поворотник что-то... Кто труп нашел, интересно? За горло его взять! Или свидетеля этого.

— Она... Она видела... Это дети сделали. Пять человек. Лет по пятнадцать-тырнадцать. Девушка с ними — тоже школьница. Одеты хорошо. Корову загоняла, смотрит: идут. Темно было, но она ясно видела... Они дорогу под ногами... из телефонов... и друг на друга светили. Говорит, серьезные были. Один только смеялся. И — к дому напрямиком... Вошли не стучась. Дверь толкнули и вошли.

Ярошенко чувствовал... пустоту. Ведь правда: след в луже крови где-то тридцать девятого размера. Дети! Не первый случай... И хотя по долгу службы Ярошенко должен был сомневаться, но — не мог. Он видел своими глазами кровь и

вспоротый живот. Он еще не знал всех составляющих, но опыт, опыт!.. Невиданная жестокость! Когда он стоял над телом, нечто внутри его черепной коробке твердило: «Не все так просто. Не все! И ты знаешь это!» Верно — Крылову не грабили. Ее убивали! Чтоб... чтоб показать свою силу. Потому что *для них* это было «круто»... Потому что она никому не была нужна. Всем на нее наплевать... Четырнадцать — пятнадцать лет! Это похоже на правду... О Боже, это и есть правда!.. Школьники! Тринадцать ножевых и вспоротый живот...

— Ей интересно стало. Сами знаете этих баб... Соседка — вон ее дом. Корову загнала — и к калитке. Стояла, глядела... Окна грязные. Да и криков вроде не было... громких. Пацаны там долго торчали... Эту Крылову не любил никто.

Несмотря на холод, Ярошенко пробил пот. Господи, что творится...

— Милицию вызвала утром. У нее сын больной. Да и корову доить надо.

— Так она *это... видела?* — Следователь не узнал собственный голос. Он обернулся, поискал глазами женщину с заплаканным лицом. Но ее уже не было. И почему? Какое право она имела плакать?

«Нет, — понял Ярошенко. — Она плакала не по соседке. Человеческая черствость не позволяет плакать по другим. У нее хватило ума понять, что, может быть, когда-нибудь — через неделю, месяц, год, когда она никому не будет нужна, — кто-то придет и к ней. Те же пять человек. Те же школьники. Хорошо одетые школьники».

Ярошенко перевел взгляд на Жданова и только сейчас заметил, как *мертво* его лицо. Кожа была до отвращения дряблой. Схвати за нее, потяни — она сползет куском желтой тряпки. В глазах — чудовищная усталость. Усталость от мира. Усталость от собственного существования.

— Так она *видела...* Она *знает, кто...* — голос Ярошенко был подобен скрипу ржавых петель.

— Ну да, — с удивлением. — У одного... у отца... три магазина. У другого...

— Где они?! Почему не задержал?! — Ярошенко сорвался на крик. Люди у «буханки» побросали дела и с любопытством смотрели в их сторону, точно глядели милицейский сериал.

— Знаете что! — резко сказал Жданов. — Вы, Геннадий Павлович, из района. Вы уедете. А мне здесь жить! Не мое это дело — за пацанами бегать. Кому нужна эта бабка? Мне лет немало. Я не хочу! Понимаете, не хочу, чтоб каждый встречный-поперечный тыкал мне в спину: «А, это он упрятал наших детей за решетку! Он упрятал моего сына в тюрьму!». Это ваша работа! Поймаете вы этих сопляков или нет — ничего не изменится. А если я приложу руку — каждый будет тыкать мне в спину...

Ярошенко уже не слышал. Новая волна боли оглушила мозг. Он закрыл глаза. Боль, как цунами, наткнулась на берега рассудка, смела города сочувствия, ярости, интереса... Интересы к этому делу. К этой никчемной старухе. К этим детям. Один раз они пришли. Может, больше они не придут? Когда что-то касается детей, любимых богатыми отцами... «С терроризмом надо бороться!» С терроризмом!.. Волна отхлынула, оставив лишь пену безразличия.

Он открыл глаза. Жданов стоял к нему спиной и курил. Серое облачко табачного дыма висело над его головой прогнившим нимбом.

— Геннадий Палыч! — Это был Славик, водитель. — Поедем, а? Криминалиста не будет. Сообщил только что — грипп.

Славик улыбался. Он всегда улыбался. Казалось, ничто не могло сбить улыбку с его лица.

— Сейчас... Слушай, кто это? — Следователь показал на людей, что еще терлись около «буханки».

— Работнички, блин, — ответил Жданов. — Ждут, что вы им нальете...

— Разгони их к чертовой матери! Иначе я их рядом с бабкой, на носилки...

Он посмотрел на небо. Черные тучи. Солнце казалось бледным размытым пятном. Становилось темно. И тихо. Он отчетливо слышал, как в груди бьется сердце, точно резиновый мячик стучит по асфальту: бом-бом, бом-бом. Как хорошо! И головная боль прошла. Помимо воли Ярошенко сделал пару шагов, переступил через порог и оказался в темном коридоре. В коридоре дома, в котором была убита Крылова Анна Леоновна, тридцать второго года рождения. Убита? Сверху скажут: «Геннадий Ярошенко, не могли бы вы?..» Вот так...

Было темно, но глаза привыкли: открытая дверь давала тусклый свет. По левую руку два красных газовых баллона. По правую — плитка, сковородки, банки. Ярошенко ощутил тошнотворный запах. Он прикрыл нос рукой. Почему он не чувствовал его раньше?

«Кровь! Так пахнет кровь! — Для этой мысли не было причин, но он не мог думать иначе. — Когда-то у крови не было запаха, а теперь есть. Этот — запах человеческих отходов».

Он остановился перед дверью.

«Распахну ее, а там, в луже крови, след тридцать девятого размера. И отпечатков детских, должно быть, полно... А, плевать! Дети? Почему бы и нет? Чем они хуже? Почему в них должно быть меньше зла, чем во взрослых?»

Рядом с дверью был шкаф. Лакированные дверцы. Руки сами потянулись к ручкам. Петли заскрипели... Внутри — Тьма! Целое море Тьмы! Бескрайнее, густое, как нефть. Маслянистые волны лениво вздымаются, угрожают вылиться наружу... Утробное рычание разносится смрадным ветром. Над черными водами — белая тень. Уродливая, сияющая холодным светом, точно фосфоресцирующий скользкий гриб.

«Армия Тьмы уже топчет землю. — Тихий скрипяще-шипящий голос. — Время боли! Время страха! Яд в сердцах... Яд злобы. Яд безразличия! И все боги попраны. И каждый — сам себе бог! Черная кровь в гнилых венах... Армия Тьмы уже топчет землю. И нет никого, кто не шел бы в ее рядах!..»

Сердце застыло. Ярошенко протянул руку во Тьму. Пальцы вот-вот коснутся белого сгустка. Вот-вот... Рука коснулась. Схватила! Выдернула наружу... атласное белое платье. Точно пергамент плоти, на котором кто-то поставил кровью свою роспись.

Ярошенко со злостью захлопнул дверцы.

* * *

— Ну!? Сейчас дождь хлынет.

Славик накачивал переднее колесо.

— Кто ж знал!

— Слушай, у тебя было, будто в пустой комнате кто-то есть... Только попробуй заржать!

— Угу, — откликнулся водитель, не отрываясь от насоса. — Было... Серьезно! У меня... в гараже... угол есть... Темный... Кажется... как будто там... кто-то... И дыханье... и взгляд... мурашки по коже. Будто... спрашивает... «Достоин ли?»... А чего?.. Не пойму!.. Премии что ли?..

Ярошенко достал платок и громко высморкался.

— О, Геннадий Палыч... Простыли!.. Осень... Погода... Осенью... человек всегда... болеет... Только не чувствует... Витаминов нет... и солнца... Организм слабеет... Депрессия... опять-таки... Фу-у-у... Все! Садитесь!

Ярошенко залез в кабину. Славик сел за руль, повернул ключ. Мотор взревел. «Буханка» тронулась с места.

Чернильные облака все набухали и набухали. И через пару мгновений на землю хлынул ливень, превращая дороги и тропы в вязкое месиво.

* * *

Циклы. Циклы правят миром. Дни сменяются ночами. Времена года идут друг за другом, как дети у праздничной елки: весна — лето — осень — зима — весна... Нет связей прочнее. Великий круговорот! Все в мире подчинено ему: люди, цивилизации, планеты, миры... Всегда есть Лето и есть Осень. Нет смысла страдать — пройдет Осень Злобы и Боли, пройдет Зима Страха и Ненависти. Наступит Весна... Дай-то Бог!

Михаил Калашников

Калашников Михаил Александрович родился в 1985 году. Прозаик. Член Союза писателей России с 2019 года.

УЛИЧНЫЙ СКРИПАЧ

Город бубнил опостылевшей какофонией. Переключка нервных гудков спорила с разнокалиберными мощностями моторов, студент на ходу громко выяснял отношения с кем-то по телефону, подростки у входа в кафе «давили клопов» на цветных экранах смартфонов и шумно обсуждали очередной рэп или бит, или что там они нынче обсуждают...

Он стоял спиной к витрине и неумоимо водил смычком по струнам. Белоголовая субтильная фигурка, лет восемь-девять. У ног распахнутый кофр с какой-то мелочью, брошенной наверняка из жалости. Хотелось подойти и дать совет: «Упрячь скрипку подальше в саркофаг, достанешь дома — бабушке сыграешь». Он изредка поднимал взгляд от тротуара и словно спрашивал: хоть кто-то слушает?

В ответ машины продолжали соревноваться в наглости. Студент все так же метался вокруг остановки, переходя на крик. Подростки на паутинных просторах встретили очередной мега-хит. Бывший каторжанин со свернутым на бок носом тряс татуированным запястьем с зажатой в кулаке рекламной листовкой и нараспев декламировал: «Двери, окна, натяжные потолки, арки любых конфигураций...»

Светофор перемигнулся с коллегой на углу, и поток встал. Кто-то продолжал нетерпеливо педалью подгазовывать, из чьей-то аудиосистемы сквозь закрытые окна били мощные басы. Город не сдавался, лишь чуть отступил. Но этого хватило, и из скрипки донеслись короткие отрывистые звуки. Мелодию по ним было не узнать. Студент, наконец, перестал мельтешить, замер у чугунного столба и, теребя чешуйку старого объявления, четко и смело предложил: «Давай начнем все сначала!..» Пальцы подростков перестали тереть экраны, усталые глаза поднялись над мониторами.

Трехглазый регулировщик снова обнадеживающе сморгнул. Запоздалые пешеходы надали ходу по белым широким полосам. Одиночные жалкие скрипичные звуки, вскрикнув, снова утонули в городском шуме.

Я не знаю, что ответили студенту на том конце мобильной сети, не знаю, над каким новым клипом вновь засмеялись подростки. Встав напротив мальчика, я выразительно (но не картинно) снял свою кепку. Он взглянул на меня, однако занятия своего не оставил: смычок танцевал по струнам, пальцы скользили по грифу. Я уже собирался водрузить кепку на место, но отчего-то вдруг перевернул ее,

будто вытряхивая ненужную шелуху, затем положил на тротуар, пересыпал в нее мелочь из кофра и защелкнул на нем замки. Мальчик прекратил играть. Я подвинул к нему кепку:

— Держи, дружок, она мне больше не нужна.

Жалость к себе в глазах его сменилась иной жалостью.

Я зашагал по привычно-бубнящему городу. На углу, при очередном перемигивании светофоров, в спину мне долетели отрывистые всхлипы скрипки...

Я бы, наверное, забыл об этом уличном скрипаче, но он вдруг встретился мне через несколько лет. Мы с подругой по институту присели в парке. Она давно перебралась в столицу и с восхищением твердила мне, что город наш все больше напоминает южный курортный островок:

— Посмотри, какое внимание туризму. Парки опять же отреставрировали, набережную в божеский вид привели. «Панорама» на очереди, скоро и ее облагородят.

— Да, нам бы еще курортные заработки, — меркантильно вставил я.

К нашей лавочке подошел белокурый подросток:

— Извините, можно вам пожелание сказать?

Приятельница недоуменно посмотрела, а я, уже зная продолжение этих «великодушных» пожеланий, не совсем радостно разрешил. Мальчик стремительно выпалил какую-то зарифмованную любовную чушь, не забыв добавить от себя:

— Парень, дай столько денег, сколько не пожалел бы для своей девушки.

Слава Богу, приятельница оказалась не моей девушкой, а то бы пришлось проститься с кошельком. Я высыпал ему мелочь из кармана, приятельница моя рассмеялась:

— Я же говорю: все признаки курортного городка, даже дети деньги вытряхивают. Ну, чем не Геленджик?

Мальчишка не унимался:

— Если любите живую музыку, приходите вечером к «Аэлите», я там на скрипке играю.

Я всмотрелся в его лицо и узнал мимолетно знакомого юного скрипача, а приятельница не уставала удивляться:

— О, мальчик еще и талантами обладает! Ну, не пропадешь, бизнесмен, не пропадешь...

Он ссыпал монеты в свой карман и заспешил к новой присевшей парочке. В походке и позе не осталось ничего робкого и угловатого, зато появились недетская напористость, нахальство, расчет.

Правда, для меня же он так и остался — мальчиком со скрипкой и... чужой грустью.

СТАРЫЕ РАНЫ

— Просто гуляем или с целью?

— Да нет, по делу идем.

— А ну раз так, то веди.

Валерчик зашел за Митькой, и вместе они направились вверх по улице. Митька мог бы и не спрашивать у своего друга, по делу ли они идут или нет. Даже если это законный выходной, у тебя почти нет бездельных занятий, когда за плечами жена в декрете, двое малых сыновей и строгая рабочая пятидневка. Да и делом-то это тоже не назовешь — так, увлечение, чтоб жизнь рутинной не казалась. Вроде и обычный променад, а с другой стороны — интересно, что это за лунки Валеркин тесть усмотрел на стене старой больницы?

Краснокирпичный одноэтажный корпус показался за деревьями парка. Заскорузлый нетронутый наст, переживший двухдневные дожди посреди января, осевший от воды, но не проломленный, тут хрустнул под ногами. Приятели приостановились и, пряча смущение, оглянулись. В доме через проулок, близ старой больницы, жил их общий знакомый, Владик Самофалов. Услышит хруст снега, выйдет глянуть, что за придурки тут по целине вокруг больницы кружат, похочет само собой. Но за забором Владика было тихо. Небось, еще дрыхнет или смотрит что-нибудь. Чего ему на морозе в такую рань делать? Вроде и взрослые парни Валерчик с Митькой, во «ВКонтакте» из групп «Русский рок» и «ГТА» уже отписались, а «Баня своими руками» и «Вечный огонь» добавились. И все равно стыдно, что ли, им за свои странные увлечения.

Еще десяток шагов — угол здания, где-то здесь Валеркин тесть их и видел.

— Ого, пролом какой! Да тут пулеметным гнездом попахивает, — разглядел Митька в стене конусовидную дыру.

— А вот и следы от пуль, — присел на корточки Валерчик. — Не врал тесть, значит.

Низко над землей в кладке было прорублено окно, заложенное кирпичом изнутри. Сходящее на усеченный конус как сверху вниз, так и в глубину, оно отвечало всем фортификационным правилам. Война отдалилась более чем на семь десятков лет, но сегодня, у этого провала, она приоткрыла некую тайную завесу, решив послать свое далекое эхо.

Левый низкий берег, что разделил враждующие стороны на полгода, лежал в полутора километрах от больницы, но, видимо, пулеметчик, засевший в этом окне, не молчал, раз прилетали и ему с того берега ответные «приветы». Большинство одиночных, маленьких, винтовочных, но была и четкая диагональная очередь из «максимки», и пара крупных вмятин — работа противотанкового ружья. Пулевые отметины подзатянулись, острые края сгладили дожди и ветер. В известковых швах между кирпичами торчали три гвоздя, на которых, должно быть, когда-то висела маскировочная сеть.

Митька склонился ниже над проломом, почти стал на колени. К верхней стенке бывшего пулеметного гнезда прилипли старые пчелиные соты. Гнездо в гнезде. Жизнеутверждающий каламбур. Что диким пчелам до бывшего логова смерти?

— Вишь, только с нутряной стенки заложили, а снаружи оставили в назидание потомкам, — рассмотрел Митька и в этом какой-то знак.

— Да ладно, кирпича просто пожалели, — прагматично поправил Валерчик.

Тяжко было тому, кто лежал тогда на своей позиции, в углу этой палаты, ощущая в замороженной стене холод смерти.

Что там дальше, за поворотом, за старой кирпичной стеной?.. Наст проваливался, сокрушаясь пластами под человеческой ступней. Толстые стены, дореволюционная добротная кладка, арочные венчики над проемами окон. Ни одного стекла, сквозняки в пустых деревянных распятиях. Внутри бывших палат и кабинетов размалеваны буквами стены, дыры от вывороченных из стен труб и батарей, следы костров на проваленных и прогоревших полах, грязь, мусор по углам. На фронтоне выложенная из кирпичей и деревянных плашек дата: «1913 г.», затем крупные буквы. Первый слог дается легко — «Боль», дальше менее разборчиво — «ница». Самая крайняя комната в Т-образном корпусе. Окна на две стороны, пол с цветным старинным кафелем, глубокие ниши и полки в стене. Наверняка бывшая операционная.

У входа в корпус — темный закоптелый провал подземелья. Угольный склад или погреб. Через невысокий подоконник Митька с Валерчиком перепрыгнули в коридор. Здесь по одну сторону шли двери палат, по другую — пустые окна. Мить-

ка вспомнил, как мать, проработавшая в этом корпусе двадцать лет, рассказывала о забытых под завязку палатах, о потоке рожениц, редко в какой день не приносивших потомство, о штате в полдюжины докторов и три десятка нянечек, медсестер, фельдшеров, лаборантов, шоферов, завхозов... Оно и понятно, одна больница на уйму окрестных деревень и хуторов. От многих теперь остались лишь мертвые названия, в других еще стоят две-три жилые хаты, да пробуждается несколько домов на время дачного сезона. В одном таком хуторке пару лет назад, проезжая по своим «краеведческим» интересам, Валерчик с Митькой остановились у аутентичного колодезного журавля. Сфотографировать, конечно, ну, заодно и водички можно было набрать. Ведро было ржавым, но приятели из интереса опустили его в темное колодезное нутро. Из соседнего ветхого домишки показалась старушка и громко предупредила:

— Колодезь уж лет десять как пустой, ушла вода.

— В землю, что ли?

— Наверно, туда. Люди ушли, и вода вслед за ними.

В конце 60-х кирпичное дореволюционное здание обросло шлакоблочными корпусами, а к перестройке на пригорке близ старой больницы выросла новая двухэтажная поликлиника, куда вскоре и перешла работать Митькина мать. Но и эти два этажа к началу нулевых опустели, функционировали лишь на треть, а пару лет назад администрация и вовсе предложила здание закрыть и вместо него на пустыре выстроить ФАП (фельдшерско-акушерский пункт). Население возмутилось очередным «отмыванием и освоением» муниципального бюджета, поликлинику на неопределенный срок власти оставили в покое.

— Добротные стены, — погладил Валерчик крашенную в бежевый цвет притолоку. — Еще не один год простоят.

— Полы выдрать, отсевом засыпать, сверху стяжку бетонную и плитку. Стеклопакеты с дверьми, конечно, много потянут. Ну и крыша само собой. А стены — да, вечные, косметики малость требуют.

— Только на кой черт в наших местах такое заведение сгодится? Бордель если только открыть? С баней, бильярдом.

— Можно Дом престарелых устроить. За клиентами дело не станет.

Болтая, Митька вспоминал, что в детстве он всегда отправлялся из школы на работу к матери, а потом они вместе шли домой. Ему часто приходилось обедать вместе с матерью и ее подругами, особенно когда она оставалась дежурной медсестрой на «скорой помощи». Он помнил пожилых пациентов и лежачих больных, украдкой виденных из коридора, настольную лампу дежурной и ее тревожный телефон, светлый кабинет старшей медсестры и его домашнее, не казенное убранство, с комнатными цветами, с жестяными панно и типографскими картинками в русском стиле, вроде красавицы в кокошнике и прочей мелкой инсталляцией времен давно ушедшего социализма.

Проходя по коридорам, они свернули под прямым углом в позднюю пристройку. Черные, покрытые грибок и плесенью стены, мрачный, скудный светом закуток. Дверь с окошком в середине. Где-то здесь, помнил Митька, они однажды обедали. Эта комната, кстати, очень похожа на ту, такая же маленькая и тесная.

Тогда, едва они вошли, и кто-то из санитарок нажал свет, по полке с продуктами скользнула мышь. У Митьки это сразу отбило его детский нетвердый аппетит, но он знал, что мать будет ругаться, как и все матери, чей ребенок плохо ест, поэтому попытался впахнуть в себя пару ложек супа. Это был пресный, приготовленный без души, ежедневный рацион пациентов. Мышь ли была причиной пропавшего аппетита, или суп? Приторное казенное повидло с чаем, поданное после супа, или тусклая лампочка под потолком, закрашенные темно-синей краской стекла, или давящие стены? А может, просто детская боязнь больницы, как есте-

ственная боязнь зубо врачебного кабинета? Но в других комнатах и коридорах такого с ним не происходило, он помнил четко.

Вот и сегодня на фоне всего виденного в опустевшем здании именно в этом углу он особенно помрачнел. Вероятно, детские воспоминания, плотно легшие на душу незажившей бороздой, всколыхнули эту тоску.

— Знаешь, Валерон, а у меня с нынешнего дня мечта новая, — хвалился Митька на пути к дому.

— Больницу отреставрировать?

— Ничего от тебя не скроешь, пронизательный ты мой.

— Интриган из тебя, надо сказать, так себе.

— Я тебя умоляю, ты-то у нас вообще Мистер Предсказуемость. У тебя даже порез от бритвы всегда на одном и том же месте.

Через взаимных укулов опять сменилась прерванной темой.

— А может, и нам повезет, как соседям? — стоял Митька на своей оптимистической платформе.

Намек был на ближний райцентр, где в начале девяностых мягкосердечные итальянские ветераны скинулись и на «кровные пенсионные» выстроили в подарок городу детский сад. Но Валерчик вспомнил о другом случае, когда в соседнюю деревеньку итальянский ветеран-одиночка без всяких благотворительных фондов перечислил на личный счет теперешнего директора школы круглую сумму в американской валюте. Ветеран был командиром соединения, которое растащило школу на стройматериалы для блиндажей. По его словам, он все эти годы страдал от своего вынужденного приказа. Деньги переводил в какой-то столичный банк, в лабиринтах которого они быстро и незаметно затерялись. Директор школы сначала пытался разобраться в непонятной схеме счетов и переводов, истратил кучу собственных средств на судебные тяжбы и поездки в столицу, но скоро уволился с работы. Жена забрала у него детей и покинула его, и теперь он тихо спивался в одиночку, почти не выходя из дома. Реакция ветерана-благотворителя на этот курьез осталась неизвестной. Через пару лет школу в этой деревне закрыли, учителей сократили, а детей стали возить автобусом в школу соседнего села. Это пока были деги. Сейчас, кажется, там уже не осталось тех, кто мог бы привести детей.

Когда же надломили нас, нанесли эту смертельную рану? Три четверти века назад, во время страшной войны? Или полвека назад, когда в конце «оттепели», наконец, выдали паспорта колхозникам и молодежь массово рванула в города? Или четверть века спустя? Когда вдруг появилась устойчивая версия, что живем настолько плохо, что лучше бы не оборонялись и дали себя завоевать, жили бы сейчас «как у них». Пресловутая версия с тех пор так и не улетучилась, а год от года лишь крепла. Или теперь, когда уничтожаем друг друга в комнатах с закрашенными стеклами и прочих темных углах?

Зайдя в дом, Митька немедля кинулся к матери с расспросами:

— В той палате, что на углу, ко двору Самофаловых ближе всего, в ней кто лежал?

Мать на секунду задумалась:

— Дед Мишки Ганзеева, дружка твоего. Он электриком работал, с макушки столба сорвался, позвоночник сломал. Положили в самом углу его. Понятно было, что надолго, а точнее до смерти самой он лежать тут будет. Вот и сунули сразу в угол, освободили ему там койку. Как он мучился... Опору сверху навесили, ну да что она даст? Провисишь на ней минуту-две, руки устают и снова на койку, на старые пролежни. Гнил человек заживо. Рядом, помнишь, санузел был, из него еще несло, а в палату зайдешь... Совпадало так или нарочно распределяли, но соседями с ним постоянно фронтовики лежали, самый безропотный народ. А на перевязку приходиться всегда с улыбкой надо. Человеку и так тяжело, лежит бедный

без надежды всякой, знает, что завтра только хуже станет, что умрет он все равно в этой самой палате, в этом углу замороженном... Не могла же я добывать его своей рожей кислой. Вот и стараешься где разговором отвлечь, где улыбкой. На запах дурной и во взгляде намек не допускала.

— Мам, а в той комнате маленькой, что за поворотом, в ней что было? Мы там ели как-то один раз.

— Туда из кухни баки с едой приносили для ходячих больных. Окошко на двери осталось? Тарелки через него и выдавали. Потом мы, персонал, там обедали, а ходячим для питания бывший банкетный зал выделили. До этого мы в нем все праздники коллективом отмечали. Сотрудников тогда уже меньше стало, вот зал и переквалифицировали. А еще раньше, я тогда не работала, рассказывали, что в той комнате, с окошком на дверях, абортарий был.

У Митьки будто пелена с глаз слетела. Значит, сегодня это было не просто дурное воспоминание из детства. Материнская боль напитала эти стены страхом и скорбью, сотни нерожденных младенческих душ, так и не вышедших на волю, плотно сели в потемневших углах. И тогдашняя Митькина детская непорочная душа услышала это четко и внятно, а сегодня, хоть и огрубевшая и едва чувственная, все же уловила.

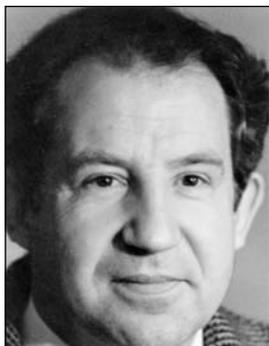
Он теперь знает, что же такое всегда заставляло его содрогаться там, в этой маленькой комнатенке с закрашенными окнами. Он будет готов снова войти туда и наверняка дрожать уже больше не будет.

После Митькиного звонка они с Валерчиком снова шли к больнице, прихватив из дома по топору. В десять минут очистив площадку от буйного американского клена, они встали у стены. Тут на них уставился провал пулеметного гнезда. Валерчик достал фотоаппарат и, фокусируя зум то на бреши в монолите кирпичной кладке, то на отдельной пулевой ране, делал снимки.

Митька говорил одобряюще:

— Спасибо тестю твоему, подогнал калым на выходные. Дом престарелых из больницы все равно никто не сделает. Того и гляди, она в Лету ухнет. Оставим память хоть на экранах «цветных мониторов», для детей наших... рожденных.





Владимир Григорьевич Гордейчев (1930–1995). Родился в селе Касторное Центрально-Черноземной области. Окончил Воронежский учительский институт, Литературный институт им. А.М. Горького. Публикуется с 1950 года. Поэт, переводчик, публицист. Работал в журнале «Подъём», избирался руководителем Воронежской писательской организации (1975–1979, 1988–1995). Автор более 30 книг поэзии, ряд его произведений переведены на европейские языки.

Владимир Гордейчев

ЯНТАРНЫЙ СВЕТ

* * *

Говор галочий убыл.
Встал туман над водой.
Позолоченный купол
застилается тьмой.
От ракет косолапых
наплывает с горы
устоявшийся запах
горьковатой коры.
В пору зрелую лета,
в тихий сумерек час
мир, исполненный света,
не уходит из глаз.
И в душе обретенья
полной темени нет,
лишь отчетливей тени
обозначили свет.

ЖЕНЩИНА

Полнота скользящих линий —
не могу глаза отвести.
Что-то в женщинах от лилий
удивительное есть.
Вот одна, нагая, летом
из воды идет — смотри! —
золотым и тайным светом
озаряясь изнутри.
Перед женщиной махровым
клевер стелется, лилов.
Вышла на берег, и словом
поперхнулся сквернослов.

Постоял над косогором,
и вошло в душе его
чувство древнее, с которым
созерцают божество.
Пусть глядит.
И пусть не дышит.
А она встает с травы,
вся в заре, и берег слышит
пенье светлое крови.
Вот пошла легко и ровно,
в белом платье средь берез.
И светла ее корона:
лилия — в узле волос.

ПОСЛЕ ДОЖДЯ

Всю выпив по капельке воду,
восстала над мокрой землей
синее небесного свода,
алее жар-птицы самой
царь-радуга. Чудо-ворота.
И тянет навстречу ладонь
мальчишка: уж больно охота
потрогать небесный огонь.
Он шепчет, юнец: — Подожди же! —
как будто бы ловит коня.
А конь то подпустит поближе,
то снова отступит, маня...
Уже за чужими дворами,
не веря, глядит сорванец:
царь-радуга в мусорной яме
цветной основала торец!..
Сверкая волшебю и зыбко,
уходит в заоблачный дым
не радуга — неба улыбка
над маленьким другом своим.

ЯНТАРНЫЙ СВЕТ

Когда стареет женщина,
то, словно б солнцем вечера,
с улыбочкой застенчивой
в ней девочка просвечена.
Все та же в ней дошкольница,
лишь с легшей в прядках снежностью,
сквозит. И сердце полнится
неистребимой нежностью.
Люблю, коль в зрелой женщине
себя веселость вызволит
то мимикой, то жестами,
то хохоточком вызвенит.

Когда на миг проказница
в степенности узнается,
то — лет как нет, и кажется:
все только начинается...
Как мальчик, пляжем шествуя,
в находку смотрит любяще
и видит свет торжественный
внутри янтарной глудищи,
так я с отрадой тайною
ловлю бесперемеичиво
зеленое светание
в уже не юной женщине.
Секреты ль утаю мои?
Мне радостно от помысла,
что мы и сами юными
своим любимым помнимся.
Теплы в такой янтарности
любви взаимной чаянья:
ни смерти нет, ни старости
до самого скончания!



*Общая
тетрадь*

ОЖИДАНИЕ ВНЕЗАПНОГО ЧУДА

Павел Мелехин

* * *

За селом так пустынно, как после дождя,
И темнеют кусты как в засаде.
Отчего это дети, домой не идя,
Плачут чаще всего на закате?

Оттого ли, что за день устали они,
А расти еще долго-предолго,
Оттого ли, что плакать вдали от родни
Можно даже совсем без предлога?

А кругом еще зелено, и в стороне
Сам закат ничего, кроме жара, не значит
Просто так плачут дети на старом гумне,
Просто так хорошо они плачут.

* * *

Завидую русским крестьянкам,
Как первым по многим трудам,
Встающим всегда спозаранку
К ометам, печам и стадам.

В отличие от праздных безмерно,
Внутримагазинных придир,
Их руки — тугие безмены —
Давно уже взвесили мир.

Не им изменило терпенье,
Не им достается легко

Сквозь выдубленные трехперстья
Продоенное молоко.

Завидую русским крестьянкам,
Хрустальным глубинам в очах.
И их представленьям кустарным
О сложных довольно вещах.

Колодец замшелый обступят,
Ладонями вал тормозя,
И сны, что приснились, обсудят —
Без этого тоже нельзя.

Отгадки у них со середины
Картин, что возникли в тиши:
Кровь, — значит, встречаться с родными,
А лошадь — так это ко лжи.

И все так наивно и мудро,
Без злобы и страхов в груди.
Повадка такая, как будто
Бессмертье у них впереди.

Александр Голубев

В СТАРОМ ВОРОНЕЖЕ

Пучеглазый мужик на площади
бил жену кулаками всласть.
Пахло дегтем, храпели лошади,
тычась мордами в коновязь.

От хмельного слегка икая,
он угрюмо кипел лицом:
«Люди добрые, тварь такая...
Нонче утром пристиг с купцом».

А она — в золотинках пота,
озирала толпу в упор,
и искала вокруг кого-то,
кто бы этот унял позор.

И когда паренек в поддевке,
что на рынок щеглов принес,
вдруг наотмашь заехал ловко
мужу грозному в рыхлый нос —
поднялась она и без слова,
мимо лошади без седла —
непокорную сраму голову
к тихой улочке понесла.

Вздыхалась вверх, шипя,
вода донская.
Затишья миг — и снова крик:
«Летят!»
Из цепких рук меня не выпуская,
бежала мать куда глаза глядят.

Казался мне игрушкой заводною
скакавший в небе
солнца черный круг.
Вдруг он померк —
и я взрывной волною
из материнских выброшен был рук.

Очнулся рядом с дымною воронкой,
лежал, закрыв ладошкой висок,
и на моих запекшихся зубенках
хрустел горячий приторный песок.

А самолеты снова заходили,
двоились их крестатые хвосты.
Схватив меня,
смежив глаза от пыли
и обезумев,
мать ползла в кусты.

Вздыхался, пенясь, Дон у переправы.
Был мир одет в багровые тона.
Крушила камни и ломала травы
еще одна воздушная волна...

Стал забывать я пройденное мною,
живя на мирных весах и хлебах.
Но тот песок, помеченный войною,
хрустит поныне на моих зубах.

Галина Умывакина

ПЛАТЬЕ АХМАТОВОЙ

*На фотографиях 1940 г. и 1946 г.
А.А. Ахматова в одном и том же платье.*

1

Сносилось, истлело,
забыло уже
про гибкое тело,
про голос и жест.

И корпией ветхой
пришлось ему стать,
чтоб века прорехи
и боль бинтовать.

2

Петербуржскую красавицу,
плакальщицу Ленинградскую
позови — и враз представится
стать прямая, доля лядская.

Поминальщица, печальница,
сострадалица, верижница —
для читателя. Начальничкам —
пакостница, чернокнижница.

Но, сколь свору ни науськивай,
калачом сколь ни заманивай, —
не носившая холуйского
ни наряда, ни прозвания.

3

Быть с народом — без изъятия:
и душой, и телом — всем.
И семь лет все в том же платье...
Или, может, семью семь?!

Где узнать, каким аршином
мерить, в годы вперив зрак,
как из душ тянули жилы
войны, казни, голод, страх?

Горький хлеб беды искрошен,
счастья разлито вино...
А вот платье то, в горошек,
знать, сменить не суждено

той, чья выть — во время татье
Анной быть всея Руси
и одно и то же платье,
словно вретище, носить.

Олег Шевченко

1946

Память!
Обретешь ли выраженье?
Вот он снова
встал передо мной —

первый год
эпохи возрожденья,
мой заветный год —
сорок шестой.

Солнце жарит.
Тащится телега.
На телеге —
женщина с кнутом.
Далеко ей нынче до ночлега,
за телегой пыль стоит столбом.

Утомилась баба от вожженья
и пешочком —
за телегой той...
Первый год
эпохи возрожденья,
мой заветный год —
сорок шестой.

Баба — с возу.
Легче ли кобыле,
коли воз
давно без мужика,
коли мужика того
убили
почитай что в средние века?

* * *

Я приду в этот дворик церковный
без друзей, без жены, без подруг.
Здесь покорно синеет цикорий
да летит с одуванчиков пух.

Я не стану гадать на ромашке,
что приткнулась к ограде худой,
и, стыдясь, отвернусь от монашки,
той, что павой плывет предо мной.

Дух иному желанию вторит,
сердца тропы иные торит,
коль явились минуты, которых
память более не повторит.

Да и сам я не знаю, откуда
вдруг — явилось незванно ко мне
ожиданье внезапного чуда
на краю,
на изножье,
на дне.

Старость, старость,
помедли хоть малость,
оказать себе милость вели,
чтоб во мне неизбежно осталась
предрассветная юность земли.

Людмила Бахарева

* * *

А в этих красных фолиантах,
где все Герои СССР,
всех больше — старших лейтенантов,
всем прочим званиям в пример.
Как жалко молодости их,
сгоревших в небе или в поле!
И даже самый лучший стих
не передаст последней боли.

На первых месяцах войны
отец погиб, не став Героем.
В том вовсе нет его вины, —
наверно, так уж мир устроен.
Он не был обойден талантом,
он жил, как все, мечту тая.
Но был он старшим лейтенантом.
В том гордость тихая моя.

* * *

Ах, как вкусно звучат под ногами
травы росные по утрам!
И душа — как будто нагая:
ни комедий тебе, ни драм.

А потом в автобусе мчусь я,
молчаливая, у окна.
И какое-то новое чувство
порождает моя тишина.

Пролетаю сосняк и осинник —
этот русский пейзаж без прикрас.
И глаза холодеют от синих,
от чужих непростившихся глаз.



Вячеслав Дмитриевич Лютый родился в 1954 году в городе Легница (Польша) в семье советского офицера. Окончил Воронежский политехнический институт, Литературный институт им. А.М. Горького. Публиковался в ведущих литературных федеральных и региональных журналах и газетах. Автор книг «Русский песнопевец», «Терпение земли и воды», «Сны о любви и верности». Лауреат Всероссийского конкурса литературной критики «Русское эхо» и ряда региональных литературных премий. Член Союза писателей России. Живет в Воронеже.

Вячеслав Лютый

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА: «ОТЦЫ» И «ДЕТИ»

Современная литература в какой-то мере напоминает картину половодья. Множество водяных зеркал скрывают главное русло, глубокое и стянутое невидимыми сейчас берегами. Вольная вода накрыла землю и старается казаться большим и основательным морем, однако от поверхности ее до покрытого наносным мусором дна невелико расстояние, и в него укладывается вся новая, поддельно «морская» жизнь. Так и в нынешнем литературном процессе бросаются в глаза произведения, которые широко разрекламированы идейно ангажированными обозревателями или просто «работниками по филологическому найму», а серьезные произведения, где есть эпоха и судьба, нравственный выбор и способность героя к действию, часто лишены должного внимания. Их мировоззренческие и художественные контуры как будто теряются в безудержном разливе окололитературной информации. Это самые общие приметы состояния современной российской прозы и поэзии, и в нашем случае они важны для выбора имен и сочинений, для понимания почвы, на которой стоит автор, считая ее надежной и твердой, — разумеется, в соответствии со своими представлениями о мире и о времени.

Сегодня, наверное, как никогда раньше — ну, разве что в период гражданской войны в России — ослаблены связи между поколениями русских «отцов» и «детей». В социуме это проблема

многофигурная, в литературе ее очертания более отчетливы и понятны. В некотором смысле, перед нами повторение на новом этапе ситуации, в которой оказалась русская эмиграция первой волны. Уезжая из большевистской России, старшее поколение беженцев сохраняло в своей памяти все самое лучшее, что было связано с прежними годами. В их душе почти осязательно жили картины вчерашнего дня, и не существовало силы, которая могла бы погасить драгоценное пламя этих воспоминаний. А вот их дети, не имея такого прочного якоря, хранившего связь с почвой, лишённые сердечной памяти о родине, с младых ногтей оказались в иной жизни, которая не принимала старые русские психологические лекала. И были вынуждены к ней приспособливаться, не обладая некими внутренними устоями, которые поддерживали бы их русскую самоидентификацию. В итоге молодое поколение первой волны русских эмигрантов западная жизнь нравственно перемолола, породив в нем чувство опустошения и понимание собственной ненужности.

В настоящее время мы видим пугающее подобие этого явления уже на российской земле. Запад вторгся в нашу информационную среду на самых разных направлениях; цепкая пятерня дяди Сэма выжимает все соки из российской экономики; традиционная и классическая культура подменяются пошлыми ужимками и неостановимым словоблудием новоявленных хлестаковых; скроенная по новому образцу система образования, похоже, считает излишним нравственное и интеллектуальное воспитание подростков. По существу, наши дети живут в фальшивом, подмененном мире, который к России имеет только глубинное, скрытое отношение, и проявляется оно лишь на уровне подсознания или в экстремальных обстоятельствах. Словно юные эмигранты в новой стране, младшие вынуждены мучительно или равнодушно соединять в своем сознании истории старших о царской и советской России. На Западе после революции 1917 года русские беженцы вынужденно доживали свой век, а их повзрослевшие сыновья и дочери стремились найти личное место в вертикалях и горизонталях чужого социума, и не более того. Современные российские «отцы» и «дети» дышат воздухом родины, и задача первых — передать вторым всю полноту отечественной традиции, все духовное и физическое богатство русского бытия. В этом заключается не только отличие настоящей ситуации от болезненного примера прошлого, но и главная трудность нынешнего момента нашей драматической истории — обретение преемственности двух поколений, совместная их готовность построить справедливое и высокое русское мироустройство.

Обращаясь к литературным произведениям «отцов», видишь зачастую, что единственной реальностью для автора является доминирующее воспоминание о прошлом. Контрастные проекции прошлого на изображаемую действительность здесь приводят к тому, что она предстает в виде некоего гротескного фантома, нежизнеспособного и человеконенавистнического по целому ряду социальных и мировоззренческих признаков. Причем такой взгляд на современную Россию нельзя назвать надуманным и резонерским: если наше государство столкнется с каким-либо тяжким испытанием, нет никакой уверенности в том, что существующая «новая Россия» устоит, не превратится в развалины. Тут надежда лишь на молодое поколение, дееспособное и отчаянное, однако лишённое ясных патриотических формул, которые были бы донесены до юного ума и до страстного сердца общественными фигурами, не запятнанными ложью, корыстью и предательством.

Кроме того, «дети» из года в год видят страну, непохожую на давние фотоснимки, кинохронику и рассказы старших, а единственной плотной реальностью для них можно считать текущий день — плохой, вероломный, построенный в координатах кумовства, взяточничества и несправедливости. Для них это данность, а все бывшее, озвученное родителями и дедами, похоже на легенду. И становится проблематичной мотивация «детей», которые встали бы плечом к плечу с «отцами» на защиту прошлой идеи, словно бы простив вопиющее несовершенство настоящего дня.

В литературе молодые писатели фиксируют картины действительности и составляют своего рода мозаику из художественных фрагментов; новое поколение пишет, не посягая на большое слово о мире, в котором живет, не открывая в себе глубокого дыхания, позволяющего в сквозном сюжете дать образ страны и одновременно — очерк судьбы своего современника. Собственно, это наполняет уже рассказы молодого Шолохова.

И выходит, что старшие и младшие говорят и пишут, кажется, совсем о разных вещах. Эта творческая и мировоззренческая полярность проявляется и в окололитературных дискуссиях, и в самих произведениях. Ожесточение и отчуждение иной раз пронизывают публичные встречи и дискуссии представителей двух поколений. Но все-таки некое, почти погашенное течением дней, чувство принадлежности к одному кругу писателей, которые ценят идеальную составляющую русской литературы, спасает эти беседы и семинары. Взрыв взаимного концептуального непонимания стихает, и уже сама художественная практика сближает стороны, порой не осознающие своего органического родства.

Исключительно важным становится наличие общего для «отцов» и «детей» тематического и содержательного поля, которое, при всех иных разнообразных и непохожих друг на друга приметах (стилевых и языковых), является тем звеном, что сцепляет русское прошлое с русским настоящим и позволяет творчески размышлять над русским будущим. В противном случае каждый будет говорить о своем, будто воплощая роковую фразу: распалась связь времен...

В произведениях старших и младших хочется видеть присутствие деятельных и умных героев разных поколений, следить за сюжетом, который содержит в себе правду и заблуждения персонажей, и находить целебные для нашей духовной жизни точки взаимного согласия старика и юноши, ученого и солдата, государственного деятеля и потомственного крестьянина. Этот охват национальной жизни должен быть свободным и художественно убедительным, только тогда писатель сможет выходить за рамки национальной самобытности и защищать ее от враждебного менталитета чужака или бесцеремонного соседа.

«Отцам» и «детям» в литературе и жизни необходимо уяснить более чем простую мысль: то, что они есть друг у друга — совсем не случайно. Их взаимная непохожесть носит не только драматический характер — она созидательна и, в конечном счете, направлена на обновление всего строя нашего существования. И если удастся пройти этот рубеж без жестокого конфликта поколений, русская традиция и дерзость русского ума принесут нам достойные и гармоничные плоды.

Между тем, глядяываясь в пространство повествования старших и младших, нельзя не обратить внимания на одну особенность. У «отцов» фон происходящего практически всегда определен, то есть читатель понимает, что действие разворачивается в постсоветские годы, в эпоху эрозии высоких понятий и слов и пренебрежения самим человеком. Не сказать, что в поздние советские годы бережность по отношению к обычному гражданину была несомненной и повсеместной — конечно, это не так, но пренебрежение и цинизм тогдашней власти как будто имели некие границы, чего не скажешь о нынешнем времени. И уже на фоне прописанной или только обозначенной социальной среды писатели старшего поколения принимались за воссоздание коллизий и самой идеи своего произведения.

Совсем не так сегодня. У молодых нет принципиального отчуждения между социумом и героем, нет ощущения того, что единство общества и отдельного человека прежде вроде было, а потом исчезло, и персонажи теперь существуют в каком-то вакууме, который должен быть заполнен. Такой пустоты, такого ощущения «изъятости» твердой опоры в прозе литературных «детей» практически не найти. Их герои проживают свою жизнь в условиях, которые более всего характеризует распространившееся повсеместно равнодушие. И если есть схватка в сюжете молодого писателя,

то он борется не с самой средой, а с *проявлениями* этой среды. Эта вторичная адресация внутреннего сопротивления оказывается фактически преодолением следствий, а не причин. Для литературы важность такого противостояния отрицать невозможно, однако в целом подобное положение вещей напоминает сюжеты буржуазной западной литературы второй половины минувшего века. Социальный абрис настоящего незыблем, и уже внутри него автор и его персонажи ищут правду и справедливость, доброту и высокий порыв. Но, как правило, отыскать их не могут по определению: все вокруг настроено против человека и его нравственных устремлений. Хотя присутствие в одном интеллектуальном и чувственном пространстве прозы «детей» и «отцов» вполне может идентифицировать постсоветскую среду человеческого обитания. Взаимно дополняя друг друга, старшее и младшее поколения современных русских писателей могут уловить как основы, так и атмосферу нашего нынешнего дня. Единство «отцов» и «детей» поможет современной литературе обрести провидческое зрение и возродить в полноте русское бытие на жестком рубеже двух христианских тысячелетий.

Сегодня важно не разделять по возрастному принципу коллективные публикации новой русской прозы. Выбирая достойное, необходимо внимательно сочленять произведения разных писательских поколений, дабы общая картина обретала при этом внутреннее единство. Рассказы и повести Юрия Лунина, Елены Тулушевой, Андрея Антипина стоит соединять под одной книжной обложкой с романами и повестями Петра Краснова, Владимира Крупина, Владимира Личутина, стараясь воссоздать совокупный облик времени. Обычно такой антологический принцип реализуется лишь в плане представительности и никак не соотносится с общим движением настроений и характеров, образительностью и стремлением осмыслить события, судьбы, печали и радости. Желание «сшить» уходящий день с наступающим без труда можно найти в произведениях молодых и старших, и уже это обстоятельство приводит нас к пониманию, наверное, самого важного: мы друг другу — родные.





Станислав Николаевич Никулин (1937–2011). Родился в селе Михайловка Шпиколовского района Воронежской области. Окончил филологический факультет Воронежского государственного университета. Работал ответственным секретарем областной газеты «Молодой коммунар», заведующим отделом поэзии и ответственным секретарем журнала «Подъём». Автор восьми сборников стихотворений, среди которых «Сентябри», «Земные голоса», «На расстоянии сердца», «Соловьиная молитва». Лауреат премии воронежского комсомола им. В. Кубанёва, всероссийской литературной премии «Прохоровское поле».

Станислав Никулин

И ДЫШИТ РЕКОЮ СВОБОДА

* * *

Вот и пришло откровение,
вот и вина прощена.
Словно само исцеление,
льется с небес тишина.

Вечеру этому тихому рад,
как и я, соловей.
Просит свою соловьишу он:
— О, пожалей, пожалей!..

От наплывающей свежести
кругом идет голова.
Как мы стесняемся нежности
в мыслях,
делах
и словах.

Долго друг другу заветное
мы не спешим говорить.
Так ведь нам скоро, наверное,
некогда будет любить.

Нам все спокойнее дышится,
а под луной все сильнее
вечное-вечное слышится:
«О, пожалей, пожалей!..»

* * *

Слепому палочка ведет —
такая вышла доля.
Не по асфальту он идет,
а будто минным полем.

Глаза незрячие глядят
в неведанные дали,
и еле слышно,
как звенят
на пиджаке медали.

Как шли, он помнит,
на прорыв
рассветными часами...
И до сих пор
последний взрыв
стоит перед глазами.

ПРО ЛОШАДЕЙ

*Становится
все меньше
лошадей.*

Мальчишки позабыли про ночное.
Когда мы это для себя откроем,
то делаемся чуточку грустней.

*Становится
все меньше
лошадей.*

На жеребенка смотрим,
как на диво,
а он шагает так неторопливо
с заезженной матерью своей.

*Становится
все меньше
лошадей.*

И колокольчик смолкнул под дугою,
и тройки не проносятся стрелюю
по родине заснеженной моей.

*Становится
все меньше
лошадей.*

Живите, водовозные трудяги,
хотя не кони вы,
а лишь коняги,
но даже с вами мне земля родней.

Становится
все меньше
лошадей.

Вот, распластавшись,
скачут, скачут кони,
когда в кино снимаются погони.
Но от того совсем не веселей.

Становится
все меньше
лошадей.

И, как неумолимое прощанье,
несется их серебряное ржанье.
И остается в памяти людей...

НА ТИХОЙ СОСНЕ

В некошеных травах следы.
Кукушка гадает устало.
И мальчик стоит у воды.
И лодка стоит у причала.

На сердце тревога легка
под светом небесного свода.
И дышит свободой река,
и дышит рекою свобода.

И ты уж не так одинок,
и смотришь на землю влюбленно,
когда тебя каждый листок
встречает улыбкой зеленой.

И вот незаметно совсем
уходит душевная смута.
И хочется верить... Не всем.
А хочется верить кому-то.

Когда от тебя вдалеке
той веры останется мало,
к реке припаду, как к руке,
которая не отпускала.

И вновь уведут от беды,
помогут начать все сначала
тот мальчик у тихой воды,
та лодка его у причала.

* * *

Душа уже почти остыла,
теплу ее настал конец,
и с жадною какой-то силой
так тянет к доброте сердец.

Наверно, время век итожить,
что худо-бедно я прожил.
И как не хочется мне все же,
чтобы угас последний пыл.

Не хочется в седло садиться
и, голову сломя, лететь,
ведь мне тогда родные лица
не различить, не разглядеть.

Я их и так почти не видел
в ненужной суматохе дел,
кого-то невзначай обидел,
кого-то просто не пригрел.

Ах, эта скачка поневоле
сводила, подлая, с ума!
Хотелось вроде лучшей доли,
а вышла — рваная сума.

Но с уст еще слетает слово,
а рядом дышит тишина...
И где-то там надеждой новой
горит калина Шукшина.

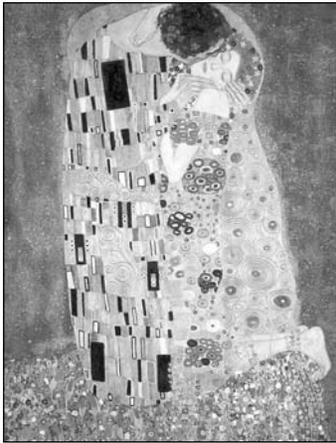
СВЕТ МАТЕРИНСКИЙ

Среди сосен безмолвных покой,
ощущение воли...
Мир иной,
он, конечно, иной —
без страданий и боли.

Вот опять я один на один
и с тобой,
и с собою.
Без твоих незабытых седин
ничего я не стою.

И во мне до сих пор пустота,
что ничем не заполню.
Жизнь моя,
как всегда, непроста...
Я люблю тебя, помню.

И со мной — и вблизи, и вдали —
до скончания века
этот холмик родимой земли
над родным человеком.



*Общая
тетрадь*

ЛЕГКОЕ КАСАНИЕ

Зоя Колесникова

* * *

День предосенний в мареве тумана.
Течет река, изгибами блестя.
И нет на свете фальши и обмана.
Наивен мир и весел, как дитя.
И плеск волны душе роднее,
чем жизнь, которая проста,
Но и сложна, и чем сложнее,
тем проще с чистого листа
начать неистово движенье,
дабы взойти, воспрячь, восстать.
И чудных дней ее круженье
как бы впервые принимать.

* * *

Корабельные сосны увидеть,
по осеннему лесу идти.
Никого из людей не обидеть, —
никого из зверья — на пути.

Где-то там, на восьмом километре,
Белый ангел средь белого дня,
размышляя о солнце и ветре,
бережет и жалеет меня.

Огорчит меня это участие, —
я коснусь его ангельских рук:
пусть узнают со мною о счастье
муж любимый и маленький внук.

И, спокойный, пойду я в осень,
В мокрый шелест опавших дней...
Ничего...
За меня не бойся,
Хоть и ночи теперь темней.
Ну, а станет бедней зенит
На одну лишь звезду — не внове! —
Пусть упавшая прочертит
Путь к единственному изголовью
Где любовь моя
Тихо спит...

* * *

Как по ночам грохочут поезда...
Такого днем ты просто не услышишь;
Днем громче даже капает вода;
Днем, очевидно, эти звуки лишни.

День, он и сам — грохочущий состав,
Болтающийся всем незакрепленным;
От сотен встреч касательных устав,
Не спрыгнешь на ходу, ему — зеленый!

На нем «Вперед!» оттиснута печать —
Нет больше вариантов у «железки».
И устаревшим словом бы назвать,
Да и зовешь в сердцах его — курьерский!

Но, слава Богу, что — всему конец,
И станция бурлит — апрельский вечер...
И, свой же к самому себе гонец,
Сутулишь над столом буфетным плечи...

Ватин тоски. Железное «всегда».
И как презатверженным уроком:
«Как по ночам грохочут поезда...»
Да и до ночи, вроде бы, далеко?

О, как ты любишь сумеречный свет
И тишину — беседуют в ней боги;
И ты бы с ними — даже капель нет!
Но ты живешь так близко у дороги...

Владимир Шуваев

ВДАЛИ ОТ СТОЛИЦ

Вдали от столиц, где столбы покосились,
Где мыслят свободно и горькую пьют,
Вдали от столиц, в настоящей России
Копают картошку и песни поют!

Давно коммунизма остыла дорога
И капитализм не прижился вполне.
И нет здесь властей никаких, кроме Бога,
И серого неба, что стынет в окне...

* * *

Распростерлась над Доном холодная осень.
В сиротливых мурашках душа и вода.
Завершается жизнь, но пощады не просит
Перед тем, как под снегом уснуть навсегда.

К югу поздние птицы прошли над стремниной,
Унося свои души к согретым краям.
А для тех, кто остался — туман да рябина,
Да прощальные строчки с дождем пополам.

Здесь страна холодов и уж точно — не весен,
Потому-то и любят Россию, как мать.
Жизнь кончается в каждую русскую осень
И не знает никто, где начнется опять.

Режет мокрая ветка нахлынувший ветер,
Ничего не вернуть. Никого не спасти.
Хорошо тем, что просто пожили на свете
И нашли в себе силы достойно уйти.

ЛЕГКОЕ КАСАНИЕ

Против течения, мимо поселка,
В дальних осенних лесах —
Будто сейчас, ковыляет моторка —
Лет этак тридцать назад...

Вижу, как след ее в золоте тает,
Дробится возле стропил.
Припоминаю и припоминаю —
Все, чем когда-то я жил...

Радуюсь солнцу, печалюсь в ненастьях,
Что ты все ищешь, душа?
Нет в наших поисках смысла и счастья:
Жизнь, без того, — хороша!

Жизнь! Где в осенней глуши мироздания,
В нашей мелькнувшей судьбе
Легким касанием, легким касанием
Я прикасался к тебе...

Против течения. Иль по теченью
В бездну веков и красот
Легким касанием, легким свечением
Все, как та лодка, уйдет...

Лишь береза за колодцем
Возле бабкиной избы
Вдоволь так и не напьется
Из источника судьбы.

Николай Малашич

* * *

Если при жизни нас разлучили,
То после жизни нас не разлучить.
Если при жизни мы не долюбили,
То после жизни нельзя долюбить.

Так и останемся — рядом! — недолюбим.
Рядом — в раю! — у небесной реки,
Где все влюбленные — сизые голуби,
Недовлюбленные все — чужаки.

Рай — не Россия, не безлюбье,
Не бесталанье. Там все — благодать.
Недолюбившим настолько там больно,
Мучиться — рядом и рядом — страдать.

От безлюбия нету лечения...
Нет и в раю, если нет и в миру.
Господи, не обрекай на лишения,
Хоть после жизни, когда я умру...

Есть безупречно высокого племени, —
Грозы в глазах, и огонь, и печаль, —
Но ведь пришлась мне она не ко времени.
Недолюбовинка.
Искренне жаль!..

* * *

Предрассветные, лиловатые
На фоне темном облака.
По форме все — замысловатые,
Витиеватые слегка.

Чудно их контуры меняются.
В какой-то странной суете.
То сходятся, то разлетаются,
Как бы живые, в высоте.

Как перед свадьбою невесты,
Зарделись. Солнце не взошло,
Но облака уже задеты
Его лучом, его теплом...



Ольга Кожухова

РАНО УТРОМ И ПОЗДНО ВЕЧЕРОМ

Из дневника

Современный писатель живет в такой толчее и в такой суете, что с утра и до самого вечера мысль его дробится на встречи, на разговоры, на заседания, на нужные и ненужные телефонные звонки, на писание писем и рецензий, на чтение чужих рукописей и книжных новинок и на тысячу других дел, от которых, в общем-то, никуда не денешься. «Только к часу полночи глухому наступает в доме тишина», — говорит одна известная поэтесса. Вот к этому самому часу и ты уже устаешь, и тебе тоже хочется спать, и уже ложишься в постель, и даже задремываешь, и вдруг, как кто-то толкнул тебя, открываешь глаза — мысль ясная, свежая, и вместо того, чтобы спать, лежишь, уставившись в темный, едва обозначенный уличным фонарем потолок — и думаешь, думаешь...

Я не люблю эти мысли, возникшие в час неурочный. Если их не запишешь, то утром обязательно все позабудешь, даже самые важные. Если встанешь записывать, то потревожишь близких, того, кто уже отдыхает, да и сама теперь до утра не заснешь. И тем не менее в эти ночные часы очень многое проявляется в своем истинном свете, без прикрас, без привычной уже мишуры потерявших значение слов. Именно тут к тебе приходит мужество понимания, которого так недоставало днем, и ты, не оставляя в душе места сомнениям, спокойно и холодно отмечаешь все то, что часа два или три назад давало ничем не оправданную уверенность, позволяло на что-то несуществующее надеяться, чему-то бесплотному верить.

А утром встаешь — и снова надеешься.

И живешь с прежней верой...

* * *

Разбирая, разглядывая свою прошлую жизнь, я теперь понимаю, что часто растрчивала свое время на ерунду. Но мне-то тогда казалось, что все это не ерунда, что это и есть самое настоящее дело в жизни: танцевать, пить хорошее вино, гулять при луне или же валяться на диване с французским романом в руках. Еще я любила узнавать все новых и новых людей. А так как в людях я в те юные годы не умела разбираться, то часто какую-нибудь медяшку принимала за золо-



Ольга Кожухова

то. Но тут же и разочаровывалась. И думала: ну, теперь я уже не ошибусь. И опять ошибалась...

Как я была в юности счастлива от того, что куплено новое платье. Или от того, что в печати мелькнула моя фамилия. Как я была счастлива, оттого что приходит весна или осень, — тогда весны и осени мне не виделись последними или предпоследними в жизни, — я не думала с такой ясностью, что число их впереди будет все уменьшаться и уменьшаться. Я радовалась сорванному цветку, подаренной мне улыбке, витиеватуму салонному остроумию...

И вот нынче все чаще и чаще меня радует только общение с мыслью. Трудной мыслью, — не радующей и не ласкающей, — будь то мысли давно умерших писателей или моего современника, друга, сидящего рядом и все понимающего: что я хотела сказать или даже, что подумала в эту минуту. Ни нарядное платье, ни веселое общество, ни прекрасный концерт или

спектакль не дают такого глубокого наслаждения, какое дают часы безмолвного и несуетного общения с книгой. Мне давно уже не нужны занимательные сюжеты, прекрасные типы, характеры, любовь до гроба, я читаю иных, самых «скучных» писателей, как некоторые читают сегодня детективы, — неотрывно, забросив все прочие насущные дела. И мне все важно и дорого в тихом, теплом течении мысли, как в течении самой вечности, как в бессмертии жизни вообще, как в мечте, не имеющей ясно видимых и осязаемых границ...

* * *

Бунин пишет: «Голые снасти деревьев». Или «женственная походка коровы». И за одной такой фразой, за одним подобным сравнением стоит целый мир. А сколько у него простых обыденных слов, из которых встает, поднимается перед глазами нечто солнечное, хрустальное, бессмертное, как душа, и живое, как плоть, так и хочется руками потрогать изображенное им: ребенка, цветок, книгу, лошадь, убитого кабана. Вспоминаешь гордыню этого человека, его внутреннюю неприимиримость — и с таким удивлением находишь сочувственное замечание о писателе, утверждавшем, что прямолинейная принципиальность холодна, мертвенна, теплота жизни только в компромиссе.

* * *

Самолет нарисовал на холодном и бледном неласковом небе серебряное светящееся кольцо. Оно тихо тает, пушится, отчетливо прорисованное, — заколдованный круг, магическая черта, за которой тебя ожидает незнакомое новое счастье. Кажется, только переступить — и все тебе сбудется. И смотришь, и смотришь в холодную синеву, да не переступишь!

* * *

Прототип мопассановской Пышки Адриенна Легей, пытаюсь покончить с собой, оставила записку, в которой извинялась, что не может заплатить долга... в семь франков. Каково же будет умирать нам, скромным авторам, когда мы припомним о собственном долге перед читателем?! Маяковский писал: «Я в долгу перед бродвейской лампионией, перед вами, багдадские небеса, перед Красной Армией, перед вишнями Японии, перед всем, о чем не успел написать...» А у нас не написано о Гагарине и его смерти в роковом полете. Нет романа о маршале Жукове.

* * *

В парке — синие тени, хлопья снега на ветках деревьев. Солнце ходит по небу лениво, низким кругом, не поднимаясь в зенит. Даже ровно в двенадцать оно где-то прилеплено сбоку, над крышами ближних домов. Снег скрипит под ногами, лучится ярчайшими вспышками своих крохотных, еле видимых глазом кристалликов, отражающих солнечный свет. Воздух мягкий, бодрящий, ласкающий свежестью. На тропинках, на взгорках, у самого пруда — всюду матери и отцы с ребятами. Кто ведет за руку, кто толкает коляску, чьи-то чада, румяные и глазастые, уже катятся самостоятельно по сугробам на лыжах, на санках. И так — целый день, пока не стемнеет.

Когда-нибудь наша статистика подсчитает, сколько силы и времени человечество тратит на продление рода, на выращивание и воспитание подобных себе. Это будут какие-то сверхгигантские цифры. И как мало мы тратимся на благодарность старикам и старухам, уже отработавшим, отслужившим, а когда-то давно-давно родивших и воспитавших нас и выпустивших в свет.

* * *

Изумителен аромат серебристого узколистого лоха, он ни с чем несравним. Но он все вокруг себя подавляет, давит на нервы, на душу. Вероятно, и гений точно так же нестерпим для его окружающих, тоже давит на нервы, на чувства и мысли обыкновенного, среднего человека, раздражает его своим присутствием, мешает дышать. Так что же беречь? Свои нервы, себя, свои мысли — или эту волнующую необычность гения, его фитонциды, убивающие ничтожество?

* * *

Читатель и писатель. Это, видимо, куда более сложный конгломерат отношений, чем мы думаем. Он, конечно же, не укладывается ни в рамки читательских конференций, ни в личную переписку, ни в личные встречи. Толстой не писал мне писем, может быть, и не захотел бы писать их лично мне, но я его письма все-таки получила. Я получила ценнейшие его указания — и не тогда, когда читала их, а когда состарилась, вспоминала прочитанное, передумывала, отвергала его — и принимала вновь. С целым рядом писателей у меня, как у читательницы, весьма трудные отношения, далеко не по формуле: «прочитал, восторгнулся и тут же откликнулся». Нет, я сперва некоторых совершенно не могла понять, потом стала вчитываться, понимать, — и полюбила. Потом встретила с жизнью, с ее беспощадной суровостью, на сей раз поняла, что меня утешают, обманывая; не захотела быть ни утешенной, ни обманутой и отвергла своих утешителей. Теперь уже навсегда. Полюбила куда более суровых, не утешающих никого, всегда говорящих жестоко, но такую понятную правду.

С иными же отношения, как с родными, — с братом, другом, отцом.

С самых малых лет, когда, наверное, еще ничего не понимала, кроме музыки фразы, пришла первая любовь: Есенин.

Потом, взрослая, стала понимать его мысли. Потом осознала трагедию его жизни и смерти, трагедию памяти. И любила, люблю — и буду любить до конца.

Нет, нельзя не полюбить человека, который уже не хотел сравнить предметы, и определить их: «А когда в небе светит месяц, когда светит черт знает как»... Есенин прекрасно знал, как именно светит месяц, но, однако, не нашел нужным в данный момент об этом говорить, он думал о другом — и чувствовал другое, это нечто другое было важнее всего, важнее месяца, воспетого тысячи раз. И вот в этом — урок. Самый главный урок. И урок навсегда. Никогда не отклоняться от той мысли, которую в данный момент ты можешь выразить. Конечно, при этом ты можешь описать закат, восход, грозу, бурю, тишайший день солнечной осени — бабье лето, или, как теперь принято называть «индейское лето», все равно воротись к своей главной мысли, к главному чувству, не растрачивай себя на эпитетах, это все преходящее, давай-ка выложи свою мысль...

Мысли бывают, как геологические эпохи. Одна — на поверхности. В траве, в ландышах. Другая приходит, когда ты отрываешь окоп в полный профиль.

Третью мысль обнаруживаешь лишь тогда, когда пробурен артезианский колодец — и он поит своей первозданной чистотой и тебя, и верблюдов, овец, лошадей, коров, без которых нет жизни.

Четвертая мысль приходит только с костями предков, с их бытом, с их утварью, с их оружием.

Пятая — с мамонтами в мерзлоте. Это потрясающее открытие современности. Оказывается, были мамонты, были... Огромные, неповоротливые, мохнатые. Как прекрасно разыскивать веточки своего собственного генеалогического — геологического — древа и находить себя рядом не с обезьянами, не с гиенами, не с грифами, не с хамелеонами, и даже не с кенгуру, а с этим неведомым мне существом. Как хотелось бы, чтобы оно было умным, спокойным, добродушным! А может быть, оно и было таким?

Но самое страшное, когда блестящая мысль, прекрасно изложенная, отвергает все то, чем ты живешь.

Тут и Толстой не поможет, не подскажет, как быть.

* * *

Трудно сказать, должны ли мы проклинать или благодарить родителей гения за его трудное детство, ведь еще неизвестно, что именно способствует совершенствованию, — тепличные условия или же буря, метель...

* * *

Жизнь так рассеивает и так отвлекает от повседневного писательского труда, что мои ненаписанные повести и романы перегорают во мне, как в корове невыдоенное молоко. За бессонную ночь напридумываешь изумительные фразы, нарисуеть невиданные пейзажи, сочинишь остроумные диалоги, а встала — и все завертелось в общественной и хозяйственной суете, не успеешь оглянуться, уже поздний вечер, и все, что придумалось, давно уже выветрилось, позабылось, а если и осталось в душе, то каким-то печальным и тусклым осадком, чувством глубокой неудовлетворенности и тревоги, а главное, раздражением на окружающих меня людей. Ведь это они виноваты, не я.

А может быть, я?..

Может, жизнь во мне, а вернее сказать, жажда жизни кипит с такой силой, что уйти от нее в мир фантазии не так-то уж просто, и вот тело мое, и мой мозг, и визжащие от насилия чувства и находят уловку: здесь отвлекусь, и здесь, и на это растрачу часть души, и на это, а там — что останется.

А теперь уже — и не остается.

* * *

Характеристика героя у Лескова: «Тонкий, долгий, белый и волокнистый Висленев...» Здесь, помимо эпитетов, работает на читателя еще и фамилия, сочетающая в себе ассоциативно, по созвучию, и нечто висящее, и ленивое, и ослиное, да и говорится все это, как мы сразу же чувствуем, чуть брезгливо, со слегка иронической гримасой. Концентрация изобразительных средств такова, что все свойство и все оттенки во фразе не сразу и зафиксировать.

Тот же Лесков говорит: «...события повторяются, и их можно предсказывать».

* * *

Солнце спряталось за облака, набежала прохладная, влажная волна воздуха, и душа отмякла, стала свободной, начала отдыхать. В лесу, за оградой двора, кричат неокрепшими голосами птенцы: июль, а деревья выглядят августовскими, с жесткой листвой, темно-бурые, с ржавчиной, и эти птенцы, совсем взрослые, слетки, наверное, уже собираются в дальний перелет, их голоса напомнили детство.

Детство. Милое детство. Самая счастливая пора жизни. Можно вернуть часы любви, часы опасности, часы мужества, жизнь дает нам возможность повторить то и это, и многое другое. Не единожды мы страдаем, не единожды радуемся. И только никогда, никогда больше мы уже не будем детьми, никогда мир перед нами не предстанет в такой необыкновенной свежести, в такой яркости чувств, как когда-то, когда мы были совсем юными, совсем глупыми, — мальчишками и девчонками.

Сейчас я вышла на балкон и увидела машину «скорой помощи», женщину в белом халате, санитаров. И во всей свежести, во всей яркости чувств предстала болезнь мамы и ее смерть. Вот это единственное, что теперь нам остается, — скорбь об ушедших. И о нас самих, ставших в очередь.





Евгений Григорьев

КОГДА У СЛОВА НЕ БЫЛО ГРАНИЦ

С конца 60-х годов берут свой отсчет интенсивные творческие связи Воронежской писательской организации с писателями братских республик СССР, другими национальными литературами. «Первой ласточкой» стал проезд в Воронеж представительной делегации Союза писателей Чувашской АССР, состоявшийся в октябре 1969 года. В составе делегации были председатель правления СП Чувашии Николай Дедушкин, поэты Алексей Воробьев, Александр Калган, Василий Давыдов-Анатри, Аркадий Эсхель, прозаики Алексей Талвир, Владимир Ухли. Их тепло встречали на ряде предприятий Воронежа, а также в Семилукском районе, где они приняли участие в открытии мемориальной доски, посвященной А.В. Кольцову, на здании бывшей дачи И.С. Башкирцева. Вскоре в Чувашии прошли Дни воронежской литературы. Участвовавшие в них писатели Константин Локотков, Федор Волохов, Александр Гридчин встречались с тружениками столицы республики — города Чебоксары, со студентами, школьниками, побывали в чувашских селах. Завязавшиеся личные связи между писателями способствовали активизации взаимной переводческой деятельности. Ее результатом стал выход в Чебоксарах в 1978 году книги «Туссен сасси» («Голоса друзей»). В ней были представлены произведения воронежских писателей в переводах на чувашский язык — от Алексея Кольцова и Ивана Никитина до современных авторов. А в 1983 году в Воронеже вышла книга «Родники Шубашкара». Опубликованные в ней стихи и прозу писателей Чувашии перевели на русский Георгий Воловик, Анатолий Ионкин, Иван Матюшин, Евгений Новичихин, Виктор Панкратов, Олег Шевченко, Игорь Чемяков. И даже многие годы спустя произведения чувашских писателей М. Юхмы, П. Ялгира, В. Енеша и других публиковались в «Подъёме», в воронежских областных газетах, а имена писателей-воронежцев регулярно появлялись в чувашских журналах «Таван Атал» («Родная Волга»), «Ялав» («Знамя»), сатирическом журнале «Капкан», альманахе «Дружба» и других изданиях.

В 1984 году в Воронеже вышел в свет сборник стихов «Зори над Днепром», в который вошли произведения более двадцати поэтов Запорожья в переводах Владимира Гордейчева, Николая Белянского, Анатолия Ионкина, Александра Лисняка, Евгения Новичихина, Виктора Панкратова, Евгения Поликутина, Григория Пресмана, Галины Умывакиной. А в 1986 году в днепропетровском издатель-



Воронежские писатели на встрече с рабочими
Запорожского металлургического комбината (Украина)

стве «Промінь» («Луч») вышла поэтическая книга «Слово землі світанкове» («Слово земли рассветное») — ответный подарок поэтов Запорожья, которые перевели стихи поэтов-воронежцев.

В начале 90-х годов связи с запорожскими писателями стали постепенно прерываться — давали о себе знать финансовые проблемы. Тем не менее, и в этих условиях были отдельные примеры их продолжения. Например, Евгений Новичихин в марте 1994 года избран действительным членом Международной ассоциации сатиры и юмора «Веселая Сечь», учрежденной в Запорожье, а в одноименном сатирическом журнале и в 2000-х годах неоднократно появлялись произведения писателей из Воронежа.

В середине 1970-х годов Ольга Кретьова, работая над очерком «Четыре встречи с юностью Янониса», привнесла в воронежскую литературу литовскую тему. Эту тему плодотворно продолжили Владимир Гордейчев и Евгений Новичихин, ставшие в 1978 году лауреатами Всесоюзного конкурса на лучший перевод стихотворений «литовского Маяковского» Юлюса Янониса. Ольга Кретьова, Владимир Гордейчев, Евгений Новичихин, а также Петр Прудковский и Виктор Панкратов много сделали для создания в средней школе № 73 Воронежа Музея литовской литературы, культуры и искусства имени Юлюса Янониса, открытого 3 апреля 1981 года.

Двумя изданиями — в 1981 и 1986 годах — в Воронеже вышла книга стихов Юлюса Янониса «Песня борцов» в переводах Владимира Гордейчева и Евгения Новичихина с предисловием Эдуардаса Межелайтиса, получившая высокую оценку и в российской, и в литовской прессе.

В 1986 году в Воронеже и Вильнюсе широко отмечено 90-летие со дня рождения Ю. Янониса. В торжественном заседании, прошедшем по этому случаю в Вильнюсе, принял участие и выступил тогдашний председатель правления Воронежского отделения Союза писателей России Евгений Новичихин. Юбилейные материалы опубликованы в вышедшей в Вильнюсе книге «Человек-звезда». Воронежско-литовским литературным связям посвящена книга журналистки Лидии Ан-

дриановой «Имени Юлюса Янониса», изданная на русском и литовском языках в вильнюсском издательстве «Минтис» в 1986 году.

Вторая половина 1980-х годов была отмечена зарождением связей с писателями Южной Моравии (Чехословакия). В 1987 году в Воронеже побывал руководитель писательской организации из Брно поэт Иво Одегнал. В том же году Чехословакию посетил председатель правления Воронежской организации Евгений Новичихин. В ходе этих встреч была достигнута договоренность об обмене писательскими делегациями с целью подготовки и издания книги под названием «Так далеко, так близко...» По замыслу составителей южноморавские писатели должны были рассказать в книге о Воронежском крае, а воронежские — о Южной Моравии. Книгу предполагалось издать в Центрально-Черноземном книжном издательстве — на русском языке и в издательстве «Блок» (Брно) — на чешском. В 1987-1988 годах такой обмен состоялся. В Воронеже побывали писатели Индржих Угер, Иржи Кршенек, Ян Костргун, Властимил Милола, Людвиг Штепан, Йозеф Сухи, Людвиг Немец. В воронежскую делегацию, выезжавшую в Брно двумя группами, входили Владимир Гордейчев, Виктор Будаков, Виктор Панкратов, Эдуард Пашнев, Виктор Попов, Сергей Пылев, Галина Умывакина, Олег Шеченко. Книга «Так далеко, так близко...» была написана, подготовлена к изданию и в Брно, и в Воронеже. Однако уже в процессе издательской работы над нею в результате политических процессов, происходивших в Чехословакии, в Брно выпуск книги был приостановлен. Вслед за этим издание книги приостановили и в Воронеже.

В апреле 1987 года воронежские писатели Иван Евсеенко и Евгений Новичихин в составе делегации Союза писателей СССР побывали во Франции. Они приняли участие и выступили на конференции писателей двух стран на тему «Литература на пороге XXI века».

В середине 80-х годов на одном из Кольцовско-Никитинских праздников литературы побывала небольшая делегация из Чечено-Ингушской АССР. В ее составе были чеченский поэт Алвади Шайхиев и ингушский поэт и прозаик Магомед-Саид Плиев. Вскоре в журнале «Подъём» появилась большая подборка стихов чеченских и ингушских поэтов. В ходе взаимного творческого общения родились долговременные планы постоянного творческого содружества. И вот летом 1987 года на карте литературных связей Воронежа появилась новая точка — Чечено-Ингушской АССР. Здесь с большим успехом прошли Дни воронежской литературы. В гости к своим новым друзьям приехали председатель правления Воронежской писательской организации Евгений Новичихин, писатели Евгений Люфанов, Виктор Будаков, Анатолий Ионкин, Станислав Никулин. В программе Дней были большой литературный вечер в республиканской библиотеке имени А.П. Чехова, встречи с читателями в Ножай-Юртовском и Шелковском районах, в Доме культуры г. Назрань, в селении Валерик, связанном с именем М.Ю. Лермонтова. В этот период и в несколько последующих лет произведения воронежских писателей регулярно публиковались в чеченских и ингушских газетах и журналах. Готовилось проведение Дней чеченской и ингушской литературы в Воронеже. Однако осуществлению этих планов помешало развитие событий в этом регионе страны.

В 2002 году в составе Воронежской писательской организации появился «иностранный» член Союза. Это был Георгис Веллас, многие годы учившийся и работавший в Воронеже, а в 1990 году уехавший на родину — в Грецию. С его именем связаны дружеские и творческие контакты писателей-воронежцев с представителями греческой литературы. Вместе с Г. Велласом трижды, в 1999-м, 2000-м и

2005-м годах, в Воронеж приезжали греческие писатели Ставрос Боснакидис и Никос Козмас. Они встречались с писателями, с представителями греческой диаспоры Воронежа, с ветеранами войны, выступали с лекциями по истории греческой литературы и искусства перед студентами и преподавателями ВГУ. Двумя изданиями, в Воронеже и Афинах, вышла «Антология новогреческой поэзии», составленная С. Боснакидисом, среди переводчиков которой на русский язык были воронежцы Евгений Новичихин и Виктор Будаков. В Воронеже издано и передано в библиотеки города несколько книг Н. Козмаса. В переводах Евгения Новичихина в Афинах, Воронеже и Кишиневе вышли книги Г. Велласа, С. Боснакидиса, П. Завитсаноса. В его же переводах и переводах Г. Велласа воронежцы познакомились с поэтическими сборниками молодых греческих поэтов Никоса Занопулоса и Владиса Куртесьетиса. А в Афинах, на греческом языке, вышла в 2017 году в переводах поэтессы Хрисанфи Какулиду книга стихов для детей Евгения Новичихина «Крокодила звали Нил».

* * *

Среди ярких литературных событий 1960-х годов — выездное заседание секретариата правления Союза писателей РСФСР. Оно состоялось в Воронеже в 1963 году. На нем обсуждался важный вопрос о развитии литературы для детей и юношества. Представительную делегацию писателей России возглавлял председатель правления Союза писателей РСФСР Леонид Соболев. В состав делегации входили Сергей Баруздин, Валерий Друзин, Лев Кассиль, Сергей Михалков, Евгений Пермяк, Константин Поздняев, Сергей Наровчатов и другие известные советские мастера слова. Участники выездного секретариата встретились с труженниками предприятий Воронежа, с руководителями города и области.

В 1981 в Воронеже проведен выездной секретариат правления Союза писателей РСФСР, посвященный работе с молодыми литераторами. Среди его участников были председатель правления Союза писателей РСФСР Сергей Михалков, секретари правления Анатолий Алексин, Сергей Викулов, Михаил Годенко, Андрей Дементьев, Николай Доризо, Юлия Друнина, Давид Кугультинов, Евгений Носов, Петр Проскурин, Владимир Санги, Николай Старшинов, Николай Шундик и другие. В фойе воронежского Дома актера, где проходила работа секретариата, была развернута большая выставка книг творческой молодежи Центрального Черноземья. С участием гостей в Воронежском театре оперы и балета состоялся большой литературный вечер, ставший ярким событием в жизни города. Вел вечер Сергей Михалков. Воронежскую литературу на вечере представили Владимир Гордейчев, Геннадий Лутков и Евгений Новичихин. Вместе с писателями-воронежцами участники секретариата побывали на встречах со студентами воронежских вузов, с рабочими заводов тяжелых механических прессов, авиационного, «Электросигнал» и других предприятий города.





Александр Гаврилович Нестругин родился в 1954 году в селе Скрипниково Калачеевского района Воронежской области. Окончил юридический факультет Воронежского государственного университета. Публиковался в журналах «Подъём», «Наши современники», «Молодая гвардия», «Роман-журнал XXI век», «На любителя. Русский литературный журнал в Атланте» и других. Автор девяти книг поэзии и прозы. Лауреат премии «Имперская культура» им. Э. Володина, международного литературного конкурса им. А. Платонова «Умное сердце», им. С. Есенина, «Родная речь» журнала «Подъём». Живет в райцентре Петропавловка Воронежской области.

Александр Нестругин

ДАЛЬНЕЕ НЕБО

* * *

На озере Волчьем вечерние ветры ворчливы,
Не дуют, а кружат, как будто пропажу ища...
А может, ворчливы не ветры, а старые ивы —
И бог камышовый, что трется о полу плаща.

Полоска заката коснется воды, догорая,
И чья-то судьба — на мгновение только —
мелькнет:
Камыш порыжелый, да лодки резина сырая,
Да шепчущий что-то
не сдавшийся темени рот...

Ни тени удачи, манящей добычей грошовой,
Ни темного жара последней любви шальной.
Лишь темные воды,
да маленький бог камышовый,
Да вечное небо — в разрывах деревьев —
со мной...

Над волчьей водою качаются ивы устало,
Но дальнее небо еще с темнотой не слилось.
И в редких просветах
простора щемящего мало,
А было бы много —
к чему бы так сердце рвалось...

* * *

Ты снилась мне, Река,
А я не знал, что снилась:
В груди, как у мыска,
Течение теснилось.

И все, как наяву,
Как наяву, бывало:
К тому мыску листву —
И луны прибывало...

Восторг... И боль. И злость.
Заката угасанье.
И незнакомых лоз
Знобящие касанья.

Смыкала льды тоска.
Даль полыньей дымилась...
Ты снилась мне, Река,
А я не знал, что снилась!

Смеялся. И тужил.
Шептал теченью: «Вытай!»
И тем теченьем жил,
Как крутояр подмытый...

* * *

Вовсе не глухи вода и камыш,
Немы лишь, немые лишь...
Что ж ты в потемках пришло и стоишь,
Озеро Немереж?

Я и не звал тебя — просто шептал
Что-то потерянно...
Так, как ольховник, когда облетал
В стынущей темени.

Лист за листом — затихала листва,
О воду торкаясь.
Чтоб пожило в нас хоть час или два —
Тихое, тонкое.

Нет, не волнение, не грусть-полугрусть —
Жизнь недопевшая...
Слышишь, как, торкаясь, просятся в грудь
Дни облетевшие?

Вовсе не глухи, не глухи они, —
Немы лишь, немые лишь.
А на всем свете — одни мы, одни,
Озеро Немереж...

РОДИНА

Здесь щемяще, высоко, обрывно;
Здесь легко, заступив за черту,
С тополями лететь неотрывно
На ту сторону грусти, на ту!

И узнать, что там воздуха нету;
И отдать все, до вздоха, тоске,
И поплыть через бездну на эту
На сухом тополином листке...

* * *

Месяц-сазан дремлет меж камышовых мереж...
Ангел собирает со тьмы золотой виноград...
Кто-то ведет поперек человеческих меж
Край мироздания, что тонок и зеленоват...

Розное станет пред этой чертою — одним.
Вот и костер умирает — гляди! — как живой:
Пламя скулит, и в былое вжимается дым, —
И обрастает ветвями, корой и листвою!

Дым мимолетный — а ведь не истек, не исчез,
Не запропал меж ночных омутов и стремнин:
Ширясь и ширясь, выходит из времени лес —
И обнимает озябшие плечи равнин...

* * *

Идут твои снега — отсюда ли, сюда ли?
Но вот сюда тебя по кругу привели.
Где прошлое сквозит январскими садами —
От всякого жилья, от всех дорог вдали.

Январские сады и разглядишь не сразу.
Синеют, будто след, что полузанесен.
А в мерзлых почках мир — большой, зеленоглазый,
Сокрытый до поры — о жизни смотрит сон.

Шумерское письмо хранит сорочья наследь.
Но разгадать его — ни времени, ни сил.
И рвется дней кино, и ленту клеит — насмерть —
Вишневым клей, что ты невесть когда скусил.

И на губах еще горчит кора сырая,
Как будто говоря: «Не трожь меня, не трожь!»
Но разве жизнь поймешь... И, горечь с губ стирая,
Невольно все слова привычные сотрешь.

Но можно ведь сказать — сорочьими следами...
Пусть не поймет словарь, зависнет весь Инет.
И станет все, чем жил, январскими садами,
Чтоб там, где нет дорог, как чей-то след синеть.

ЕЩЕ ЦВЕТЕТ КИПРЕЙ

Еще цветет кипрей
По вырубкам и гарям,
Еще цветет кипрей,
Еще звенит пчела...
Но сердцу горячо
Недаром, брат, недаром
От музыки ночной
Утиноного крыла.
Еще цветет кипрей,
Еще помедлит выстрел,
И музыки полет
Свинец не оборвет...
Но низкий пал туман
И луговину выстлал,
И, кажется, в ответ
Метель вздохнет вот-вот.
Еще цветет кипрей,
Еще утрами жерех
Бьет о воду хвостом —
Весь в брызгах перекаат...
Но сумерки найдут
В осоках порыжелых
Тончайший посвист крыл
И грусть разбередят.
Тончайший посвист крыл
Как над водою слышно!
А может, просто слух
С годами все острее?
И молодость прошла,
И все так просто вышло:
Ни слез, ни горьких слов...
Цветет, цветет кипрей...



*Общая
тетрадь*

НАД СЕРЕБРЯНЫМ ДОЛОМ

Сергей Луценко

* * *

Потревожив уснувший ковыль,
Ночь взмахнула подолом.
Занимается звездная пыль
Над серебряным долом.

О, судьба вековая! Не ты ль
Шепчешь мне о бездонном?
Занимается звездная пыль
По-над домом и Доном...

И осталось — в истоме ночной,
Не жалея гортани,
Подышать этой пылью родной
До потери сознания,

И вдруг встать — и взглянуть в полный рост
На донское течение
И кипящими сгустками звезд
Смыть свое отраженье...

* * *

Заросли тропинки детства,
Заросли густой травой.
Никуда теперь не деться
От полыни горевой.

Где сосны певучий росщеп?
Где прибрежные кусты?

Я уже почти на ощупь
Нахожу свои следы.

Нет нужды гадать на скосе,
Все известно наперед:
Год-другой — и время вовсе
До пылинки их сотрет.

Только память-недотрога,
Пробираясь по лучу,
Скажет: «Здесь была дорога...» —
И я плакать захочу.

Слез бывшее не увидит,
Не вздохнет на склоне дня,
И никто встречать не выйдет
Заплутавшего меня...

Федор Григорьев

ТРОИЦА

*Деду,
Федору Павловичу Григорьеву*

Злой декабрь. На экране крохотном —
Бесконечный идет балет.
Дед в слезах: «Без Климента — плохо нам...»
Помню точно, что мне — семь лет.

Ночью — снег, и наутро домик наш
Занесен под самый конек!
Проводов обрыв — до Тамбова аж;
Отдыхает школьный звонок...

На расчистку — мужицкой троицей:
Дед, отец и я, суетной:
«Ничего, Федюшок, отроемся,
Откопаемся, — не впервой!»

Так всегда: то Чернобыль вскроется,
То упадок сил мировой...
«Ничего, мужики, отроемся,
Откопаемся, — не впервой!»

Отдохнувшие ли, усталые, —
Покумекают головой,
И лопатую пятипалую,
То есть, попросту — пятерней,

Разгребут, забудят, отстроятся,
Вспашут зябь и засеют клин.
Хоть и грешная, все же — троица:
Рабы Божьи
Дед, и отец, и сын...

ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ

*Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат...*

С. Орлов

Забыв бомбежки и пальбу,
В избе, в углу переднем,
Лежит солдат в простом гробу,
Известный и... последний.

Судьба давала имена:
Федот, Козьма, Ероха...
На кухне слезы льет страна
И в трауре эпоха.

А в головах, как перст — один,
Сошедший в мир с медали,
В лицо покойного глядит
Старик. Верховный. Сталин.

Вставай, солдат! Солдат, в ружье!
Последних — не хоронят:
Мы имя высвятим твое
В небесном Пантеоне!

Открыл глаза и встал солдат —
Егор, Демьян, Митроха...
И с ним плечо в плечо стоят
Судьба. Страна. Эпоха.

Юрий Силантьев

ПОХОРОНЫ ВЕТЕРАНА

Отцу — посмертно...

Полковника везли не на лафете, —
несли через поселок на плечах...
И обдувал июльский знойный ветер
сосновый гроб в чехле из кумача.

Отдельно — впереди — несли медали
и ордена за взятие городов...
Он не хотел, чтоб с ним их зарывали, —
он не хотел кладбищенских воров!

Стенал оркестр — пять музыкантов местных,
из меди выдувающих шедевр.
Шли провожающие позади оркестра, —
и каждый будто в пустоту глядел...

А там — уже распахнуты ворота.
И у могилы — ветеранов горсть.
И к крышке гроба приложивши, кто-то
старательно вбивал в фуражку гвоздь.

За взвод почетный — три милиционера, —
из пистолетов дали залп тройной...
И опустили в землю офицера, —
в стране нелепой, горькой... но родной!

РОТА

Окопная легенда

А у роты был веселый запев,
средний возраст у нее — двадцать лет.
Молодая, едет рота теперь
в батальон свой по российской земле...

Вот приехали туда, где война.
Пулеметы берегут мост чужой.
А нужна главштабу та сторона!
Нужен мост. И не поспоришь с судьбой.

Батальон уж поредел на войне.
Значит, рота — как подарок судьбы...
И рассказ пора заканчивать мне,
чтоб успеть, покуда я не убит.

Встала рота под огнем в полный рост —
накачал ее спиртягой комбат, —
и пошла на этот проклятый мост!
И пошла!.. И не вернулась назад.

Только это, пацаны, не конец...
Говорят, что в подмосковном селе
с пьяных глаз комбат отмерил свинец —
и ушел в слезах за ротою вслед...

Рита Одинокова

ДОМИК, ГДЕ ЖИВУТ ВОСПОМИНАНИЯ

*Посвящаю моим защитникам —
дедушке, бабушке, маме,
дяде Саше и Сереже Скалиновым*

Домик, где живут воспоминания
Под дощатым низким потолком.
Блинчики пузырчатые мамины
С маслом и горячим молоком.

Перекинут день на перекладине
Фартуком, что отдохнуть бы рад.
Чашка, на которой виноградины
Зреют сорок девять лет подряд.

В зеркале комода допотопного
Отражаясь, изредка пройдут —
Дедушка — обнять меня заботливо,
Бабушка — порядок чтобы тут!

Чай под полотенечком настоян,
Улочка за окнами в снегу.
И тепло давно уж не печное,
А трубу никак не уберу.

Так спокойней лютою зимою,
Верно под защитой чьей-то здесь...
Словно дом невидимой рукою
Держится за краешек небес.

* * *

О, жизнь! Пугает холодность твоя,
И ветер безразличья беспощадный.
В морозном откровенье ноября
Отсчет обратный...

Мир изо льда, и жизнь моя из льда.
И в горле ком сжимает туже, туже.
Не страшен путь в пустое Никуда,
А мысль страшна — что уж никто не нужен.

Лишь память... Навсегда, как мать в окне,
Вздохнув устало, перекрестит в спину.
Не думай, мама, плохо обо мне,
Я этот мир жестокий не покину.

Останусь я тутовником в саду,
И книжкой с красным зонтиком на стуле.
Я смеюсь внучки снова в жизнь войду
В каком-нибудь июле...

Алексей Шаповалов

* * *

А дождь хлестал... И молния рвала
Земли ночную черную рубаху.
И прятались во ржи перепела,
От грома натерпевшись вволю страха.

Смешалось все: и туч тяжелый вал,
И лес вдали, и поле за рекою.
И ветер разъяренный налетал,
Все рвал и мял холодной рукою.

И вымокли седины ковыля.
И с громом гром опять сшибались лбами.
И влагу запыленная земля
Ловила воспаленными губами.

Вдруг стихло все. Деревья, чуть дыша,
Прислушивались к ветра дуновенью.
Надолго ли? И дрогнула душа,
В миг тишины, найдя успокоенье.

* * *

Верни мой день. Я больше не хочу
Жить в тишине березового рая.
Здесь листья, безмятежно умирая,
Неслышно прикасаются к плечу.

Здесь я не твой в плену чужих огней,
И тусклый свет мой тревожит окна.
От слез и лжи давным-давно поблекла
Былая свежесть памяти моей.

Здесь на закате каждый куст в крови.
Продрогший лес смятением охвачен.
Верни мой день, в котором нет любви,
А день любви и так сполна оплачен.



Василий Песков

РЕЧКА МОЕГО ДЕТСТВА

Очерк

Воргольские скалы — былинный размах,
Славянское здесь городище?
Былое — забытый, развеянный прах?
Так что же, так что же мы ищем?

Эти строки, посвященные Василию Михайловичу Пескову, родились после нашей совместной в конце июля 1996 года поездки (Песков, Свиридов, Будаков) по бунинским местам подстепных, близ Ельца, земель. Побывали мы и в Ельце — в его Воскресенском соборе, в малых церковках, долго стояли на крутом берегу Тихой Сосны, изъездили и окрестные бунинские точки — Бутырки, Озерки, Каменку, Васильевское, Становую. Но особенное впечатление произвел на Василия Михайловича ущелистый Воргол — чистая прелестная речка в зарослях ракит и почти отвесные берега из могучего глыбистого гранита и песчаника. Он даже назвал Воргол среди немногих мест в мире (Антарктида, Большой Каньон, в весеннем разливе Мещерское полесье), наиболее его поразивших.

До этого я давно, лет тридцать уже, был знаком с Василием Михайловичем, впервые в 1965 году встретясь в Третьяковской, несколько памятных часов кряду проведя в доме, где жили его родители. Я тогда работал в «Молодом коммунаре» — творческой колыбели

Пескова. Лет за пять до этого случай на педагогической стезе свел меня с сестрой Василия Михайловича Марией Михайловной: в Сосновке, в одном пионерлагере, в одном пионеротряде я оказался пионервожатым, а Мария Михайловна — воспитательницей, к слову сказать, воспитательницей от Бога, требовательной и доброй, которую дети и слушались, и любили, несмотря на ее требовательность. Она много рассказывала о брате, о детских годах в Орлове, о хождениях брата по родным окрестностям и в Графскую, в Воронежский заповедник, который в народе называли Графским.

...Изредка встречались мы в Москве, изредка — не столь часто и в Воронеже — в редакции «Молодого коммунара», несколько раз в Воронежском заповеднике вместе с его земляками, моими друзьями журналистами Вячеславом Ситниковым и Анатолием Костиным. Зримые следы одной из таких поездок — фотографии в альбоме «Воронеж и воронежцы» (1973). Это был первый фотоальбом о Воронеже, предисловие к нему написал Владимир Александрович Кораблинов, в подготовке альбома участвовал и я как редактор и автор подтекстов к снимкам. В конце альбома был дан разворот о Воронежском заповедни-

ке, и украшением не только этого фото-ряда, но и всего альбома стал замечательный снимок Пескова: по большой зимней поляне цепочкой тянутся олени. Там же и помещен один из лучших снимков Костина — портрет Василия Михайловича с фотоаппаратом, — весьма удачно, счастливо уловленный миг...

В один из летних дней 2003 года мы побывали с Василием Михайловичем в недалеком от Воронежа селе Костенки — мировой археологической жемчужине. Большие лога в родниках, гряды глинисто-меловых холмов, широкая семикилометровая пойма Дона. В селе — более двух десятков древних стоянок.

Музей-заповедник «Костенки» расположен на избытке Аносова лога, на отвёршке, который называется — Странный. Музейное, кубических форм здание храняще укрывает древнюю стоянку — жилище, выложенное из сотен огромных костей.

Куда-то подевались наши авторучки. Директор музея подает незаточенные карандаши, а для заточки — осколок древнего кремневого наконечника, поразительно острого. Карандашом, отточенным столь необычным образом, Василий Михайлович записывает рассказ про здешнюю древнюю жизнь, которая на какое-то время живо и зримо предстает перед нами.

Окрестные холмы — в дубравах, березовых рощицах. Диковинные звери, словно в некоем естественном заповеднике, явились нашим глазам. Пещерный медведь, шерстистый носорог, овцебык, донской заяц, рослый, высотой едва ли не в метр. И, конечно же, мамонты, стада мамонтов. Люди охотятся на них, бродящих по холмам или в пойме. Пугая зажженным огнем, люди загоняют их в обрывные овраги и топкие старицы...

После услышанного спускаемся по лестнице к древней стоянке, к частоколу из костей мамонтов, и Песков долго фотографирует следы былой, давно утекшей жизни.



Василий Песков

В огромном музейном зале — полумрак. А когда выходим наружу, нас встречает осеннее солнце, мягкое и радужное. Звенит детский голос, гудит трактор, проносятся три празднично украшенных легковушки. Из глубокой древности возвращаемся в нынешний день.

День тот выдался счастливым. Прежде, на протяжении долгих лет, нам выпало говорить о разном, о многом, и нередко — в озабоченности иными срочными делами. На этот раз Василий Михайлович никуда не торопился, на нас обоих словно бы воздействовало дыхание истории, долгого пути, пройденного людьми с древности. Мы словно суммировали наши прошлые встречи и разговоры, и беседовали — все больше о малой Родине, Воронежском крае и его соотнесенности со всей Россией и со всем миром. Об этом и очерк Василия Михайловича, вызвавший в свое время колоссальный резонанс в стране, да и сегодня не утративший актуальности.

Виктор БУДАКОВ

Я исполнил наконец старое обещание, данное самому себе: прошел от истоков до устья по речке, на которой я выросал... В наш век все поддается учету. Подсчитали и реки. Их в стране, кажется, двести пятьдесят тысяч. Усманка обязательно попала в это число, хотя речка она и маленькая.

Для меня эта речка была первой и едва ли не главной жизненной школой. Если б спросили: что всего более в детстве помогало тебе узнавать мир? Я бы ответил: речка.

Мать говорит, что в год, когда я родился, заросли тальников, ольхи и черемухи подходили с реки к нашему дому, хотя дом стоял от воды почти в километре. В зарослях находились приют соловьи. Соловьиная трель по ночам была такой громкой, что приходилось закрывать окна, иначе спавший в подвешенной к потолку люльке младенец вздрагивал и ревел... Я соловьев возле дома уже не помню. Но дорожки к реке в поредевших зарослях лозняка, перевитого хмелем, в памяти сохранились. Лет в пять, замирая от страха, я осилил такую дорожку. И с того лета речка для меня стала самым желанным местом.

Плывать мы, жившие у реки ребяташки, учились так же естественно, как учатся в детстве ходить. Так же само собой приходило умение владеть веслом, переплыть плес, держась за лошадиную гриву. В какой-то момент мальчишка одолевал страх и прыгал, как все, вниз головой с высоких перил моста, пробегал на коньках по первому льду, который прогибается и трещит. Каждый человек должен иметь в своем детстве эти уроки. И у каждого из нас они были.

Однажды в солнечный день я опустил с лодки голову к самой воде и увидел гладких шустрых жуков, каких-то козявок, скопище мелких живых красных и черных точек.

Полдня мы пролежали с приятелем на носу лодки, наблюдая свое открытие.

А сколько радостей и открытий давала в детстве рыбалка! Рыболовами у реки становятся рано. Помню: ловля вначале велась подолом рубахи, потом старым мешком, потом удочкой на крючок, добытый у «лохмотника» за охапку костей и тряпок. Лет в десять на чердаке я обнаружил свою плетенную из хвороста колыбельку, и мы с приятелем стали владельцами снасти под названием «топтуха». На мелких местах двое мальчишек тихонько подводят к берегу снасть и начинают топтать, шелухать ногами в кустах и осоке. Вынешь «топтуху», в ней — щуренок или налим, язи, окуньки, пучеглазые раки. Окоченев от лазанья по воде, мы грели животы на песке и опять лезли «топтать».

С «топтухой» мы уходили далеко вверх и вниз по течению Усманки, и только теперь по-настоящему я могу оценить, сколь много дарил нам каждый день этих речных хождений.

Мы находили в пойме утиные гнезда, видели, как кидается в воду, вытянув когти, большая птица скопа, замечали, как невидимкой бегаёт по траве коростель, как, притаившись на одной ноге, терпеливо поджидает лягушек цапля. Мы находили бобровые норы, знали, на каких плесах в осоке дремали большие щуки, научились руками в норах ловить налимов и раков.

Сама речка, таинственно текущая издалека и уходившая по осокам и лознякам неизвестно куда, будоражила любопытство. Откуда, зачем и куда плывет задумчивая вода? Перебрав по пальцам знакомые села, я обнаружил: они все стоят на реке. В десять лет я думал, что это река, делая бесконечные петли и повороты, считала нужным пройти как раз у села. Лет в тринадцать я понял: не вода к людям, а люди тянулись к воде, вся жизнь ютилась возле воды. Возле воды по лугам бродили коровы, к реке на ночь сгоняли пасти лошадей, в июне косари валили над Усманкой

травы, к реке шли с ведрами за водой, к реке несли полоскать белье, у реки по вечерам деревенские девки собирались петь песни, по берегам в чапльгах ходили два сельских охотника Усанок и Самоха, с реки зимою на маслобойню возили в санях прозрачно-синие глыбы льда. Купание летом, костры на берегах осенью, плавание в лодке по весеннему половодью... Только теперь понимаешь, сколько радости дает человеку великое чудо — река, пусть даже маленькая.

Кажется, в книжке для третьего класса я прочитал рассказ «Откуда течет Серебрянка» — рассказ о том, как мальчишки решили узнать, откуда течет их речка. Я тогда еще думал: хорошо бы и нам по Усманке... Но прошло тридцать лет. И нынешней осенью вдруг я почувствовал: со старым другом надо увидеться.

Перед поездкой два вечера я просидел у книжек в библиотеке, задавшись простым вопросом: а что известно людям о маленькой речке? Оказалось, известно, и даже немало.

Первый в бумагах речку упомянул русский посол Михаил Алексеев, ехавший из Турции на санях (1514 год): «Бог донес до Усманцы по здраву». Другими словами, ничего с послом на опасном пути не случилось, а доехав до Усманки, посол почувствовал себя уже дома, хотя до Москвы было еще пятьсот с лишним верст. В то время по Усманке проходил юго-восточный край Русского государства. Степь, лежавшая за рекой, называлась Ногайской степью. Из нее на русские села (названия их сохранились поныне — Чертовицкое, Нелжа, Животинное, Ступино, Карачун) ногайцы совершали набеги: уносили имущество, брали скот, на веревках, привязав к седлу, уводили невольников. При царе Алексее Михайловиче решено было оградить государство от татарских набегов. Двадцать лет строилась знаменитая Белгородская черта — высокий земляной вал, деревянные надолбы и деревянные крепости-городки. На этой черте, тянувшейся лесостепью из-под Тамбова на юг, Усманка была естественным рубежом, через который не просто было прорваться. Сама река, леса по ней, болота и топи были преодолимы только на «перелазах». Вот тут, в уязвимых местах на пустынной, «богатой рыбными и бортными угодьями речке», русский царь велел построить крепости-городки.

1646 год. На Усманке против «татарского перелаза» строится городок с названием Орлов. «За год двести тридцать драгун — Кирюшка Бучнев и Савка Коноплин со товарищи построили город». Читая эти строчки в пожелтевших бумагах, я волновался. Я вспомнил, что в пятом классе сидел за одной партой с Ваней Бучневым и был в нашем классе отчаянный двоечник Коноплин Петька. Наверняка это были потомки тех самых «драгун», рубивших крепость на берегу Усманки в 1646 году. Наверняка те самые двести тридцать служилых людей дали начало распространенным в нынешнем Орлове фамилиям Солодовниковых, Песковых, Прибытковых...

Жизнь моих сельских пращуров была беспокойной. Леса, земли и воды было тут много, но каждый час ждали набегов. Сторожевым постам, выступавшим за Усманку в «дикую степь», воевода предписывал: «Два раз кашу на одном месте не варить. Там, где обедал, — не ужинать. Там, где ужинал, — не ночевать». Одним словом, глаз да глаз нужен был на границе, проходившей по Усманке. Орлову городку надлежало охранять по реке линию в двадцать восемь верст. Это как раз те места, где я мальчишкой ловил налимов и раков.

Петр I, начав строительство кораблей, из селений по Усманке требовал провиант, лошадей для вывозки леса, плотников на строительство, в селе Парусном шли для кораблей паруса, в селе Углянец (от Орлова в семи километрах) жгли уголь для кузниц. В низовьях Усманки, на затоне Маклок, была основана «малая верфь», где строились легкие челноки и лодки довольно больших размеров.

Еще я узнал, что Усманка — это значит красивая. Она оказалась почти единственной речкой в нашей стране, где к двадцатым годам этого века сохранились бобры и где расположен сегодня Воронежский заповедник.

Усманка течет с севера к югу, а потом делает петлю и течет назад с юга на север. Длина реки — сто пятьдесят километров. Эти сто пятьдесят километров мне с пошком и предстояло пройти.

Начало реки... Для меня всегда это было притягательной тайной.

Началом Усманки я ожидал увидеть родник (думал: напьюсь незамутненной воды и пойду), но я ошибся. Истока речки долго не мог найти. Наконец общими усилиями пастуха, двух стариков и молодого шофера место рождения Усманки было предположительно найдено. Между деревнями Московкой и Безымянкой лежит понижение, когда-то непроходимое из-за топей, зарослей тальников, камышей, ветел, берез. Из этого «потного места», «кишевшего куликами и утками», тихо и незаметно утекал ручеек, названия которому тут не знали. Теперь «потное место» было сухим. Несколько одиноких ветел росло между полями подсолнухов и пшеницы. Хорошо приглядевшись, можно было заметить что-то вроде ложбинки. Простившись со стариками, я и пошел почти незаметным руслом. И только к вечеру в гриве осоки и почерневшей таволги увидел зеркальце чистой воды. Размером с городское окно колдобина, но вода светлая, в ней отражалось вечернее небо и куст лозняка с лимонными листьями. Я умылся у бочага, до смерти перепугав жившего в нем лягушонка.

С этого места русло я уже не мог потерять — оно обозначено было по полю полоской высокой травы. Русло без мостков и каких-нибудь насыпей пересекали полевые дороги.

— Это Усманка? — спросил я шофера, гнавшего по дороге машину-цистерну.

— Усманка, — сказал парень.

— А что везете?

— Воду везу на ферму со скважины. Речка у нас вон какая теперь...

Речка была без воды. В любом месте полоску трав можно, было пройти, не замочив ноги. На несколько километров — сухая степь, и в ней травяной призрак реки...

Первую ночь я провел в стогу пшеничной соломы. «Гостиница» эта кишела мышами. Мыши возились и шуршали около уха. Но было тепло и уютно. Светила большая луна. Синевато блестящая роса по озими. В «ногайской степи» за речкой двигался огонек трактора. Сова, привлеченная писком мышей, несколько раз неслышно пролетала у лаза в мою ночлежку...

А потом было девять дней путешествия. Я увидел, как в травах все чаще и чаще сверкала вода. По руслу тянулась цепочка мелких болотцев и озерков. Появились кусты лозняка, камыши, одинокие ольхи, кусты калины и ветлы. Протиснувшись в одном месте сквозь заросли, я в первый раз увидел в светлой воде маленьких рыбок. Река понемногу, постепенно и тайно набухала в зарослях родниковой водой. Но вода все еще не текла. Спичечный коробок, кинутый в светлую лужицу, так и остался на месте. На буграх по-над поймой белели в лозниках старые села: Стрельцы, Пушкири, Сторожевое. Под селом Красным я присел закусить, наблюдая за мальчиком с удочкой. И тут в первый раз услышал журчание. Я подошел к мостику для полоскания белья и увидел: поплавок на удочке у мальчишки медленно тянет течение. А в узком рукаве между камышами вода журчала и маленькой силой своей качала одиноко стоявшую камышинку.

Так зарождалась речка. Текла она, как все равнинные воды, извиристо, то разливаясь неширокими плесами, то ручейком, по которому проплыл бы только бумажный кораблик. Встречаясь с людьми, я заводил разговор о реке. И все до единого разговоры кончались невесело: речка меняется. «Вот с этой ветлы перед самой войной мы прыгали вниз головой, лет пять назад можно было еще купаться. А сейчас — тапочки не замочишь...»

За городком Усманью речка делает поворот и прячется от людей в лес. Попытавшись двигаться поймой, я понял, что в этом месте Усманка превращается в Амазонку: непролазные чащи крапивы, ольшаника, топи, заросшие лозняком, болиголовом, крест-накрест лежат осины, срезанные бобрами, — не то что пришедший ворог когда-то, но и здешние люди сегодня не рискнут перейти Усманку в этих местах. Лесными дорогами, оставляя речку по правой руке, я прошел до знакомых кордонов, и тут, взяв лодку, мы с приятелем двигались уже водным путем.

Для лодки и тут, в заповеднике, река во многих местах непролазна, она заросла, заболотилась, обмелела. Но сердце у меня притихло от радости, когда уже в сумерках лодка выбралась на широкие плесы. Нигде в другом месте я не видел более тихой воды. Черные ольхи и зеленые ивы отражались в красноватом вечернем зеркале. Речка разрезала тут знаменитый Усманский бор. И вся жизнь заповедного леса тянулась сюда, к берегам. Пронесся, едва не чиркая крыльями воду, и сел на упругую ветку голубой зимородок. Козодой летал, почти касаясь крыльями лодки. В кустах, за вывороченным половодьем ольховым коблом, кто-то топтался и чавкал. Неслышно опуская весло, мы подплыли вплотную и замерли. В двух метрах от лодки кормилась семья кабанов. Протянув весло, я мог бы достать темневшую из травы спину беспечного годовалого поросенка...

Три часа, не спеша, мы плыли по вечерней реке. Две стены черного леса, а между ними — полоса неба вверху и те же звезды, повторенные сонной водой, внизу. В глубине леса ревел олень. Ему отзывался второй от реки. На берегу, как залетные пули, прошивали кроны дубов и тяжело падали в темноту желуди. Иногда желудь срывался в воду, и тогда казалось: не с дерева, а с самого неба падало что-то в реку.

При свете фонарика я записал в дневнике: «Заповедные плесы. Счастливым день. Все было почти как в детстве...» Я не знал, что завтра и послезавтра будут у меня грустные дни.

А началось все сразу за воротами заповедника. Вода кончалась насыпной плотинкой, и стало ясно: не будь плотины, плесов бы не было. Всего, что собирает Усманка в верхнем течении и в заповедных лесах, едва-едва хватало для сохранения старых бобровых плесов. А ниже плотины лежал сухой и черный каньон. Берега с обнаженными корневищами пней, с налимьими норами и всем, что составляло когда-то тайну реки, теперь были сухими и пыльными. Ключик посередине песчаного дна был таким мелким, что красногрудая птичка, прилетевшая искупаться, едва замочила лапки. Но плотина была нужна заповеднику. Я вспомнил: и раньше хорошую воду на малых равнинных реках держали мельничными запрудами (на Усманке их было, кажется, девять). Но через слив у плотины всегда бежал избыток воды, и, главное, на всем течении речку питали подземные родники, прибрежные бочаги и болотца, ручьи, бежавшие из лесков и с мокрых лугов. Теперь тощая Усманка, выбегавшая из леса в открытую солнцу и ветру степь, ничем не питалась...

Около сорока километров прошел я почти умиравшей рекой. Это были знакомые с детства места, знакомые села: Приваловка, Желдаевка, Енино, Лукичевка, Углянец. В тех местах, где были когда-то лески и нависавшие над водой лозняки, не было теперь ни единого кустика, ни единого деревца. Лугов тоже почти не осталось. Пашня подходила местами до самой воды. Местами побуревшая пашня была брошена, на ней качались чертополохи и малиновым цветом маячил колючий татарник. Ни одной мочажины, ни единого ключика не текло в реку. Местами можно было только угадывать руслица пересохших ручьев. Река, прежде кудрявая от растений и таинственная оттого, что в воде все повторялось, как в зеркале, теперь лежала раздетая и беззащитная. Берега, обозначившие прежнее русло,

теперь заполнены были смытым песком. И только посередине песчаной реки текла вода, местами такая мелкая, что были видны спины пескарей, убежавших от моей тени...

У деревни Углянец, единственный раз в среднем течении, встретил я рыбаков. Четыре продрогших парня поочередно бродили в воде с маленьким, частым, как решето, бредешком. В пластмассовом прозрачном мешочке был жалкий дневной улов — десятка два пескарей и в ладошку — щуренок. И это были места, где «топтухой» я ловил ведро рыбы, где взрослые бреднем и неводами ловили пудовых щук и в одну тоню доставали полвоза лещей, где местная рыба была таким же обычным продуктом питания, как и картошка...

Наиболее грустным был час, когда я дошел наконец к местам, особенно мне дорогим. Вот бережок, на котором я любил сидеть с удочкой. Теперь от него до воды по песку шагов сорок. Вот «Селявкина яма». Двое мальчишек, закатав штаны, возились у берега. С этого берега я прыгал вниз головой, а на середине плеса «не было дна». Я попросил мальчонку дойти к середине реки. Мальчик прошел через плес — и везде воды ему было ниже колен. В помине не было заводей с кругами зеленых кувшинок, с осокой и тальниками, с бело-розовым цветом куриной слепоты. Вон там, где проходит теперь дорога, был мостик, с которого полоскали белье, за ним было «девичье куплище», где утонул не умевший плавать юродивый нищий.

Не было у реки теперь луга, опушенного лозняком и раkitами, луга, где на моей памяти мальчишки пасли лошадей, где вызревали богатые сенокосы, где в топких местах водились утки и чибисы, где в самом начале лета на Троицу собирались повеселиться несколько тысяч людей из села Красина, из Орлова, из Горок. Теперь луга были вспаханы. И остаток зеленого лоскутка исчезал у меня на глазах. По-над берегом, взад-вперед ходил голубой трактор с плугом. Пыль бурым холстом повисала в том месте, где обычно по осени лежали туманы...

Я подошел поздороваться с трактористом и спросил: что собираются тут посеять?

— А хрен ее знает что! Расти ничего тут не будет.

— Зачем же пашете?

— А наше дело какое, наше дело пахать...

Не стану перечислять всех людей, с которыми пришлось говорить в эти дни. Единодушно все сокрушались: «Да, река...» Но отчего? Кое-кто помоложе пожилым плечами: «Не пойдем. Сохнет, и все...»

В деревне Енино я полдня посидел с Павлом Федоровичем Ениным. Старика я встретил на берегу. Он сидел, опершись на палку, и вел разговор с бабами, доившими коров по другую сторону речки.

— Что, дедушка, вышел погреться? — приветствовал я его голосом, каким обычно говорят с малышами и стариками.

Но старик ответил трезво и рассудительно:

— Мне, сынок, тут, у речки, и курорт, и телевизор, и все, что хочешь...

Старику было девяносто два года. Но только ноги отказались ему служить. (Внук Мишка приводит деда к реке.) Голова у этого, наверно, самого древнего человека на Усманке в полной исправности. Мысли ясные, а редкой памяти я позабывал. Старик во многих подробностях, с именами друзей, погибших и выживших, рассказал о войне в Порт-Артуре, где он отличился. Я услышал, как тут, возле речки, в июне 1903 года за самовольный покос монастырского луга пороли енинских мужиков. «Сам губернатор с войсками приезжал из Воронежа руководить поркой». Старик помнил не только имена мужиков, но также и количество плеток, «определенных для каждого доктором». Старик вспомнил, как держался каждый из тех, кому задирали рубаху и клали книзу лицом. «Митроха Акинъ-

шин показал кулак губернатору: я, ваше превосходительство, так могу стукнуть — кости не соберете... Ему, Митрохе, больше всех и досталось. А Иван Бородин сам лег. Братцы, говорит, не робейте. Земли наберите в рот, чтобы крику бабы не услышали».

За «хожалость и опытность» в двадцатых годах Павла Федоровича выбирали первым председателем в Орловский сельский Совет. Но главным и любимым делом, о котором старик вспоминал с удовольствием, была мельница. «Она помещалась как раз вот тут, где сидим... А там, где бабы с ведрами переходят, была плотина. Каждое лето плотину всем миром строили. Я мельником был...»

Усманку Павел Федорович знал хорошо. И когда зашел разговор о переменах на речке, сказал:

«Без причины, сынок, и прыщик не вскочит. Всему есть причина. Вон, видишь, синеет пустошь? Там был лесок. Его срубили. Далее под Углянцем лес подходил к самой речке. Тоже частично срубили. Под Орловым хороший осинник и березняк рос. Срубили. Около Горок ольшаники были. От них остался маленький лоскуток. Вот уж совсем недавно тут у нас около Забугорья ольховый лесок свели.

Рубить начали, помню, в 14-м году. Рубили воровски, считая, что рубим «не наше», а чье-то чужое. Орловский лесок свели в 23-м хавские мужики. Считали: «Теперь это наше, можно распоряжаться». В войну беда заставляла рубить. Солдаты рубили, чтобы мосты навести, вдовы рубили — детей обогреть. Позже, считаю, рубили просто по глупости — все, что росло над рекой, было как бы ничейное. Срубили лески, срубили до хворостинки и отравили коровами лозняки. Вот и раздели речку до основания. Ключи, которые текли из лесков и болотин, высохли. А потом пошла пахота. Пашут до самой воды. Смытая в речку земля забила, затянула все родники. Откуда же братья воде?..»

...Трактор, пахавший луг у Орлова, я встретил на другой день после встречи с енинским стариком и сразу пошел в село той самой улицей, по которой в детстве бегал к реке. Хотелось узнать: велика ли корысть от пахоты возле речки?

Директором Орловского совхоза оказался однофамилец мой Песков Илья Николаевич. Я приготовился к драке. Но неожиданно ни директор, ни сидевший в конторе агроном Михаил Семенович Котов драться не захотели.

— Да, речку губим, — сказал агроном.

— Губим. И, главное, без толку губим, — сказал директор. В разговоре проявилась такая картина. Орловский совхоз решено было сделать овощеводческим: «Вы близко к городу, у вас речка, ведите поливное хозяйство...» — «Мы возражали против распашки лугов. (Возражали, как видно, робко!) Но нас не послушали». В результате привезли в совхоз из Воронежа карту «овощного севооборота», где обозначено было, что осушить у реки, что распахать, где убрать остатки кустов.

Распахали по этому плану шестьдесят шесть гектаров приречных лугов.

— Наверно, большой урожай собираете?..

Вот точная запись директорского ответа: «В 67-м году взяли с гектара по сто тридцать центнеров огурцов. В 68-м взяли столько же. А в 69-м — ноль. Ничего не взяли... Теперь эту землю даже и залужить вряд ли придется».

Вот он, печальный итог пахоты возле речки: лугов, на которых, плохо ли, хорошо ли, кормилась скотина, теперь нет; обезвожена речка (поливать пашню в пойме, как теперь выясняется, нечем — «мальчишки, дурачась, запрудят верху ручеек, и все, воды у нас нет»); и нет злополучных огурцов, ради которых составлялась в областном центре земельная карта, ради которых и теперь еще трактор продолжает распахать пойму.

Мне захотелось узнать, чьей же мудростью все это освящено. Директор достал из сейфа затейливо разрисованный ватман, и я прочел: «Воронежская землеустроительная экспедиция. Начальник — Боженков, инженер — Ягодкин, начальник партии — Симонов».

— Скажите, Михаил Семенович, — спросил я совхозного агронома, — что это — неграмотность? Или дело в чем-то другом? «Устроителям земли» и вам лично разве не ясно было, чем кончается пахота берегов тут, на степной речке?

Ответом было молчание. Этим разговор и окончился. Бывают минуты, когда людям стыдно глядеть друг другу в глаза.

Остаток пути по Усманке показал: там, где сохранился в пойме кустарник, где берегли хотя бы малый лесок и земли не тронуты плугом, речка сразу же оживает. Получая сверху лишь малость воды, Усманка в этих местах живет «автономно». Появляются родниковые плесы, тростниковые заводи. Уж нельзя беспрепятственно проходить берегом — путь преграждают топкие луговины и ручейки. В таких местах вода наполняется жизнью. У села Горки первый раз за дорогу я спугнул стайку чибисов и встретил мужчину-удильщика. А выйдя на лесной берег под Новой Усманью, не поверил глазам — большой ширины водная гладь сверкала под солнцем.

— Это что, озеро?

— Нет, это Усманка, — отозвался парень, чинивший лодку.

Таковыми же плесами река разливалась и у села Репного. Полоса леса и мокрый, заросший лозняком луг питали водой и хранили Усманку в этом месте. Я присел возле Репного на бережок. Десятка два лодок стояло тут на приколе. По воде расходились круги от рыб. Плесы казались бездонными. Чуть пожелтевший лес спускался к самой воде. От реки в чащу уходили поросшие ежевикой тропинки. Вот такой я помнил речку моего детства. Такой хотелось видеть ее во всем течении. Просто не верилось, что широкие плесы небрежением человека превращаются в жиденький, бегущий по пескам ключик.

И последняя дневниковая запись: «От Виневитинского кордона плыл до устья на лодке...»

Выбегая из бора, речка делает в травах у лозняка прощальный изгиб. И вот уже, приподнявшись в лодке, я вижу воды другой реки. Сейчас Усманка с ними сольется. Рядом с лодкой плывут кленовые желтые листья, плывет оброненное птицей перо. Вода светлая, торопливая. Куст ивняка... И вот уже нет Усманки — лодка плывет по тихой реке с названием Воронеж.

У каждого из нас есть «своя речка». Неважно какая, большая Волга или малютка Усманка. Все ли мы понимаем, какое это сокровище — речка? И как оно уязвимо, это сокровище?! Можно заново построить разрушенный город. Можно посадить новый лес, выкопать пруд. Но живую речку, если она умирает, как всякий живой организм, сконструировать заново невозможно.

Последние годы во всем мире идет озабоченный разговор о воде. Вода становится одной из главных ценностей на земле. Но когда говорят: «Миссисипи мелеет» или «мелеет Дон», не все понимают, что корень проблемы лежит на берегах маленьких Усманок и даже безымянных речек и ручейков. Жизнь зародилась, осела и развивается около рек. Только-только пробившийся из земли ключик без пользы уже не течет. Но, кроме благ и радостей, отдаваемых всему живущему на ее берегах, речонка упорно несет свою воду в «общий котел», из которого пьют сегодня огромные города и крупные промышленные центры. И если какой-нибудь город начинает страдать от жажды, если мелеют большие реки, первую из причин этому надо искать там, где расположены «капилляры» водной системы, — на малых речках.

Проверим это, к примеру, все той же Усманкой. Река эта — главный приток Воронежа. Воронеж — река немалая. На ней, как известно, родился российский флот, на ней вырос большой промышленный город. Но город вот уже несколько лет страдает от жажды. Решено создать под Воронежем «море». Плотины построили исключительно для того, чтобы задержать воду, ибо река не в силах уже напоить промышленный город. Слов нет — город велик, воды надо много. Но, с другой стороны, и река, по которой когда-то шли на Азов корабли, основательно обмелела. А это следствие того, что главный ее приток и еще какие-то речки и ручейки недодают воду.

В чем я вижу смысл разговора об Усманке? В том, чтобы каждый понял: рек незначительных нет! Надо беречь каждый ключик, каждый ручей. Только так можно уберечь Радость, которую нам дают текущие воды, и возможность в любую минуту утолить жажду. Ибо нет на земле напитка лучшего, чем стакан холодной чистой воды.





Владимир Кораблинов

КРЕПКАЯ ЖИЗНЬ

Владимир Кораблинов родился 31 июля 1906 года в недалеком от Воронежа Углянце — селе, известном еще со времен Петровского корабельного строения. Отец, священник в местной церкви, был образованным человеком. В доме имелась добротная библиотека, и мальчик рано пристрастился к чтению. С малых лет проявилась в нем тяга и к сочинению стихов, и к рисованию. Учился в гимназии, в Воронежских художественных мастерских. Брал уроки у известного живописца Бучкури.

В двадцатые годы будущий писатель начинает публиковаться в местной и столичной периодике. Бывает в Москве, встречается с Платоновым, Новиковым, Пильняком, Новиковым-Прибоем, Воронским. В 1927 году Маяковский, после приезда в Воронеж, печатает в «Новом лефе» отрывки из кораблиновской поэмы о декабристах.

В 1931 году, в апрельскую ночь, Кораблинова, художника издательства «Коммуна», арестовали и доставили во внутреннюю тюрьму ОГПУ. Ему и нескольким его друзьям и знакомым предъявили обвинение в антисоветской деятельности. В тюрьме он оказался в одной камере с Путинцевым, основателем литературного музея имени И.С. Никитина, известным ученым-фольклористом, проходившим по «делу краеведов». Большой знаток и почитатель творчества народных поэтов России — уроженцев Воронежа, Путинцев усилил и углубил в молодом сокамернике историко-литера-

турный интерес к родному краю. Он в известной мере и подвигнул Кораблинова на замысел романа «Жизнь Кольцова», воплощенный лишь через четверть века...

С сорок первого по сорок пятый годы, за вычетом эвакуационных месяцев, приют семье Кораблиновых дает Борисоглебск. В авиационном училище художник еженедельно выпускает «Таран» — насыщенное военной тематикой «окно сатиры».

После войны Кораблинов перебирается с семьей ближе к Воронежу. Живет в Графской. Ежедневно ездит в город, где он сначала — художник областного книжного издательства, затем — газеты «Коммуна», наконец — «Молодого коммунара».

Молодежную редакцию вскоре возглавил Борис Стукалин, будущий подвижник журналистского, издательского, литературного дела в стране, министр печати СССР, государственный и общественный деятель, который пригласил в редакцию даровитых молодых. Владимир Александрович становится подлинно центром притяжения. Василий Песков, Алексей Прасолов, Анатолий Жигулин, сотрудники редакции и ее гости — все тянулись к нему. Как на огонек в ненастную ночь. В чем заключалась тайна его притягательности? Литературная молодежь тянулась к Личности, в которой счастливо, органично соединялось и человеческое, и писательское. Широта души и энциклопедическая глубина познаний. Искренность и естественность во всем.



Владимир Кораблинов (в центре) с молодыми поэтами Романом Харитоновым, Олегом Шевченко, Эдуардом Пашневым, Анатолием Жигулиным. 1961 г.

«Человеком-университетом» назвал его знаменитый писатель-эколог, публицист В.М. Песков в одном из очерков о начале своего журналистского пути. Благодарственно и тепло вспоминает о нем (и не только как об авторитетном и опытном газетчике, тонком ценителе и знатоке литературы, человеке, обладавшем безупречным литературным вкусом и житейской мудростью) Б.И. Стукалин в замечательной книге воспоминаний «Годы, дороги, лица».

После романа о Кольцове, изданного в 1956 году столичной «Молодой гвардией» и неоднократно затем переизданного, жизнь Кораблинова обретает житейскую и творческую устойчивость. У него статус профессионального писателя, квартира в Воронеже. Оставлена долго длившаяся газетная поденщина. Год за годом выходят в свет его книги. О выдающихся событиях на Воронежской земле. О великих земляках.

Однажды, в беседе с молодыми прозаиками, Кораблинов поведал о том, как рождался роман «Жизнь Кольцова». В послевоенном пригородном поезде всякий будний день, поутру и на ночь глядя, добирался он из Графской в Воронеж и обратно. Под колоннадное

мелькание мачтовой вознесенности сосен заповедного Усманского бора хорошо думалось, зримые и мысленные картины, исторические вехи, имена, подчас самые неожиданные, шли прихотливой чередой. В осенний вечер, когда электричка невесть почему надолго остановилась в глубине леса, «явился» поэт-прапол. С такой очевидностью характера, песенной души, поступков и даже «подсказывающими» речами — что оставалось только сесть за письменный стол.

Тайны творчества необъяснимы. Что дает импульс к написанию книги? По рассказу Владимира Александровича выходило, что и разлив сосен с редкими свечами берез, и девушка, одиноко уходящая по тропинке в лес, и белый косяк стригунков у тиховодной речки, и далекая степь, и старинные воронежские улочки... Отсюда, от речки Усмань, от сосен да берез, росших за околицей, да от несправедливо-красивого слова углянских жителей, берегших и творивших живую русскую речь, от их трудных судеб — и слово писателя, его замечательные книги о родном крае, столь значимом для Руси и России.

Виктор БУДАКОВ

На реке Воронеже, по крутым зеленым холмам раскинулось древнее село Чертовицкое, а по краям его — две горы.

Лет двести, а то и триста назад на одной из них жил боярский сын Гаврила Чертовкин. Много позднее на другой горе, версты на полторы повыше чертовкиной вотчины, обосновался лесной промышленник по фамилии Барков. Ни тот, ни другой ничем замечательны не были: Чертовкин дармоедничал на мужицком хребту, Барков плоты вязал, но горы, на которых жили эти люди, так с тех давних пор и назывались по ним: одна — Чертовкина, а другая — Баркова.

Обе они лысы, обрывисты обе, с каждым весенним половодьем помаленьку в реку обваливаются. Баркова гора — белая, песчаная, с голубой глиной у подножия; срез у нее словно ножом отхвачен, гладкий, но слоеный какой-то, полосатый, а Чертовкина — та вся глиняная, рыжая, изгрызенная обвалами.

Между горами — цепочкой по холмам — избы, зеленые гривки садов, старое, разгороженное кладбище, где среди покосившихся крестов бродит белая коза, где заросли пахучей полыни над безымянными могилами и, похожая на развеселую пляшущую бабу, растрепанная ветрами ветла...

Горы, холмы, сады, избы длинной чередой вытянулись вдоль реки, и сверху над всей этой красотой — просторное небо, то высокое, синее, с лебедиными стаями белоснежных облаков, то низкое, с грозowymi тучами, серое в осеннее ненастье, как небеленый холст. А внизу — река, и в ней то же небо, и кажется, будто село со всеми его холмами, с его глинистыми и песчаными обрывами повисло в воздухе. И все это такое наше, русское, милое, нежную любовь к чему мы несем в себе с детских лет.

Река виляет туда и сюда, каждый ее поворот — это как новая страница в великой книге природы. Вот вода сделалась красноватой, — тут у нее древесный настой, потому что река длинным заливом уходит в черноту ольхового леса. Вот на самой глубине стоят три старые ольшины по пояс в воде. Как они очутились здесь? Да очень просто: весеннее половодье подшутило! Вот огромный косяк горы обвалился, точно кусок пирога, ополз вниз на белую песчаную гладь — вместе с деревьями, травой, цветами иван-чая и конского щавеля... И уже костер дымится на оползне, разбита палатка, и зеленая лодочка покачивается у нового берега. Вот, наконец, старуха осина, подгрызенная бобром: стоит, не падает, видать, что-то помешало бобру доконать ее, и теперь дожидается она хорошего ветра, чтобы рухнуть в тихую воду, медленно набухая, утонуть, обрасти зеленой бородой водорослей и сделаться местом летней стоянки ярких, полосатых окуней.

Над самым селом весной и осенью пролетают дикие утки, ночуют в затонах, а то даже и возле крайних изб; часто подсаживаются к домашним уткам, и что за крик, что за тревогу поднимают тогда на реке домашние! Древний дух кочевья, видимо, просыпается в них. Бывает иной раз, что какая-то и не утерпит, увяжется за дикими, да куда ей: тяжела, неподъемиста, пролетит над самой водой вслед за дикими метров двести и, обессилев, тяжело плюхнет на воду, и до чего же кричит, до чего же тоскует по улетевшим! А те уже высоко над Чертовкиной горой и все выше, все выше забирают, только крылья посвистывают...

Плывет на черном челночке Харитоныч — искуснейший рыболов и лодочный мастер, человек слабосильный, крохотный, но как легко, как шибко бежит по воде чертовицкий челночок! Задрал кверху голову, глядит Харитоныч на улетающую стаю, посмеивается над домашней уткой. «Не берись, не умеючи, — приговаривает, — всякое дело, брат ты мой, превзойти надо...»

Харитоныч любит потолковать о мастерстве. Он сам — мастер. Он с презрительной усмешкой глядит на приезжего дачника, на его дорогие складные удильни-

ки, оснащенные замысловатыми катушками, фарфоровыми кольцами, пробковыми рукоятками. Все это блесит, поражает яркостью и дороговизной, но... все это, как говорит Харитоныч, «не в руках и без разума». Сядет такой рыболов со своей великолепной снастью, да и просидит без толку целый день. В садке у него — с десяток мелких плотвичек, плохонькие окуньки, калинки, чепуха, одним словом. А Харитоныч тут же, рядом, отсидит со своим ореховым хлыстом зорю, и у него на кукуане пара отличных судаков, похожая на старое березовое полено щука, а уж если окуни, так один к одному — полукилограммовые красавцы, не окуни — тигры... Что за оказия? Почему так получается?

Превзойти надо, вот в чем дело.

Споро, шибко бежит Харитонычев челночок, и нет на всей реке этой лодочке равных по легкости и послушности и даже по красоте. Харитонычевы лодки далеко славятся по округе, самое село тем прославляя. «Чертовичский челнок» — название старинное и само за себя говорит. Настоящий охотник не на чем-нибудь плавает, а именно на чертовичском челноке.

Неужто ж иных мастеров нет, кроме старика Харитоныча? Как не быть, есть, конечно, да все — не такие. Так в чем же дело? Да опять-таки в том, что *превзойти надо!*

Но что особенно хорошо в Чертовичском — это какая-то нетронутость, чистота в природе. Ведь до города — рукой подать, ночью в юго-западной стороне стоит зарево от воронежских огней, видны красные глазки телевизионной башни, московское шоссе рядом, а тут преспокойно пасется олений табунок; оленухи и телята не спеша подбирают под дикими яблонями опавшие, хваченные первым заморозком яблоки, а рогач вожак замер на песчаной круче, неподвижно, как статуя, стоит, провожает печальными глазами медленно ползущий на течение грузовой катер «Пережат» и длинный, тянущийся за ним караван неуклюжих черных барж.

Как-то раз поставили мы палатку в лесу у Нигочевского затона, хорошо расположились: рюкзаки, одежду развесили на деревьях, а ведра два картошки высыпали прямо в траву, у костра. Дело к вечеру, сидим, кашу варим. Подходит к нам лесник, — он тут неподалеку старый квартальный столб на новый заменял, — ну, закуриваем, конечно, разговор о том о сем — о рыбе, о погоде, о браконьерах. Вот уж и совсем смерклось, стал наш гость собираться, пожелал счастливой зари и совсем было распрощался, да вдруг увидел нашу картошку и говорит, посмеивается:

— Картошку-то в палатку приберите или на дубок, что ли, подвесьте, а то как бы без харчей не остались...

— Это, — спрашиваем, — как же понять?

— А так, что аккурат в этом месте кабаниха с поросятами ходит. Набредут на вашу картошку — потуда вы ее и видели... Ну, счастливо оставаться, пойду, — сказал, поглядев на ручные часы, — а то как бы к передаче не опоздать: нынче по телевизору «Тихий Дон», вторую серию показывают...

То-то мы, еще когда палатку ставили, заметили, что земля под дубами словно бы вспахана, вся изрыта: это, оказывается, кабаниха орудовала.

Картошку, разумеется, по совету лесника мы прибрали, завалились спать и спали крепко, ничего не слышали. А утром глядим — возле костра все взрыто, переверочено... Значит, приходила-таки!

Там же, в Чертовичском, одна женщина мне рассказывала, как ходила она за сахаром на Кожевников кордон, в ларек, и как к ней на обратном пути привязался енот.

— Бежит и бежит, чисто собака, что ты с ним сделаешь? Я стану — и он станет, я пойду — и он следом. Вот я повернулась к нему и говорю: «Ну, чего, дурачок,

пристал? Чего тебе от меня нужно?» А он — прямо как уразумел, что я с ним разговариваю, и не то чтобы брехнул в ответ, а вроде того: хамкнул, как муху поймал. У меня в кошелке батон был. «Ну-ка, мол, дай-ка я его угощу...» Отломил горбушку, кинула, а он, верите ли, словно того и ждал: цап ее да в кусты... Ну, собака и собака! А еще дикий зверь называется...

Вот какие в этих местах прямо-таки ручные звери, ничего не боятся. И ведь не какая-нибудь у нас нехоженная тайга, совсем нет! Очень даже шумно бывает на реке и в лесу, а особенно по субботам и воскресеньям. Столько народу из города понаедет — на моторных лодках, на собственных легковушках, на автобусах — ну, прямо тысячи народу! Тут и баяны, и гитары, тут и пляски, и песни, и чего только нет! И все бы это хорошо, почему не повеселиться, не отдохнуть на природе? Но есть и у этого веселья одна очень плохая сторона: водка, вино текут здесь разлитым морем, и часто от этого человек забывает, куда и зачем он приехал, и вместо благодарности лесу, воде и траве, вместо низкого поклона чудесной природе человек оставляет по себе дурную память: загаженную, притоптанную траву, осколки разбитой посуды, поломанные, примятые кусты и груды всяческого мусора.

И вот с понедельника начинают солнце, ветер и дождь прибирать на реке и в лесу, мыть, чистить, разглаживать и к субботе все как есть приберут, сделают, как и прежде было. А в субботу — опять понаедут, и снова начинается сказка про белого бычка.

— Разум с дурью борются, — очень верно сказал Харитоныч, — и в чью тут пользу ноль — само собой разумеется: природа пока одолевает, а вот как дальше обернется... Воздух тут чистый, и жизнь крепкая. У нас потому и старики — знаете, какие долговечные! До ста годов протянет и не охнет...

Харитоныч засмеялся, поглядел на солнце.

— Ну, бывайте здоровы, подаюсь ко двору, а то старуха заругается, она у меня — о! — Он восхищенно покачал головой, и, оттолкнувшись от берега, закончил: — Крепкая, крепкая у нас жизнь!





Светлана Алексеевна Ляшова родилась в селе Тхоревка Воронежской области. Окончила отделение журналистики филологического факультета Воронежского государственного университета. В настоящее время заведует Старокалитвянской библиотекой. Автор нескольких поэтических сборников, среди которых «Не загоститесь на земле», «Сорвется серп луны», «И вновь побеждает любовь». Член Союза писателей России. Живет в селе Старая Калитва Воронежской области.

Светлана Ляшова

СВЕТЛОКАЯ РУСЬ

* * *

А.П. Константиновой

«Российский санскрит» —
о стихах Вы сказали моих, —
Так метко и тонко
тональность находит стрела:
И неба — поющий, сквозящий —
касается стих,
И землю проходит насквозь золотая игла.
Вскрываются реки, и каждая жилка болит
У гор, у лесов, у холмов с богородской травой.
Он в каждой былинке —
полынный российский санскрит,
В него — безоглядно впадать,
уходить с головой...

* * *

Как хорошо, когда полы помоешь
И станешь ждать любимого домой,
О самом главном Господа помолитишь,
Наденешь платье с солнечной каймой.
Как хорошо, когда труды по силам,
Когда есть хлеб и слово про запас.
Как хорошо, что мы живем в России,
Где труд и бедность не оставят нас.

* * *

Когда светло сердца стучат,
Кружат неслышно херувимы.
Кто не любим, тот не богат,
Все остальное поправимо.

Все остальное, как всегда:
Авоськи, завтраки, болезни.
Все остальное, как вода...
И только чувства поднебесны.
Их силы света сторожат,
И осторожны и ранимы.
Кто не любил, тот не богат.
Все остальное поправимо.
Я по весне сажаю сад,
Твоим сиянием хранима.
Кто не любим, тот не богат.
Все остальное поправимо.

БУМЕРАНГ

Еще не возвратился бумеранг.
Поверх домов высотных и яранг
Он все летит, туманы рассекая...

А на Руси бессрочная зима:
Монетки слез калымит Колыма,
По именам безвинных окликая.

И так близка небесная слюда,
И так темны лихие города,
И деревеньки маются долгами.

Спаси, Господь, беспутную Москву,
Прости меня, что суетно живу,
Перекрести крещенскими снегами.

Над долготой смирительных разрух
Он все летит, оледеняя слух...
Как хорошо, что люди тугоухи!

Иначе все сходили бы с ума,
Пока на Русь накинута зима,
Пока почить готовятся старухи.,.

КРЕСТЬЯНОК ИМЕНА

Вязала лук в тугой венок Лукерья.
С утра Прасковья рушила пшено.
И Вера, верно, верила поверьям,
В начале века глядячи в окно.

Варвара густо варево варила,
Дарила Дарья меткое словцо.
У девушки по имени Мария
Светилось Богородицы лицо.

Крестьянок русских трепетные лица,
Имен криницы — как ни нареки!
Девчонка озорная, Василиса,
По полю шла, срывая васильки.

И Степаниду сушь степей палила,
А та трудилась, всех богов моля...
И девушку по имени Полина
Звала гармонь певучая в поля.

По насту Настя стылой зимней ранью
Поземкою уходит в мир стихий...
Но женщина по имени Светлана
Еще напишет светлые стихи.

* * *

Это в русской душе,
это в русской неспешной природе —
Пожурить, пожалеть, поделиться краюхой ржаной.
И последней рубахой, и репою на огороде...
Это в русской природе — холщовой да берестяной.
Это в песне степной и в наивной и кроткой молитве,
В безмятежном покое навстречу распахнутых глаз —
Светлоокая Русь родниковым причастьем разлита,
С чернобровой хитринкой, что глубже и не напоказ.

* * *

Разобщенность во мне. И шути — не шути,
Но совсем не смешно, как зачин анекдота:
Стану правой ногой на беззвездном пути, —
В ногу левой идти — ну никак неохота.
То ль ленивая я, то ль тропа тяжела?
Прикоснулась слегка — сук лишь треснул,
осклабась,
А от правой руки в землю сила пошла,
А от левой руки — непомерная тяжесть.
Пересилив себя, переспорив леса,
Я брела без дорог, передышки не зная.
А из правого ока скатилась слеза,
А из левого брызнула речка лесная...
И когда на опушке густая трава
Под ножом заскорузлых дорог
обрывалась,
В мое правое ухо влетела молва,
А из левого уха так и не появлялась.
А вокруг — благодать. Дни июня пьяны.
Ветер тихо качает гроздь
бесстыдниц-черешен.
Я — весы бытия. Мои чаши полны.
Мир мой уравновешен.



Николай Алексеевич Задонский (1900–1974). Родился в городе Задонске Воронежской губернии. Прозаик, драматург, очеркист. С 1917 года работал газетчиком. Член Союза писателей СССР с 1939 года. Автор неоднократно переиздававшихся в Воронеже и Москве историко-документальных хроник «Мазепа», «Денис Давыдов», «Смутная пора», «Донская Либерия» и др., нескольких сборников исторических и мемуарных этюдов.

Николай Задонский

МУРАВЬЁВ В ЗАДОНСКЕ

Очерк

Н

иколай Николаевич Муравьев впервые увидел Задонск ранней осенью 1816 года, проездом на Кавказ, и тогда же в своем путевом дневнике записал:

«Из всех уездных городов понравился мне наиболее Задонск: он выстроен правильно и похож более на большую мызу богатого помещика. Он лежит на косогоре, с полверсты от реки Дона...»

Муравьев никак в то время не мог предположить, что случаю будет угодно, чтобы он двадцать с лишком лет, в том числе и последние годы своей жизни, прожил в Задонском уезде, близ так полюбившегося ему городка.

Николай Николаевич приезжал сюда всякий раз, когда приходилось покидать армию или просто когда хотелось отдохнуть от светской суеты, которая была ему чужда, но которую случалось наблюдать в столице, появляясь там на самое короткое время.

Размышляя над увиденным и пережитым, он неизменно оставался ярым противником самодержавия, крепостничества, солдафонства и бюрократизма и старался как-то противостоять отрицательным явлениям неустроенного общества.

На всю жизнь запомнилась расправа царя над декабристами, которым Муравьев всячески помогал и покровительствовал до последних дней своих. Нет, не жалел Николай Муравьев,

что избрал свободолобивый образ мыслей, что судьба его соединилась с судьбами смелых, мужественных, честных, преданных высоким идеям и родному отечеству людей, — таких, каким он был сам. Нелегкий это путь жизни и борьбы. Он связан с жертвами. Но история, потомки поймут. Они скажут свое благодарное слово.

Как мы уже отмечали, Муравьев был соединен вторым браком с Натальей Григорьевной Чернышовой, родной сестрой Александрины, жены декабриста Никиты Муравьева. Из богатейшего чернышовского майората для Натальи Григорьевны было выделено село Скорняково в Задонском уезде, где проживало тогда свыше пятисот крепостных крестьян, существовали небольшая ткацкая фабрика, рыбные промыслы, но главным источником дохода было хлебопашество. Господа сюда не ездили, всем бесконтрольно распоряжался управляющий из вольноотпущенных крестьян Мокей Гапарин, жестокий и жадный плут, радевший только о своем хозяйстве и вконец разорявший крестьян.

Село производило самое неприглядное впечатление. Кособокие рубленые избы, крытые гнилой соломой, утопали в непролазной грязи. Кое-как огороженные плетнями дворы и огороды, замазанные глиной катухи, чахлые лозины, под которыми играли одетые в тряпье босоногие ребятишки, — всюду выглядывала неприкрытая бедность. Выделялись лишь недавно построенная каменная церковь да несколько кирпичных пятистенков, принадлежавших зажиточным мужикам.

Муравьев переселился в Скорняково в конце мая 1839 года. Жить здесь было нелегко. Барская усадьба и сад находились в невероятном запустении, небольшой деревянный дом хотя и был к его приезду отремонтирован, но низкие, тесные, полутемные комнатухи с плохо оштукатуренными стенами действовали угнетающе.

А на деревню между тем надвигалось грозное стихийное бедствие... Второй год центральные губернии поражала

страшная засуха. В конце мая поля были сожжены солнцем. Предстоял опять голод. Помещики оставляли своих голодающих крестьян на произвол судьбы, заставляли кормиться мирским подаванием, но могли ли Муравьевы поступить так бесчеловечно и уехать из деревни, оставив людей в беде? Вот первые записи, сделанные Муравьевым в Скорнякове:

«Скудная жатва, показавшаяся на полях, страшила уже поселян, как вдруг пожар в селе поразил всех ужасом. Это случилось ночью в конце июля месяца, когда весь народ был в поле. Надобно было выстроиться к осени, переселить несколько дворов, а всего более поддержать упавший дух в народе. Я купил лесу, возил его в самую рабочую пору, и удалось мне к осени выстроить 33 двора, что сопряжено, однако, было с чувствительным уроном доходов моих и в состоянии крестьян, пострадавших от огня. Я выбрал несколько семейств самых малонадежных к исправлению, перенес их ближе к полям и снабдил лошадьми и орудиями для работ. Место, где я поселил их, представляло большие выгоды в том отношении, что им не надобно было далеко ездить на работу, как здешним, у коих поля в восьми верстах от селения. Но там не было воды. Первые усилия мои для добывания оной были тщетны, вода в колодцах не показывалась, но мы наконец нашли ее. Я еще усилил воду построением плотины, и поселение, названное мною Пружинскими колодцами, сбылось...

А потом настала зима, зима холодная и без снега. Мы уже страшились лишиться семян, брошенных о землю осенью, и не имели достаточно продовольствия на зиму. Народ голодал. Надобно было выдавать хлеб и пособие. Толпы крестьян наполняли ежедневно контору; раздача производилась небольшими долями, чтобы была возможность продовольствовать их, до новой жатвы. Помимо того жена моя, руководимая одним движением сердца

своего, раздавала ежедневно печеный хлеб крестьянкам.

В течение всей зимы нас посетило новое бедствие: лошади, главное орудие крестьян, сталидохнуть; падеж продолжался с полугода и совершенно лишил нас сил к работе. Многие семейства обедняли до крайности, так, что они не могут даже обрабатывать собственных полей. А с началом весны появилась горячка, и после того распространилась цинготная болезнь, от которой погибло много народа. Я учредил два временных лазарета, в коих с пользой лечили больных и поставили на ноги многих изнеможенных до крайности болезнью. С появлением хорошей погоды болезни стали исчезать после больших опустошений, сделанных в отчине. Изнуренные, тощие люди на полуживых лошадях выходили в поле, где нужно было обращать более внимание на их собственные работы, чем на мой; не менее того, лишь небольшая часть крестьянских полей осталась незасеяною...»

Необходимо было прежде всего оказать существенную помощь крестьянам, как-то облегчить им жизнь.

Мокей Гапарин, к общей радости, был уволен и заменен уважаемым крестьянами бурмистром. Ткацкая фабрика полностью переведена на вольнонаемный труд. Введена небольшая денежная оплата за барские работы. На Лебедянской ярмарке закуплено более ста лошадей и сорок коров, розданных беднейшим крестьянам.

Все эти меры требовали средств, и на какой-либо доход с имения в первые годы не приходилось рассчитывать. Мало того, тратились последние скромные сбережения на постройку нового дома. Материальное положение Муравьевых ухудшалось.

Тем не менее подготовка к давно задуманному освобождению крестьян, что также требовало дополнительных затрат, продолжалась. Дело было нелегкое. Особо учрежденный комитет, разрешая помещикам частичное освобождение

крестьян, ставил при этом множество всяких препятствий. А крестьяне к господским планам освобождения относились недоверчиво. Кто знает, не готовится ли им еще худшая участь? Приходилось долго и терпеливо разъяснять условия и договариваться о подробностях.

В дворянско-помещичьей же среде всякая попытка дать волю мужикам вызвала яростное возмущение.

Крупнейший землевладелец Задонского уезда помещик Савельев, узнав стороной, будто Муравьев намеревается освободить своих крестьян, приехал из своего Ксизова в Скорняково. Савельев был вежлив, дипломатичен, он начал с жалоб на своих крестьян, избивших приказчика и разграбивших амбар с господским хлебом.

— Да, случай, что и говорить, неприятный, — согласился Муравьев, — но, возможно, приказчик сам какими-то грубостями подтолкнул крестьян к бесчинству?

— Никак нет, почтеннейший Николай Николаевич. Зачинщики, схваченные полицией, признались, что они просто давно не ели чистого хлеба. Просто! Экие каналы, право!.. Да, — тяжело вздохнув и посмотрев искоса на Муравьева, продолжал Савельев, — начинается-то дело господской жалостью да поощрением мужиков, а кончается тем, что в один прекрасный день облагодетельствованные эти мужички с топорами и вилами на вас обрушатся! Вот-с как оно в жизни бывает!

— Ну, а если с другой стороны вопрос рассмотреть? — сказал Муравьев. — Вас, кажется, в поощрении крестьянам упрекать себя не приходится. И что же? Разве не может статься, что крестьянский бунт прежде всего вспыхнет именно у вас? А ведь генерал Бенкендорф при мне однажды говорил, что крестьянские волнения более всего вызываются жестокосердием владельцев. И даже в самых высших сферах, — поднял он для пущей убедительности палец, — раздаются благоразумные голоса, что лучше самим постепенно освобождать крепостных, чем дожидаться новой пугачевщины.

— Помилуйте, ваше превосходительство, как же это так получается? Отказаться от древних дворянских прав! Самим подрубать сук, на котором сидим! Ведь ежели мой сосед даст волю своим мужикам... это же великий соблазн всем другим.

— Повторяю, попробуйте взглянуть на дело с другой стороны, — наставительно произнес Муравьев. — Пора бы нашему дворянству отказаться от дедовских понятий и научиться мыслить в духе времени...

— Значит... простите, ваше превосходительство, за откровенный вопрос... слух, будто вы имеете намерение дать волю своим крестьянам, имеет основание?

— Это уж мое дело, я никому отчетом не обязан, — холодно отозвался Муравьев. — Но вам, как земляку и соседу, советовал бы собственного благополучия ради впредь быть более осмотрительным в отношениях со своими крестьянами... Иначе мало ли что может случиться!

— Да, уж если в высших сферах так рассуждать изволят, оно, конечно, там виднее... хотя странно, весьма странно, — заключил, вставая, Савельев.

Летом 1841 года первая партия скорняковских крестьян получила волю и одновременно хорошие земельные наделы.

Пробыв под надзором земской полиции в Скорнякове свыше десяти лет, Муравьев, как мы уже отмечали, вновь был призван на военную службу и, будучи назначен главнокомандующим кавказскими войсками, превосходно послужил своему отечеству. Без какой-либо военной поддержки и без правительственных субсидий в короткое время он сумел собрать сильный действующий корпус, воодушевить войска, подготовить оборону Грузии и, удерживая Шамиля от нападения, завладеть Ардаганом и Карсом. Кавказ был полностью освобожден от интервентов. Севастополь и другие города в Крыму и на Кавказском побережье, взятые союзными войсками, были возвращены России в

обмен на занятые в тактических целях Муравьевым турецкие владения.

Карл Маркс и Фридрих Энгельс высоко оценивали военные действия талантливой русского генерала.

«Без падения Карса не было бы пяти пунктов, не было бы ни конференции, ни Парижского мирного договора», — писал Маркс.

«Заканчивается третья удачная кампания русских в Азии, — писал Ф. Энгельс. — Карс и его пашалык завоеваны; Мингрелия освобождена от неприятеля; последний остаток турецкой действующей армии — армия Омер-паша — значительно ослаблен как в численном, так и в моральном отношении... И если сопоставить эти успехи и действительные завоевания с тем фактом, что союзники заняли Южную сторону Севастополя, Керчь, Кинбурн, Евпаторию и несколько фортов на Кавказском побережье, то станет ясно, что достижения союзников фактически не так уж велики, чтобы оправдать бахвальство английской печати».

Статьи о действиях генерала Муравьева появились не только в европейских, но и в американских газетах и журналах. Прогрессивные силы России встретили известие о взятии Карса с безграничной радостью и восхищением. Но сменивший на престоле Николая Александр Второй, ненавидевший Муравьева, назначил на его место своего друга детства и фаворита Барятинского. А Муравьев вышел в отставку и вновь поселился в Скорнякове.

Судя по дневниковым записям и переписке, многолетняя почти безвыездная жизнь в Скорнякове была для Муравьева самым счастливым временем.

Построенный им из тесаного камня новый двухэтажный дом стоял на взгорье, и с балкона открывался чудесный вид на неширокую в этих местах, но быструю и чистую реку и на полевые просторы Придонья. А с другой стороны терраса, обвитая густым диким виноградом, выходила из дома прямо в

сад, за которым начинался сосновый лес. Библиотека, насчитывавшая десять тысяч томов, одна из лучших в России, помещалась в особом каменном флигеле. Там же Муравьев устроил и свой кабинет, где всюду со стен смотрели суровые и веселые лица близких сердцу, и среди них, как упоминалось ранее, видное место занимали писанные масляной краской портреты Никиты Муравьева и А.С. Пушкина. А в углу, у стены, стояла самая драгоценная реликвия — старинное бюро из красного дерева, некогда принадлежавшее сочинителю и поэту Михаилу Никитовичу Муравьеву, а затем его сыну Никите, который за этим бюро писал революционный катехизис и первую российскую конституцию декабристов. Никита скончался в сибирском изгнании, и мать его, Екатерина Федоровна, подарила бюро Николаю Николаевичу, как лучшему и верному другу сына.

Муравьев любил уединяться в кабинете, здесь готовил он книгу о путешествии в Турцию и Египет, приводил в порядок дневниковые записи и, говоря уже на десяти языках, продолжал изучать еще латинский и древнееврейский.

Но большая часть его времени уходила на дела по управлению жениным имением и на всякие изыскательские и опытные работы, которыми он увлекался. Николай Николаевич производил археологические раскопки близ Скорнякова, искал каменный уголь, устраивал искусственное орошение, сажал леса, помогал крестьянам разводить сады. Сельскую тихую и размеренную жизнь Муравьев предпочитал беспокойной жизни в шумных городах. Ему понравились привольные придонские места, он безотчетно наслаждался природой, легким утренним туманом над рекой, грибной свежестью в лесу, нежными летними закатами и золотым осенним листопадом.

В Скорнякове собирались бывшие декабристы. Приезжали Александр Муравьев и Захар Чернышов, шурин Муравьева, возвращенный с каторги, и Ев-

доким Лачинов, отбывший тяжелую солдатчину. Бывал в Скорнякове и Ермолов.

И все же жизнь Муравьева здесь не была безоблачной идиллией. Демократический сентиментализм, свойственный ему, в соприкосновении с действительностью дал небольшую трещину. Муравьев не мог не заметить, что гуманизм и благожелательное отношение отдельных лиц к крестьянам насущных вопросов их жизни решить не могли. Староста и приказчики продолжали если не открыто, то тайно притеснять мужиков незаконными поборами, крепкие хозяева гнули в дугу маломощных, и каждый недород, который случался почти ежегодно, отражался на деревне самым бедственным образом.

Деревенский дневник Муравьева полон горькими заметками:

«Бедные крестьяне изнемогают под бременем несчастий... Появившаяся от плохого питания цинготная болезнь свирепствует во всех окрестностях, производя страшное опустошение. У нас в марте умерло 25 душ, а в одном из соседних казенных селений жители семи дворов вымерли до последнего. Ужасны страдания народа. Пособия, делаемые мною больным, недостаточны».

Муравьев понимал, что нужны широкие преобразовательные реформы, правительственная помощь народу, однако в то время надеяться на это не приходилось.

Николай Николаевич часто приезжал в Задонск. Он останавливался у своего поверенного, или стряпчего, как их тогда называли, Ивана Ивановича Иванова, а иногда у настоятеля монастыря архимандрита Досифея. Задонские старожилы еще помнили, как старый, начавший сутулиться генерал проходил по городу, опираясь на палку, причем особенно любил бывать на Дону, где так чудесны тихие предзакатные летние вечера и где, по выражению задонских стариков, душа отдыхает.

Последние годы жизни Муравьев провел в Скорнякове, где и скончался от воспаления легких 23 октября 1866 года, завещав похоронить его как можно скромнее в тихом Задонске.

Муравьев жил в жестокое время, в сибирской каторге погибли его друзья и единомышленники; сам он долго находился под строгим надзором, и обстоятельства вынуждали его к осторожности. Поэтому он не мог в своих «Записках» сказать всего, что хоте-

лось, приходилось многое замалчивать, о многом говорить иносказательно, выказывая иной раз наружное уважение лицам, которые «уважения не заслуживали».

Он хотел, чтобы потомки приняли, при каких обстоятельствах делались им записи, и чтоб события, вынужденно им затушеванные, были добросовестно обнаружены в их подлинном виде. Он напомнил об этом и в своей последней дневниковой записи.





*Общая
тетрадь*

ВСЁ БУДЕТ ЖИТЬ

Александра Веретина

ВОЗДУХ

Если нас называют и видят калеками —
Обязательно — боль? Обязательно — груз?
Я как пыльная ведьма с зашитыми веками.
Я пытаюсь распробовать воздух на вкус.

Не сочувствуй мне!
Сердце откликнуться ленится,
И душа — раз глаза есть ее зеркала.
Если я их открою, хоть что-то изменится?
Я не знаю, но я бы сейчас не смогла.

Если я их открою, то что-то убавится! —
От инстинктов качнет в направленьи ума...
Забери свою мелочь. Я не христарадница.
Меня кто-то слепил, ослепила — сама.

Воздух нервный, сухой,
перепачкан дыханием...
Страх. Восторг. Вожделение.
Ненависть. Страх.
Воздух плотный и сытный.
Чреват привыканием.
Он совсем не опасный на первых порах.

Кто придумал его, это странное варево?
Не подумай плохого — я все-таки им
Не питаюсь. Пытаюсь я им разговаривать.
Что ты чувствуешь в воздухе —
влажность и дым?

Как ничтожно! У нас, из пещерности вышедших,
Где-то память хранится, как воздух читать.
Он густой. Он настоян на чувствах всех дышащих.
Вот оттуда берется желанье летать.

Мы забыли... Оттуда — ушибы и вывихи,
Неумение и нежеланье вернуть.
Я катаю во рту твои вдохи и выдохи,
Языком разминая их терпкую суть.

Я травлюсь. Я пьянею. А раньше хотела лишь,
Чтоб в глазах отражался герой, а не трус...
Утопи меня в зеркале. Стой, что ты делаешь!
Я пытаюсь распробовать воздух на вкус.

* * *

Танцевать бы под ласковым теплым дождем,
Или с кем-то разгуливать в ногу!
А мы с мира по нитке, по нитке идем...
Нитка — тонкая. Нас — слишком много.

И зимой, как в берлогу зарывшись в постель,
Свои сны ворошим и напасти,
Мы глядим, как в агонии бьется апрель —
И считаем, что бьется он к счастью.

И подернулись дымкой подснежники глаз,
Руки грустно упали вдоль тела...
Кукла сломана, тупо глядит из угла...
Это значит — она надоела.

Дождь — холодный, как кованое серебро —
Осыпается выцветшей фреской,
И повесив на радуге веру в добро,
Мы на цыпочках выйдем из детской.

Екатерина Макушина

ЧЕКИСТ

У него было в жизни все:
добра — вагонами,
Новый китель
с подполковничьими погонами.
Дача под Москвой,
Домик над Невой...

Словом, жил себе — не тужил.
И в свободное время
Родине служил.

Не гулял, не пил,
форму держал спартанскую.
А женился давно,
говорят, еще в Гражданскую.

И текла бы жизнь,
вилась по своей канве...
Но увидел ее —
как обухом по голове.

Поначалу маялся,
Ночами
в подушку каялся.

Потом плюнул:
семь бед — один ответ.
Подошел без страха
и тихо шагнул на свет.

Полегчало. Бывало, ночью, после допроса
Приходил и знал: никто не посмотрит косо.

Что он делал, с кем и за что? Словами не била.
Обнимала его. Она ведь его любила.

А во вторник кончилась сага,
Принесли от начальства бумагу.

Указанье обычного рода —
Новый список врагов народа.

Он вовек не вздыхал в тоске,
Он не звал к себе забытье.
Да только пятым
в седьмой строке
Стояло имя ее.

Не прольются слезы из глаз,
А приказ всегда есть приказ.

В пустоте площадных огней
Сел в машину, поехал к ней.

Та — навстречу. Кто бы сказал,
Что сейчас ворвется гроза!
Обмерла: пронзили навывлет
Злые, льдисто-волчьи глаза.

— Отвечай сейчас же, как было:
Что у Фединых ты говорила?

Ты, к Минаевым приходя,
Строила планы убить вождя?

Надломились худые плечи.
Прошептала:
— Дурные речи.

Про убийство — злобный навет.
В остальном не раскаюсь, нет.

— Собирайтесь. Восемь минут.
Вас давно на Лубянке ждут.

Заметалась она по комнате.
Восемь минут — да и те расколоты.

То оставить, а то схватить...
Обвинить? Зачеркнуть? Простить?

Едут, едут...
Ветер за ворот.
Вроде в центр —
а свернули за город.

Гуще глушь. Вдоль дороги — лес.
За рекой не один исчез.

Он тихонько достал пакет:
— Шансов мало, почти что нет.

Но попробуй выжить, пролезть.
Документы и деньги — здесь.

— Ты-то как же?
Он улыбается:
— Это, друг, лишь меня касается.

— Не оставлю! Бежим со мной!
— Нет уж. Лучше — тебе одной.

Воротясь домой, как во сне,
Пару строчек черкнул жене.

Чуть дыша, отворил окно.
За стеклом свежо и темно.

Гроздьба неба, луны излом...
Он не видел: жил за стеклом.

Василий Нацентов

* * *

А спички — вот, и это — чудо...

Юрий Казарин

сидит кукушка на суку
ку-ку ку-ку
и произносит не строку
но смерть и воздух
и во саду ли во саду
скрипит под вечное дуду
в две тысячи каком году
калитка ветка кот кукушка
я буду вечен и велик
седой и праведный старик
листва и плечи долгий крик
я буду буду
не чудом но отсылкой к чуду
вернее сноской в две строки
весне и смерти вопреки

* * *

Где молоко рекой не расплескается,
дожди грибные слепо не пройдут.
Я девочке отчаянной понравиться
хотел и выветрил уют.
О лес и степь, о нежность и притворство,
усы, усы — портретам и вралям.
Жить оказалось холодно и поздно,
как в одиночку чтение по ролям,
как на полях тетрадных голос птичий
не услышать, не перейдя черту,
и наломать дрова сожженных спичек,
не прикурив. Так звуки в немоту
уходят прочь. Карандашом чирикать,
раскачивать надмирную печаль.
И замолчать и к тишине привыкнуть,
но продолжать качаться и качать.

Ирина Глушкова

* * *

Все будет жить: и я, и ты.
И так же будет небо свято.
Багрянец пламенный заката
Окрасит бирюзу воды.

Все будет жить: и голоса,
И шепот кленов у дороги,
И память светлая о Боге,
И вера в мир и чудеса.
Не может по-иному быть.
Как наше не замрет дыханье,
В прозрачном этом мирозданье
Продолжит все любить и жить.

* * *

Бабушке

А я готова все сейчас отдать
За тусклый свет родимого окошка,
Где в чугушке горячая картошка,
За синей прялкой старенькая мать.
И легкое дыхание лампад
В углу святом
У радостных иконок.
И голос камыша,
Совсем незвонок,
Баюкает над речкой
Старый сад.
И босиком бесслвно,
Наугад,
Глотая ветра встречную
Прохладу,
Сквозь золотые струны листопадов
По розовым лугам бежать назад.
Не веря ни разлуке,
Ни беде,
Уткнуться в мамин
Красочный передник
И с месяцем живым
Служить обедню
Задумчивой, растерянной
Звезде.



Евгений Григорьевич Новичихин родился в 1939 году в селе Верхнее Турово Нижнедевицкого района Воронежской области. Окончил Воронежский лесотехнический институт. Автор более сорока сборников стихотворений для детей, сатирических миниатюр, литературных пародий, переводов, краеведческих этюдов, нескольких киносценариев. Лауреат премии им. М.А. Булгакова и А.П. Платонова, журнала «Подъём» «Родная речь», премии «Имперская культура» им. Э. Володина. Заслуженный работник культуры РФ. Член Союза писателей России, Союза кинематографистов. Живет в Воронеже.

Евгений Новичихин

ВСПОМИНАЛКИ

«ПОЭМА ПРИХОДА»

В конце 70-х годов вся редакция журнала «Подъём» вдохновенно работала над так называемой «Поэмой прихода». Каждое четверостишие в ней начиналось со слов «приходил» или «приходила». Например:

Приходил к нам Троепольский...

Или:

Приходила поэтесса...

Наибольшим успехом пользовались строки, связанные с тем, что среди авторов, обращавшихся в отдел прозы, многие носили имя Иван (Иван Сидельников, Иван Матюшин и т.д.), а заведующий отделом Евсеенко тоже был Иваном (да еще Ивановичем!):

Приходил на днях Иван,
Приносил нам свой роман.
Посидел он час с Иваном —
И пошел назад с романом!

В устном варианте обычно употреблялись гораздо более крепкие слова. Кстати, автором четверостишия был сам И.И. Евсеенко.

НИЧЬЯ

Автор всемирно известного «Белого Бима» Гавриил Николаевич Троепольский в кругу коллег по перу всегда считался большим любителем шахмат. Почти каждому писателю, умеющему хотя бы переставлять шахматные фигуры, приходилось сидеть с Троепольским за шахматной доской. Но по-

сколько игра есть игра, то Гавриилу Николаевичу случилось нередко и проигрывать. А этого писатель не любил: нервничал, выходил из себя. Зная об этом, многие партнеры старались избегать выигрыша, делая в определенный момент вид, что случайно «зевнули» фигуру. В результате партия заканчивалась вничью, и это устраивало обе стороны.

Как-то Троепольский встретился за шахматной доской с Федором Сергеевичем Волоховым, тогдашним главным редактором «Подъёма». Партия оказалась для Гавриила Николаевича неудачной, а главный редактор не захотел уступать. Поняв, что мат неизбежен, Троепольский с досады смахнул фигуры с доски и, хлопнув дверью, ушел домой. Федор Волохов тоже уходил расстроенным: получается, что он невольно обидел человека.

Глубокой ночью в квартиру Троепольского позвонили:

— Вам срочная телеграмма!

Писатель забеспокоился: что за телеграмма в такой час?

Текст телеграммы гласил: «Согласен на ничью. Волохов.»

В ЖАНРЕ ВЕСЕЛОГО ПРАВА

Евгений Дмитриевич Люфанов, создавший ряд известных исторических романов, был человеком веселого нрава. Помнится, в дни работы одного из очередных писательских съездов он, подходя к гардеробу Большого Кремлевского Дворца, чтобы получить свое порядком поношенное пальто, элегантно подавал номерок и говорил:

— Девушка, подберите, пожалуйста, дубленочку получше.

В те же дни Люфанов одной и той же своей шуткой не раз ставил меня в неудобное положение. В очереди — в магазине ли, в буфете гостиницы «Россия» или у того же гардероба, он вдруг громко говорил мне, стоящему рядом:

— Молодой человек, Вас здесь не стояло!

Очередь начинала гудеть, возмущаться:

— Вы за кем стоите?!

И приходилось долго и нервно, вместе с самим Евгением Дмитриевичем, объяснять, что это была только шутка...

ПОЛЕТЕЛИ

Лауреат Государственной премии России Юрий Данилович Гончаров работал в молодости редактором в книжном издательстве. Поручили ему редактировать сборник песен. Выходит сборник из печати, а в тексте популярной тогда песни «Летят перелетные птицы...» напечатано: «Летят переплетные птицы...»

ТОСТ

В 70-х годах в коллективе редакции журнала «Подъём» был в ходу шуточный «подхалимский» тост, придуманный Иваном Евсеенко:

— Пусть больше ни один волос не выпадет с головы главного редактора!

У тогдашнего руководителя журнала волос на голове практически не было.

Когда же этот пост занял я, тост несколько видоизменился:

— Пусть больше ни один волос не поседет на голове главного редактора!

Можете себе представить, как выглядела к тому времени моя голова, если по этому поводу шутили.

ЗАЧЕМ НАМ ТЕГЕРАН!

Сергей Владимирович Михалков известен как большой мастер шуток-эспромтов. Многие писатели помнят, как на открытии одного из писательских собраний Михалков, иногда заметно заикающийся, должен был выступить с докладом. На вопрос председательствующего: «Сколько времени просит докладчик?» — он не задумываясь ответил:

— Д-двадцать минут на д-доклад и д-двадцать минут на з-заикание...

В ноябре 1981 года в Воронеже проходило выездное заседание секретариата правления Союза писателей России. По этому случаю в оперном театре состоялся большой литературный вечер. Вел его Михалков. Выступающих было много, и все — именитые: Юлия Друнина, Петр Проскурин, Николай Старшинов, Лариса Васильева, Егор Исаев...

И хозяевам тоже слово надо было дать — воронежскую литературу на вечере представляли Владимир Гордейчев, Геннадий Лутков, я. Словом, вечер затянулся. Он шел

уже три часа — без перерыва. Зал, конечно, устал, а выступили еще не все.

После очередного выступления Михалков сказал:

— Мы заседаем уже три часа. За это время можно долететь от Воронежа до Тегерана...

Зал облегченно вздохнул: сейчас ведущий объявит об окончании встречи. Михалков же произнес:

— Но поскольку в Тегеране нам делать нечего, то мы продолжим наш вечер...

ПОДПИСЬ ПОД УКАЗОМ

По случаю юбилея журнал «Подъем» был награжден орденом «Знак Почета». Понятное дело, в очередном номере мы публиковали Указ о награждении. Я, тогда ответственный секретарь журнала, поставил текст Указа прямо на обложку. А на первой же странице должно было пойти поздравление коллективу редакции, подписанное секретарями обкомов партии пяти областей Центрального Черноземья. Под Указом стояли, как обычно, подписи:

«Председатель Президиума Верховного Совета СССР

Л. БРЕЖНЕВ

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М. ГЕОРГАДЗЕ».

Прочитал я верстку Указа и поздравления, поправил ошибки и сдал материал в типографию. Дальнейшее было, как говорится, делом техники. Линотипист отлил новые строчки, исправив ошибки, а верстальщица поставила их в текст. Строчки эти она, разумеется, не читала — да это и нелегко сделать в их зеркальном отображении на металле. Ориентируются при этом обычно лишь на первое слово строки. Короче говоря, выходит номер, а под Указом — подписи:

«Председатель Президиума Верховного Совета СССР

Л. БРЕЖНЕВ

*Секретарь Курского обкома КПСС
А. ГУДКОВ».*

Пришлось работникам типографии сдирать обложку с каждого экземпляра, чтобы поставить секретаря обкома на положенное место.

«ПУСКАЙ ПОДРЕМЛЕТ И ЛАТЫШ...»

Без имени Алексея Прасолова невозможно представить себе современную медитативную лирику. Но я уверен, что он мог бы стать и прекрасным поэтом-юмористом. В этом убеждают меня, к примеру, следующие строки Алексея, посвященные автору книги рассказов «Не шуми ты, рожь...» Федору Волохову:

Слышал я, ты собрался в Ригу?

Ну что же, план такой хорош!

Но захвати с собою книгу

С названием «Не шуми ты, рожь...»

КОГИЗ избавив от нагрузки,

Благое дело совершишь:

Дремал над ней

читатель русский —

Пускай подремлет и латыш!

Помнится, сам Ф.С. Волохов на эту эпиграмму не только не обиделся, — он многократно и с гордостью читал ее, уважительно вспоминая Алексея Прасолова.

А ГДЕ ВТОРОЙ?

Зашли как-то с писателем Виктором Поповым к С.В. Михалкову, в его кабинет председателя правления Союза писателей России. В. Попов протянул ему свой, только что изданный, роман «Один выстрел во время войны». Михалков взглянул на заголовок и тут же спросил:

— А на второй выстрел — что, пороху не хватило?

ПРАВ ЛИ БЕЛИНСКИЙ!

В публиковавшейся в свое время в «Подъеме» повести В. Есенкова «Совесть» работника воронежской цензуры насторожила фраза, которую в этом произведении Белинский говорит Пушкину:

«Умный человек в цензуре служить не пойдет».

Цензор потребовал от меня, работавшего тогда ответственным секретарем журнала, снять эту фразу. Спорить было бесполезно. Цензор подтвердил, что Белинский был прав.

ТУНЯ

В одной из статей, публиковавшихся в «Подъёме», была такая фраза:

«В царской России природные богатства оставались втуне».

Цензор возмутился:

— Что за «туня»? Куда вы там, в редакции, смотрите?!

И собственноручно исправил: «в тундре».

ВСТРЕЧА В ПРАГЕ

В 80-х годах у писателей Воронежа складывались дружественные творческие связи с писателями Южной Моравии. В Воронеж не однажды приезжали чешские коллеги, а писатели-воронежцы двумя группами выезжали в Брно. У нас была так и не осуществленная в связи с политическими передерягами задумка: создать общую книгу, выпустив ее на двух языках. По этому делу побывал в Чехословакии и я, тогда — председатель правления Воронежской писательской организации и составитель не вышедшей книги с русской стороны. Прилетел в Прагу рейсом из Москвы. Среди встречающих увидел мужчину с листком бумаги на груди, на котором была написана моя фамилия. Все ясно — встречает меня. Представляюсь ему:

— Здравствуйте, я — Новичихин.

Вижу, что он смотрит на меня как-то удивленно и... просит показать паспорт. Показываю. Удивленный еще больше, продолжает подозрительно смотреть на меня, но все-таки приглашает в машину.

Привозит меня в Союз писателей Чехословакии. Представляет руководителям Союза и его иностранной комиссии. И здесь тоже подозрительно изучают мой паспорт, при этом тихонько перешептываясь.

Положенные мне «командировочные» в чешских кронах почему-то не выдают.

Наконец приезжает машина из Брно, и меня увозит мой старый знакомый — писатель Людвиг Штепан, бывавший у нас в Воронеже.

В холле брненской гостиницы «Континенталь» меня ждет руководитель местной писательской организации, поэт Иво Одегнал. Очень удивлен, что мне нечем расплатиться за гостиницу:

— Как же так! Ведь я же звонил в Прагу — деньги Вам должны были выдать!

Все разъяснилось на следующий день. Оказалось, что сотрудник Союза, которому поручили меня встретить, спросил у Иво по телефону:

— А как он, этот Новичихин, выглядит?

Одегнал, приехавший перед этим в Воронеж, но ни разу меня не видевший (я в те дни сам был в отъезде), ответил:

— Кажется, маленький, толстый и, по моему, с усами...

Для тех, кто не знаком со мной, уточню, что я никогда в жизни не отпускал усов, не страдал полнотой, а мой рост — 184 сантиметра.

КТО ВЫСТУПАЛ!

В одной из музыкальных школ Воронежа проводили литературный вечер. На встречу с учащимися пригласили меня и поэта Анатолия Ионкина. За несколько минут до встречи выяснилось, что Ионкин поехать в школу не сможет. Владимир Гордейчев, руководивший тогда писательской организацией, позвонил Е.Д. Люфанову:

— Евгений Дмитриевич, выручайте. Надо вместе с Женей Новичихиным выступить в школе.

Когда мы с Люфановым, опаздывая, входили в здание школы, нас уже ждали. Сразу повели в актовый зал. Молоденькая преподавательница, знавшая меня в лицо, но никогда не видевшая ни Ионкина, ни Люфанова, радостно представила нас:

— Дорогие ребята! Сегодня к нам в гости пришли воронежские поэты Евгений Новичихин (указала на меня) и Анатолий Ионкин (указала на Люфанова).

И Люфанов, и я, растерявшись от такой неожиданности, промолчали.

Видимо, присутствовавшие на встрече ученики музыкальной школы до сих пор считают, что поэт Анатолий Ионкин — веселый старикан с пышными красивыми усами...

БЛОКА НЕТ!

В 1975 году проходило VI Всесоюзное совещание молодых писателей. Среди кандидатов на участие в нем Воронежская писательская организация назвала молодого

поэта Николая Малашича. Однако в Москве кандидатуру Малашича отклонили. Главная причина — плохая служебная характеристика. Ее представляли по военным каналам (Малашич был офицером) и в писательской организации с ней не были знакомы.

Николай заинтересовался: кто и почему дал плохую характеристику? Оказалось, дело было вот в чем. Как-то воинскую часть инспектировал генерал из Москвы — проверил организацию социалистического соревнования. Командир части не преминул похвалиться: у нас, мол, один офицер стихи пишет, даже книжку издал. Генерала это заинтересовало, и Малашича пригласили к инспектору.

— Так это Вы пишете стихи? — спросил он.

— Так точно, товарищ генерал!

— Хорошо, хорошо... Ну а с кем Вы соревнуетесь?

— С Блоком, товарищ генерал! — пошутит Малашич.

— С кем, с кем?

— С Александром Блоком!

— Ну, и какие успехи?

— К сожалению, товарищ генерал, он бьет меня по всем статьям, — продолжал шутить Малашич.

— Это плохо, — сказал генерал.

Малашич был уверен, что генерал правильно понял шутку. Но в тот же день инспектор сурово отчитал командира части за плохую организацию соцсоревнования.

— Ваши офицеры даже не знают, с кем они соревнуются, — возмущался он. — Офицер Малашич утверждает, что он соревнуется с Блоком. Нет такого офицера в части — я сам проверил! Есть Боблов! А Блока — нет!

Ну как после такой генеральской оценки командир мог подписать хорошую характеристику?

ТОЧЬ-В-ТОЧЬ, КАК НА КРЫШЕ

В молодости служил я в одном областном учреждении. Как-то, накануне октябрьских праздников, приглашает меня секретарь партийного бюро:

— Выйди-ка, — говорит, — на улицу и присмотрись к лозунгу па крыше. А потом вновь зайди ко мне.

Выхожу, читаю: «Пусть живет в веках имя

и дело Ленина!» Лозунг как лозунг. Возвращаюсь к партийному секретарю.

— Прочитал? — спрашивает.

— Прочитал.

— Ну и как?

— Да вроде бы все в порядке.

— Не скажи, — говорит секретарь. —

Тут один пенсионер уже две недели терроризирует и обком, и горком, и райком. А те — меня. Требуют разобраться.

— Да в чем разбираться-то?

— Пенсионер этот утверждает, что в лозунге допущена ошибка. Говорит, что надо писать не в единственном числе — «живет», а во множественном — «живут».

— А что, пожалуй, он прав, — засомневался я.

— Ты так думаешь? — секретарь достал газету «Правда», ткнул пальцем в призывы ЦК КПСС к годовщине Октября. В газете было напечатано: «живет» — точь-в-точь, как на крыше.

— Может, в газете опечатка? — спросил я.

— Вот и этот пенсионер так считает. И требует ошибку исправить, — сказал секретарь. — А если это не опечатка? Если в ЦК КПСС так написали?

Я пожал плечами.

— Слушай, — вдруг попросил он, — этот пенсионер с минуты на минуту ко мне придет. Уже звонил. Я в русском языке не очень силен, а он — бывший учитель. Помогите! Может, вместе его уломаем? Нельзя лозунг переписывать, никак нельзя!

Через несколько минут в кабинет вошел пенсионер. Настроен он был весьма воинственно:

— Так и не хотите грамматическую ошибку исправить?

И тут меня осенило:

— Грамматическую ошибку исправить, конечно, нетрудно, — сказал я. — Но ведь допустим грубую политическую ошибку!

— Это еще почему? — удивился пенсионер.

— Имя и дело Ленина настолько едины, что говорить о них во множественном числе — просто кощунственно, — улыбнулся я.

Пенсионер чуть не поперхнулся от неожиданности.

— Из-звините, — заикаясь сказал он. — Я б-был не прав. Из-звините.

Больше он никуда не звонил. А партийный секретарь, помню, долго тряс мне руку и говорил при каждой встрече:

— Вот что значит писатель!

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ВЕЧЕР

О том, что Владимир Кораблинов был не только писателем, но и профессиональным художником-графиком, знают многие читатели. Хорошо известно и то, что поэт Виктор Панкратов собрал такую коллекцию экслибриса, равную которой, кажется, трудно найти. Точно известно, что эта коллекция — одна из крупнейших в мире: более 35 тысяч экслибрисов со всего света! Даже с Антильских островов! Только экслибрисов пушкинской тематики — более тысячи!

Об этом, повторяю, хорошо известно. Но об увлечениях и, так сказать, «вторых талантах» некоторых других воронежских литераторов знают немногие.

Когда я был председателем правления Воронежской писательской организации, всерьез замыслил провести один вечер, записать его на пленку и показать по телевидению. На этом вечере писатели должны были демонстрировать не литературные, а совсем иные свои способности и хобби. Уверен, вечер был бы просто замечательным. Жаль, что он так и не состоялся.

А если бы состоялся, то в нем, наряду с В. Кораблиновым и В. Панкратовым, непременно бы выступил Геннадий Лутков. Он обладал даром великолепно, с тонким юмором, пародировать коллег. Особенно запомнилось, как блестяще представлял он композитора К.К. Массалитинова.

Тот же В. Панкратов, по моему замыслу, мог бы на этом вечере показывать фокусы с картами. Как-то в ростовской гостинице он продемонстрировал такой фокус, что меня оторопь взяла. Никогда — ни до этого, ни после — не видел ничего подобного.

А Василий Белокрылов очень душевно пел под гитару. Впрочем, не только под гитару. Однажды мы вместе (было это в Туле) ужинали в ресторане. Василий Алексеевич был навеселе (в таких случаях друзья говорили о нем, одноглазом: «Выпьет — и ни в одном глазу!») и полез на сцену, чтобы спеть под оркестр. Сначала оркестранты пытались

удалить его со своей «рабочей площадки». Но Белокрылов запел, и они, решив, что на сцену поднялся профессионал, стали ему аккомпанировать. В результате весь зал восторженно рукоплескал, а музыканты по окончании работы... поделились с писателем своим вечерним заработком. Оказался у них этот заработок гораздо более высоким, чем обычно.

А Евгений Дмитриевич Люфанов мог бы стать прекрасным артистом-чтецом. Помнится, на одном из писательских «литературных вторников» он полтора часа — наизусть! — читал Ахматову, Цветаеву, Гумилеву, Анненского, Пастернака... Сделали перерыв, после которого Евгений Дмитриевич сказал:

— А теперь я прочту вам «Евгения Онегина». Полностью читать или в отрывках?

Мы взмолились:

— В отрывках!

И он читал еще полтора часа. И тоже — наизусть.

ОБЫЧАЙ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Неделя воронежской литературы в Чечено-Ингушетии завершалась, и в один из дней хозяева предоставили нам возможность отдохнуть. Виктор Будаков, начинавший когда-то свою трудовую биографию учителем в кавказском селении Валерик — в лермонтовских местах — намекнул: мол, неплохо бы побывать там. Двое из нашей делегации, в том числе и я, присоединились к этому пожеланию.

Валерик встречал Будакова как героя. Пришли его бывшие ученики, сами ставшие учителями, и, конечно, местные руководители, тоже у него когда-то учившиеся. А сопровождали нас в этой поездке ответственный работник Чечено-Ингушского обкома КПСС и две женщины — руководители района: секретарь райкома и председатель райисполкома.

После творческой встречи в местной школе нас повезли к речушке Валерик. На ее живописном берегу нас ожидали шашлыки и все такое прочее. Сидим на травке, а я никак не пойму: все здесь, даже водители «Волг», а секретарь райкома с предриком почему-то скромно стоят в сторонке. Своё удивление я высказал вслух.

— Тс-с, — шепнул мне на ухо обкомовский работник, которого представили как зятя знаменитого Махмуда Эсамбаева. — У нас не принято, чтобы женщины сидели за одним столом с мужчинами...

Национальный обычай в этих местах не считался ни с какими партийными иерархиями.

СОМНИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПОНАТ

В начале 1993 года я ушел с поста главного редактора журнала «Подъём», полностью разуверившись в возможности проводить независимую литературную и идеологическую линию, успешно бороться с «экономической цензурой». Новым местом моей службы был областной литературный музей имени И.С. Никитина, куда меня назначили директором. Иван Евсеенко был явно раздосадован, даже оскорблен моим уходом — ведь мы пришли в редакцию практически одновременно, проработав бок о бок два десятка лет. Острый на язык, он съязвил по поводу этого ухода эпиграммой:

Ты был Евгений из Евгениев!
Ну а теперь ты — экспонат.
И на тебя с большим сомнением
Кольцов с Никитиным глядят...

ИДЕЯ, ВИТАВШАЯ В ВОЗДУХЕ

Тот же Иван Евсеенко не раз в шутку просил меня:

— Женя, возьми меня на работу в музей. Буду работать экспонатом. Представляешь: сижу я в музейном зале, а передо мной табличка: «Живой писатель. Руками не трогать!»

Шутки шутками, но каково же было мое удивление, когда я узнал, что эту идею превратил в жизнь другой мой знакомый писатель (правда — знакомый заочно) — Эдуард Лимонов. На выставке, посвященной его творчеству (проходила она, кажется, в Политехническом музее), Лимонов сидел в выставочном зале, а перед ним висела табличка:

«С экспонатом не разговаривать!»

Видать, идея Ивана Евсеенко витала в воздухе.



Департамент культуры Воронежской области

**Государственное бюджетное учреждение культуры Воронежской области
«Журнал «Подъём»**

Директор-главный редактор Щёлоков И.А.

Редакция вступает в переписку только с авторами, материалы которых приняты к публикации. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Авторы присылаемых материалов должны сообщить редакции: краткую биографическую справку; домашний адрес с почтовым индексом; день, месяц, год своего рождения; паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, регистрация); ИНН и номер страхового свидетельства.

Редакция просит авторов присылать электронную версию своих произведений с обязательной распечаткой текста. Рукописи без распечатки не принимаются. Параметры набора: 14-й кегль через 1,5 интервала в формате Word.

Корректор Андреев А.М.

Компьютерная верстка Вовчаренко И.К.

Телефоны редакции: директор-главный редактор — 228-64-12 / 8-903-858-64-12, заместитель директора-главного редактора, ответственный секретарь, отдел поэзии — 228-64-15 / 8-903-858-64-15, отдел прозы, корректор, отдел верстки — 228-64-09 / 8-903-858-64-09, бухгалтерия — 228-64-13 / 8-903-858-64-13, производственный отдел — 228-64-16 / 8-903-858-64-16.

Электронный адрес журнала «Подъём»: podiem@mail.ru

Сайт журнала «Подъём»: <http://www.podiemvrn.ru>

Электронный архив журнала с №1, 2001 г. по №6, 2008 г.: <http://www.pereplet.ru/podiem>
ISSN 0130-8165.

Журнал «Подъём»

Главный редактор **И.А. Щёлоков**

№ 8 (659). Подписано в печать 08.08.2019.

Дата выхода в свет:

Индекс 73312.

Тираж 1600 экз.

Формат 70x100 1/16. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «School Book». Печать офсетная.

Усл. печ. л. 21,3 + 0,5 п.л. цв. вкл. Отпечатано с готового оригинал-макета

ГБУК ВО журнал «Подъём». Заказ № . Цена свободная. 12+.

Адрес редакции: 394030, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 56а.

Адрес издателя ГБУК ВО «Журнал «Подъём»: 394030, Воронежская область,
г. Воронеж, ул. Кольцовская, 56а.

Адрес типографии ООО «Диамант-принт»: 394036, г. Воронеж, ул. Трудовая,
д. 50, к. 10.

Журнал «Подъём» зарегистрирован Министерством печати РФ. Свидетельство № 331
от 12.11.1990 г.

Учредитель (соучредители): Союз писателей Российской Федерации; Трудовой коллектив
редакции журнала «Подъём».

Рассылку журнала осуществляет цех экспедирования печати
Воронежского главпочтамта: 394068, г. Воронеж, ул. Лизюкова, 2, ЦЭП.

Во всех случаях полиграфического брака в журнале обращаться
в ООО «Диамант-принт».